

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Альбер
КАМЮ

Чума

Чума
Альбер Камю

Аннотация
Альбер Камю. Чума
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая

Аннотация

«Чума» Альбера Камю —это роман-притча. В город приходит страшная болезнь – и люди начинают умирать. Отцы города, скрывая правду, делают жителей заложниками эпидемии. И каждый стоит перед выбором: бороться за жизнь, искать выход или смириться с господством чумы, с неизбежной смертью. Многие литературные критики «прочитывают» в романе события во Франции в период фашистской оккупации.

Альбер Камю
Чума

Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее.

Даниель Дефо

Albert Camus
LA PESTE

Перевод с французского Н.М. Жарковой

Компьютерный дизайн Ю.М. Мардановой
Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

Часть первая

Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194… году. По общему мнению, они, эти события, были просто неуместны в данном городе, ибо некоторым образом выходили за рамки обычного. И в самом деле, на первый взгляд Оран — обычный город, типичная французская префектура на алжирском берегу.

Надо признать, что город как таковой достаточно уродлив. И не сразу, а лишь по прошествии известного времени замечаешь под этой мирной оболочкой то, что отличает Оран от сотни других торговых городов, расположенных под всеми широтами. Ну как, скажите, дать вам представление о городе без голубей, без деревьев и без садов, где не услышишь ни хлопанья крыльев, ни шелеста листвы, — словом, без особых примет. О смене времени года говорит только небо. Весна извещает о своем приходе лишь новым качеством воздуха и количеством цветов, которые в корзинах привозят из пригородов розничные торговцы, — короче, весна, продающаяся вразнос.

Летом солнце сжигает и без того прокаленные дома и покрывает стены сероватым пеплом; тогда жить можно лишь в тени наглухо закрытых ставен. Зато осень — это потопы грязи. Погожие дни наступают только зимой.

Самый удобный способ познакомиться с городом — это попытаться узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают. В нашем городке — возможно, таково действие климата — все это слишком тесно переплетено и делается все с тем же лихорадочно-отсутствующим видом. Это значит, что здесь скучают и стараются обзавестись привычками. Наши обыватели работают много, но лишь ради того, чтобы разбогатеть. Все их интересы вращаются главным образом вокруг коммерции, и прежде всего они заняты, по их собственному выражению, тем, что «делают дела». Понятно, они не отказывают себе также и в незатейливых радостях — любят женщин, кино и морские купания. Но, как люди рассудительные, все эти удовольствия они приберегают на субботний вечер и на воскресенье, а остальные шесть дней недели стараются заработать побольше денег. Вечером, покинув свои конторы, они в точно установленный час собираются в кафе, прогуливаются все по тому же бульвару

или восседают на своих балконах. В молодости их желания неистовы и скоротечны, в более зрелом возрасте пороки не выходят за рамки общества игроков в шары, банкетов в складчину и клубов, где ведется крупная азартная игра.

Мне, разумеется, возразят, что все это присуще не только одному нашему городу и что таковы в конце концов все наши современники. Разумеется, в наши дни уже никого не удивляет, что люди работают с утра до ночи, а затем сообразно личным своим вкусам убивают остающееся им для жизни время на карты, сидение в кафе и на болтовню. Но есть ведь такие города и страны, где люди хотя бы временами подозревают о существовании чего-то иного. Вообще-то говоря, от этого их жизнь не меняется. Но подозрение все-таки мелькнуло, и то слава Богу. А вот Оран, напротив, город, по-видимому, никогда и ничего не подозревающий, то есть вполне современный город. Поэтому нет надобности уточнять, как у нас любят. Мужчины и женщины или слишком быстро взаимно пожирают друг друга в том, что зовется актом любви, или же у них постепенно образуется привычка быть вместе. Между двумя этими крайностями чаще всего середины нет. И это тоже не слишком оригинально. В Оране, как

и повсюду, за неимением времени и способности мыслить люди хоть и любят, но сами не знают об этом.

Зато более оригинально другое — смерть здесь связана с известными трудностями. Впрочем, трудность — это не то слово, правильнее было бы сказать некомфортабельность. Болеть всегда неприятно, но существуют города и страны, которые поддерживают вас во время недуга и где в известном смысле можно позволить себе роскошь поболеть. Больной нуждается в ласке, ему хочется на что-то опереться, это вполне естественно. Но в Оране все требует крепкого здоровья: и капризы климата, и размах деловой жизни, серость окружающего, короткие сумерки и стиль развлечений. Больной там по-настоящему одинок… Каково же тому, кто лежит на смертном одре, в глухом капкане, за сотнями потрескивающих от зноя стен, меж тем как в эту минуту целый город по телефону или за столиками кафе говорит о коммерческих сделках, коносаментах и учете векселей. И вы поймете тогда, до чего же некомфортабельна может стать смерть, даже вполне современная, когда она приходит туда, где всегда сушь.

Будем надеяться, что эти беглые указания да-

дут достаточно четкое представление о нашем городе. Впрочем, не следует ничего преувеличивать. Надо бы вот что особенно подчеркнуть — банальнейший облик города и банальный ход тамошней жизни. Но стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко. Раз наш город благоприятствует именно приобретению привычек, следовательно, мы вправе сказать, что все к лучшему. Конечно, под этим углом жизнь здесь не слишком захватывающая. Зато мы не знаем, что такое беспорядок. И наши прямодушные, симпатичные и деятельные сограждане неизменно вызывают у путешественника вполне законное уважение. Этот отнюдь не живописный город, лишенный зелени и души, начинает казаться градом отдохновения и под конец усыпляет. Но справедливости ради добавим, что привили его к ни с чем не сравнимому пейзажу, он лежит посреди голого плато, окруженного лучезарными холмами, у самой бухты совершенных очертаний. Можно только пожалеть, что строился он спиной к бухте, поэтому моря ниоткуда не видно, вечно его приходится отыскивать.

После всего вышесказанного читатель без труда согласится, что происшествия, имевшие место весной нынешнего года, застали наших

сограждан врасплох и были, как мы поняли впоследствии, провозвестниками целой череды событий чрезвычайных, рассказ о коих излагается в этой хронике. Некоторым эти факты покажутся вполне правдоподобными, зато другие могут счесть их фантазией автора. Но в конце концов летописец не обязан считаться с подобными противоречиями. Его задача — просто сказать «так было», если он знает, что так оно и было в действительности, если случившееся непосредственно коснулось жизни целого народа и имеются, следовательно, тысячи свидетелей, которые оценят в душе правдивость его рассказа.

К тому же рассказчик, имя которого мы узнаем в свое время, не позволил бы себе выступать в этом качестве, если бы волею случая ему не довелось собрать достаточное количество свидетельских показаний и если бы силою событий он сам не оказался замешанным во все, что намерен изложить. Это и позволило ему выступить в роли историка. Само собой разумеется, историк, даже если он дилетант, всегда располагает документами. У рассказывающего эту историю, понятно, тоже есть документы: в первую очередь его личное свидетельство, потом свидетельства других, поскольку в силу своего положения ему

пришлось выслушивать доверительные признания всех персонажей этой хроники, наконец, бумаги, попавшие в его руки. Он намерен прибегать к ним, когда сочтет это необходимым, и использовать их так, как ему это удобно. Он намерен также… Но видимо, пора уже бросить рассуждения и недомолвки и перейти к самому рассказу. Описание первых дней требует особой тщательности.

Утром шестнадцатого апреля доктор Бернар Риэ, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу. Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал себе вопрос, откуда бы взяться крысе у него под дверью, и он вернулся сообщить об этом происшествии привратнику. Реакция старого привратника мсье Мишеля лишь подчеркнула, сколь необычным был этот случай. Если доктору присутствие в их доме дохлой крысы показалось только странным, то в глазах привратника это был настоящий позор. Впрочем, мсье Мишель занял твердую позицию: в их доме крыс нет. И как ни уверял его доктор, что сам видел крысу на площадке второго этажа, и, по всей видимости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на своем. Раз в

доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил ее нарочно. Короче, кто-то просто подшутил.

Вечером того же дня Бернар Риэ, прежде чем войти к себе, остановился на площадке и стал шарить по карманам ключи, как вдруг он заметил, что в дальнем, темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии, потом двинулся к доктору, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор молча смотрел на крысу, потом вошел к себе.

Думал он не о крысе. При виде брызнувшей крови он снова вернулся мыслью к своим заботам. Жена его болела уже целый год и завтра должна была уехать в санаторий, расположенный в горах. Как он и просил уходя, она лежала в их спальне. Так она готовилась к завтрашнему утомительному путешествию. Она улыбнулась.

— А я чувствую себя прекрасно, — сказала она.

Доктор посмотрел на повернутое к нему лицо, на которое падал свет ночника. Лицо тридцатилетней женщины казалось Риэ таким же, каким было в дни первой молодости, возможно, из-за

этой улыбки, возмещавшей все, даже пометы тяжелого недуга.

— Постарайся, если можешь, заснуть, — сказал он. — В одиннадцать придет сиделка, и я отвезу вас обеих на вокзал к двенадцатичасовому поезду.

Он коснулся губами чуть влажного лба. Жена проводила его до дверей все с той же улыбкой.

Наутро, семнадцатого апреля, в восемь часов привратник остановил проходящего мимо доктора и пожаловался ему, что какие-то злые шутники подбросили в коридор трех дохлых крыс. Должно быть, их захлопнула особенно мощная крысоловка, потому что они все были в крови. Привратник еще с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки, он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ровно ничего не произошло.

— Ладно, погодите, — пообещал мсье Мишель, — я их непременно поймаю.

Заинтригованный этим происшествием, Риэ решил начать визиты с внешних кварталов, где жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда вывозили обычно много позже, чем из центра города, и автомобиль, кативший по прямым и пыльным улицам, чуть не задевал своими боками

стоявшие на краю тротуара ящики с отбросами. Только на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчитал с десяток дохлых крыс, валявшихся на грудах очистков и грязного тряпья.

Первого больного, к которому он заглянул, он застал в постели в комнате, выходившей окнами в переулок, которая служила и спальней, и столовой. Больной был старик испанец с грубым изможденным лицом. Перед ним на одеяле стояли две кастрюльки с горошком. Когда доктор входил, больной, полусидевший в постели, откинулся на подушки, стараясь справиться с хриплым дыханием, выдававшим застарелую астму. Жена принесла тазик.

— А вы видели, доктор, как они лезут, а? — спросил старик, пока Риэ делал ему укол.

— Верно, — подтвердила жена, — наш сосед трех подобрал.

Старик потер руки.

— Лезут, во всех помойках их полно! Это к голоду!

Риэ понял, что о крысах говорит уже весь квартал. Покончив с визитами, доктор возвратился домой.

— Вам телеграмма пришла, — сказал мсье Мишель.

Доктор осведомился, не видал ли он еще крыс.

— Э-э, нет, — ответил привратник. — Я теперь в оба гляжу, сами понимаете. Ни один мерзавец не сунется.

Телеграмма сообщала, что завтра прибывает мать Риэ. В отсутствие больной жены дом будет вести она. Доктор вошел к себе в квартиру, где уже ждала сиделка. Жена была на ногах, она надела строгий английский костюм, чуть подкрасилась. Он улыбнулся ей.

— Вот и хорошо, — сказал он, — очень хорошо.

На вокзале он посадил ее в спальный вагон. Она оглядела купе.

— Пожалуй, слишком для нас дорого, а?

— Так надо, — ответил Риэ.

— А что это за история с крысами?

— Сам еще не знаю. Вообще-то странно, но все обойдется.

И тут он, комкая слова, попросил у нее прощения за то, что недостаточно заботился о ней, часто бывал невнимателен. Она покачала головой, словно умоляя его замолчать, но он все-таки добавил:

— Когда ты вернешься, все будет по-другому. Начнем все сначала.

— Да, — сказала она, и глаза ее заблестели. —

Начнем.

Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. На перроне суетились и толкались пассажиры. Даже в купе доходило приглушенное пыхтение паровоза. Он окликнул жену, и, когда она обернулась, доктор увидел мокрое от слез лицо.

— Не надо, — нежно проговорил он.

В глазах ее еще стояли слезы, но она снова улыбнулась, вернее, чуть скривила губы. Потом прерывисто вздохнула.

— Ну иди, все будет хорошо.

Он обнял ее и теперь, стоя на перроне по ту сторону вагонного окна, видел только ее улыбку.

— Прошу тебя, — сказал он, — береги себя.

Но она уже не могла расслышать его слов.

При выходе на вокзальную площадь Риэ заметил господина Отона, следователя, который вел за ручку своего сынишку. Доктор осведомился, не уезжает ли он. Господин Отон, длинный и черный, похожий на человека светского, как некогда выражались, и одновременно на факельщика из похоронного бюро, ответил любезно, но немногословно:

— Я встречаю мадам Отон, она ездила навестить моих родных.

Засвистел паровоз.

— Крысы… — начал следователь.

Риэ шагнул было в сторону поезда, но потом снова повернул к выходу.

— Да, но это ничего, — проговорил он.

Все, что удержала его память от этой минуты, был железнодорожник, несший ящик с дохлыми крысами, прижимая его к боку.

В тот же день после обеда, еще до начала вечернего приема, Риэ принял молодого человека — ему уже сообщили, что это журналист и что он заходил утром. Звался он Раймон Рамбер. Невысокий, широкоплечий, с решительным лицом, светлыми умными глазами, Рамбер, носивший костюм спортивного покроя, производил впечатление человека, находящегося в ладах с жизнью. Он сразу же приступил к делу. Явился он от большой парижской газеты взять у доктора интервью по поводу условий жизни арабов и хотел бы также получить материалы о санитарном состоянии коренного населения. Риэ сказал, что состояние не из блестящих. Но он пожелал узнать, прежде чем продолжать беседу, может ли журналист написать правду.

— Ну ясно, — ответил журналист.

— Я имею в виду, будет ли ваше обвинение

безоговорочным?

— Безоговорочным, скажу откровенно, — нет. Но хочу надеяться, что для такого обвинения нет достаточных оснований.

Очень мягко Риэ сказал, что, пожалуй, и впрямь для подобного обвинения оснований нет; задавая этот вопрос, он преследовал лишь одну цель — ему хотелось узнать, может ли Рамбер свидетельствовать, ничего не смягчая.

— Я признаю только свидетельства, которые ничего не смягчают. И поэтому не считаю нужным подкреплять ваше свидетельство данными, которыми располагаю.

— Язык, достойный Сен-Жюста, — улыбнулся журналист.

Не повышая тона, Риэ сказал, что в этом он ничего не смыслит, а говорит он просто языком человека, уставшего жить в нашем мире, но, однако, чувствующего влечение к себе подобным и решившего для себя лично не мириться со всяческой несправедливостью и компромиссами. Рамбер, втянув голову в плечи, поглядывал на него.

— Думаю, что я вас понял, — проговорил он не сразу и поднялся.

Доктор проводил его до дверей.

— Спасибо, что вы так смотрите на вещи.

Рамбер нетерпеливо повел плечом.

— Понимаю, — сказал он, — простите за беспокойство.

Доктор пожал ему руку и сказал, что можно было бы сделать любопытный репортаж о грызунах: повсюду в городе валяются десятки дохлых крыс.

— Ого! — воскликнул Рамбер. — Действительно интересно!

В семнадцать часов, когда доктор снова отправился с визитами, он встретил на лестнице довольно еще молодого человека, тяжеловесного, с большим, массивным, но худым лицом, на котором резко выделялись густые брови. Доктор изредка встречал его у испанских танцовщиков, живших в их подъезде на самом верхнем этаже. Жан Тарру сосредоточенно сосал сигарету, глядя на крысу, которая корчилась в агонии на ступеньке у самых его ног. Тарру поднял на доктора спокойный, пристальный взгляд серых глаз, поздоровался и добавил, что все-таки нашествие крыс — любопытная штука.

— Да, — согласился Риэ, — но в конце концов это начинает раздражать.

— Разве что только с одной точки зрения, доктор, только с одной. Просто мы никогда ничего

подобного не видели, вот и все. Но я считаю этот факт интересным, да-да, весьма интересным.

Тарру провел ладонью по волосам, отбросил их назад, снова поглядел на переставшую корчиться крысу и улыбнулся Риэ.

— Вообще-то говоря, доктор, это уж забота привратника.

Доктор как раз обнаружил привратника у их подъезда, он стоял, прислонясь к стене, и его обычно багровое лицо выражало усталость.

— Да, знаю, — ответил старик Мишель, когда доктор сообщил ему о новой находке. — Теперь их сразу по две, по три находят. И в других домах то же самое.

Вид у него был озабоченный, пришибленный. Машинальным жестом он тер себе шею. Риэ осведомился о его самочувствии. Нельзя сказать, чтобы он окончательно расклеился. А все-таки как-то ему не по себе. Очевидно, это его заботы точат. Совсем сбили с панталыку эти крысы, а вот когда они уберутся прочь, ему сразу полегчает.

Но на следующее утро, восемнадцатого апреля, доктор, ездивший на вокзал встречать мать, заметил, что мсье Мишель еще больше осунулся: теперь уж с десяток крыс карабкались по лестницам, видимо, перебирались из подвала на чердак.

В соседних домах все баки для мусора полны дохлых крыс. Мать доктора выслушала эту весть, не выказав ни малейшего удивления.

— Такие вещи случаются.

Была она маленькая, с серебристой сединой в волосах, с кроткими черными глазами.

— Я счастлива повидать тебя, Бернар, — твердила она. — И никакие крысы нам не помешают.

Сын кивнул: и впрямь с ней всегда все казалось легким.

Все же Риэ позвонил в городское бюро дератизации, он был лично знаком с директором. Слышал ли директор разговоры о том, что огромное количество крыс вышли из нор и подыхают? Мерсье, директор, слышал об этом, и даже в их конторе, расположенной неподалеку от набережной, обнаружено с полсотни грызунов. Ему хотелось знать, насколько положение серьезно. Риэ не мог решить этот вопрос, но он считал, что контора обязана принять меры.

— Конечно, — сказал Мерсье, — но только когда получим распоряжение. Если ты считаешь, что дело стоит труда, я могу попытаться получить соответствующее распоряжение.

— Все всегда стоит труда, — ответил Риэ.

Их служанка только что сообщила ему, что на

крупном заводе, где работает ее муж, подобрали несколько сотен дохлых крыс.

Во всяком случае, примерно в это же время наши сограждане стали проявлять первые признаки беспокойства. Ибо с восемнадцатого числа и в самом деле на всех заводах и складах ежедневно обнаруживали сотни крысиных трупиков. В тех случаях, когда агония затягивалась, приходилось грызунов приканчивать. От окраин до центра города, словом, везде, где побывал доктор Риэ, везде, где собирались наши сограждане, крысы будто бы поджидали их, густо набившись в мусорные ящики или же вытянувшись длинной цепочкой в сточных канавах. С этого же дня за дело взялись вечерние газеты и в упор поставили перед муниципалитетом вопрос — намерен или нет он действовать и какие срочные меры собирается принять, дабы оградить своих подопечных от этого омерзительного нашествия? Муниципалитет ровно ничего не намеревался делать и ровно никаких мер не предпринимал, а ограничился тем, что собрался с целью обсудить положение. Службе дератизации был отдан приказ: каждое утро на рассвете подбирать дохлых крыс. А потом оба конторских грузовика должны были отвозить трупы животных на мусоросжи-

гательную станцию для сожжения.

Но в последующие дни положение ухудшилось. Число дохлых грызунов все возрастало, и каждое утро работники конторы собирали еще более обильную, чем накануне, жатву. На четвертый день крысы стали группами выходить на свет и околевали кучно. Из всех сараев, подвалов, погребов, сточных канав вылезали они длинными расслабленными шеренгами, неверными шажками выбирались на свет, чтобы, покружившись вокруг собственной оси, подохнуть поближе к человеку. Ночью в переулках, на лестничных клетках был отчетливо слышен их короткий предсмертный писк. Утром в предместьях города их обнаруживали в сточных канавах с венчиком крови на остренькой мордочке — одни раздутые, уже разложившиеся, другие окоченевшие, с еще воинственно взъерошенными усами. Даже в центре города можно было наткнуться на трупы грызунов, валявшихся кучками на лестничных площадках или во дворах. А некоторые одиночные экземпляры забирались в вестибюли казенных зданий, на школьные дворики, иной раз даже на террасы кафе, где и подыхали. Наши сограждане с удивлением находили их в самых людных местах города. Порой эта мерзость попа-

далась на Оружейной площади, на бульварах, на Приморском променаде. На заре город очищали от падали, но в течение дня крысиные трупы накапливались вновь и вновь во все возрастающем количестве. Бывало не раз, что ночной прохожий случайно с размаху наступал на пружинящий под ногой еще свежий трупик. Казалось, будто сама земля, на которой были построены наши дома, очищалась от скопившейся в ее недрах скверны, будто оттуда изливалась наружу сукровица и взбухали язвы, разъедавшие землю изнутри. Вообразите же, как опешил наш доселе мирный городок, как потрясли его эти несколько дней; так здоровый человек вдруг обнаруживает, что его до поры до времени неспешно текущая в жилах кровь внезапно взбунтовалась.

Дошло до того, что агентство Инфдок (информация, документация, справки по любым вопросам) в часы, отведенные для бесплатной информации, довело до сведения радиослушателей, что за одно только двадцать пятое апреля была подобрана и сожжена 6231 крыса. Цифра эта обобщила и прояснила смысл уже ставшего будничным зрелища и усугубила общее смятение. До этой передачи люди сетовали на нашествие грызунов как на малоаппетитное происшествие. Только

теперь они осознали, что это явление несет с собой угрозу, хотя никто не мог еще ни установить размеры бедствия, ни объяснить причину, его породившую. Один только старик испанец, задыхавшийся от астмы, по-прежнему потирал руки и твердил в упоении: «Лезут! Лезут!»

Двадцать восьмого апреля агентство Инфдок объявило, что подобрано примерно 8000 крысиных трупов, и городом овладел панический страх. Жители требовали принятия радикальных мер, обвиняли власти во всех смертных грехах, и некоторые владельцы вилл на побережье заговорили уже о том, что пришло время перебираться за город. Но на следующий день агентство объявило, что нашествие внезапно кончилось и служба очистки подобрала только незначительное количество дохлых крыс. Город вздохнул с облегчением.

Однако в тот же день около полудня доктор Риэ, остановив перед домом машину, заметил в конце их улицы привратника, который еле передвигался, как-то нелепо растопырив руки и ноги и свесив голову, будто деревянный паяц. Старика привратника поддерживал под руку священник, и доктор сразу его узнал. Это был отец Панлю, весьма ученый и воинствующий иезуит; они не

раз встречались, и Риэ знал, что в их городе преподобный отец пользуется большим уважением даже среди людей, равнодушных к вопросам религии. Доктор подождал их. У старика Мишеля неестественно блестели глаза, дыхание со свистом вырывалось из груди. Вдруг что-то занемог, объяснил Мишель, и решил выйти на воздух. Но во время прогулки у него начались такие резкие боли в области шеи, под мышками и в паху, что пришлось повернуть обратно и попросить отца Панлю довести его до дома.

— Там набрякло, — пояснил он. — Не мог до дому добраться.

Высунув руку из окна автомобиля, доктор провел пальцем по шее старика возле ключиц и нащупал твердый, как деревянный, узелок.

— Идите ложитесь, смеряйте температуру, я загляну к вам под вечер.

Привратник ушел, а Риэ спросил отца Панлю, что он думает насчет нашествия грызунов.

— Очевидно, начнется эпидемия, — ответил святой отец, и в глазах его, прикрытых круглыми стеклами очков, мелькнула улыбка.

После завтрака Риэ перечитывал телеграмму, где жена сообщала о своем прибытии в санаторий, как вдруг раздался телефонный звонок.

Звонил его старый пациент, служащий мэрии. Он уже давно страдал сужением аорты, и так как человек он был малоимущий, Риэ лечил его бесплатно.

— Да, это я, вы меня, наверно, помните, — сказал он. — Но сейчас речь не обо мне. Приходите поскорее, с моим соседом неладно.

Голос его прерывался. Риэ подумал о привратнике и решил заглянуть к нему попозже. Через несколько минут он уже добрался до одного из внешних кварталов и открыл дверь низенького домика по улице Федерб. На середине сырой и вонючей лестницы он увидел Жозефа Грана, служащего мэрии, который вышел его встретить. Узкоплечий, длинный, сутулый, с тонкими ногами и руками, прокуренными желтыми усами, он казался старше своих пятидесяти лет.

— Сейчас чуть получше, — сказал он, шагнув навстречу Риэ, — а я уж испугался, что он кончается.

Он высморкался. На третьем, то есть на самом верхнем, этаже Риэ прочел на двери слева надпись, сделанную красным мелом: «Входите, я повесился».

Они вошли. Веревка свисала с люстры над опрокинутым стулом, стол был задвинут в угол.

Но в петле никого не оказалось.

— Я его вовремя успел вынуть из петли, — сказал Гран, который, как и всегда, с трудом подбирал слова, хотя лексикон его был и без того небогат. — Я как раз выходил и вдруг услышал шум. А когда увидел надпись, решил, что это розыгрыш, что ли. Но он так странно, я бы сказал даже зловеще, застонал…

Он поскреб себе затылок.

— По моему мнению, это должно быть крайне мучительно. Ну, понятно, я вошел.

Толкнув дверь, они очутились в светлой, бедно обставленной спальне. На кровати с медными шишечками лежал низкорослый толстячок. Дышал он громко и смотрел на вошедших воспаленными глазами. Доктор остановился на пороге. Ему почудилось, будто в паузах между двумя вздохами он слышит слабый крысиный писк. Но в углах комнаты ничто не копошилось. Риэ подошел к кровати. Пациент, очевидно, упал с небольшой высоты, и упал мягко — позвонки были целы. Само собой разумеется, небольшое удушье. Не мешало бы сделать рентгеновский снимок. Доктор впрыснул больному камфару и сказал, что через несколько дней все будет в порядке.

— Спасибо, доктор, — глухо пробормотал больной.

Риэ спросил Грана, сообщил ли он о случившемся полицейскому комиссару, и тот смущенно взглянул на него.

— Нет, — сказал он, — нет. Я решил, что важнее…

— Вы правы, — подтвердил Риэ, — тогда я сам сообщу.

Но тут больной беспокойно шевельнулся, сел на кровати и заявил, что он чувствует себя прекрасно и не стоит поэтому никому ничего сообщать.

— Успокойтесь, — сказал Риэ. — Поверьте мне, все это пустяки, но я обязан сообщать о таких происшествиях.

— Ох, — простонал больной.

Он откинулся на подушку и тихонько заскулил. Гран, молча пощипывавший усы, приблизился к постели.

— Ну-ну, мсье Коттар, — проговорил он. — Вы сами должны понимать. Ведь доктор, надо полагать, за такие вещи отвечает. А что, если вам в голову придет еще раз…

Но Коттар, всхлипывая, заявил, что не придет, то была просто минутная вспышка безумия и он лишь одного хочет — пускай его оставят в покое.

Риэ написал рецепт.

— Ладно, — сказал он. — Не будем об этом. Я зайду дня через два-три. Только смотрите снова не наделайте глупостей.

На лестничной площадке Риэ сказал Грану, что обязан заявить о происшедшем, но что он попросит комиссара начать расследование не раньше, чем дня через два.

— Ночью за ним стоило бы приглядеть. Семья у него есть?

— Во всяком случае, я никого не знаю, но могу сам за ним присмотреть. — Он покачал головой. — Признаться, я и его самого-то не так уж хорошо знаю. Но нужно ведь помогать друг другу.

Проходя по коридору, Риэ машинально посмотрел в угол и спросил Грана, полностью ли исчезли крысы из их квартала. Чиновник не мог сообщить по этому поводу ничего. Правда, ему рассказывали о крысином нашествии, но он обычно не придает значения болтовне соседей.

— У меня свои заботы, — сказал он.

Риэ поспешно пожал ему руку. Нужно было еще написать жене, а перед тем навестить привратника.

Газетчики, продающие вечерний выпуск,

громкими криками возвещали, что нашествие грызунов пресечено. Но, едва переступив порог каморки привратника, доктор увидел, что тот лежит, наполовину свесившись с кровати над помойным ведром, схватившись одной рукой за живот, другой за горло, и его рвет мучительно, с потугами, розоватой желчью. Ослабев от этих усилий, еле дыша, привратник снова улегся. Температура у него поднялась до 39,5°, железы на шее и суставы еще сильнее опухли, на боку выступили два черных пятна. Теперь он жаловался, что у него ноет все нутро.

— Жжет, — твердил он, — ух как жжет, сволочь!

Губы неестественно темного цвета еле шевелились, он бормотал что-то неразборчивое и все поворачивал к врачу свои рачьи глаза, на которые от нестерпимой головной боли то и дело наворачивались слезы. Жена с тревогой смотрела на упорно молчавшего Риэ.

— Доктор, — спросила она, — что это с ним такое?

— Может быть любое. Пока ничего определенного сказать нельзя. До вечера подержите его на диете, дайте слабительное. И пусть побольше пьет.

И впрямь привратника все время мучила жажда.

Вернувшись домой, Риэ позвонил своему коллеге Ришару, одному из самых авторитетных врачей города.

— Нет, — ответил Ришар, — за последнее время никаких экстраординарных случаев я не наблюдал.

— Ни одного случая высокой температуры, лихорадки с локальным воспалением?

— Ах да, пожалуй, в двух случаях лимфатические узлы были сильно воспалены.

— Сверх нормы?

— Ну-у, — протянул Ришар, — норма, знаете ли…

Но так или иначе, к вечеру у привратника температура поднялась до 40°, он бредил и жаловался на крыс. Риэ решил сделать ему фиксирующий абсцесс. Почувствовав жжение от терпентина, больной завопил: «Ох, сволочи!»

Лимфатические узлы еще сильнее набрякли, затвердели и на ощупь казались жесткими, как дерево. Жена больного совсем потеряла голову.

— Не отходите от него, — посоветовал доктор. — Если понадобится, позовите меня.

На следующий день, тридцатого апреля, с

влажно-голубого неба повеял уже по-весеннему теплый ветер. Он принес из отдаленных пригородов благоухание цветов. Утренние шумы казались звонче, жизнерадостнее обычного. Для всего нашего небольшого городка, сбросившего с себя смутное предчувствие беды, под тяжестью которого мы прожили целую неделю, этот день стал подлинным днем прихода весны. Даже Риэ, получивший от жены бодрое письмо, спустился к привратнику с ощущением какой-то душевной легкости. И в самом деле, температура к утру упала до 38°. Больной слабо улыбнулся, не поднимая головы с подушки.

— Ему лучше, да, доктор? — спросила жена.

— Подождем еще немного.

Но к полудню температура сразу поднялась до 40°, больной не переставая бредил, приступы рвоты участились. Железы на шее стали еще болезненнее на ощупь, и привратник все закидывал голову, как будто ему хотелось держать ее как можно дальше от тела. Жена сидела в изножье постели и через одеяло легонько придерживала ноги больного. Она молча взглянула на врача.

— Вот что, — сказал Риэ, — его необходимо изолировать и провести специальный курс лечения. Я позвоню в госпиталь, и мы перевезем его в

карете «скорой помощи».

Часа через два, уже сидя в машине «скорой помощи», доктор и жена больного склонились над ним. С обметанных, распухших губ срывалась обрывки слов: «Крысы! Крысы!» Лицо его позеленело, губы стали как восковые, веки словно налились свинцом, дышал он прерывисто, поверхностно и, как бы распятый разбухшими железами, все жался в угол откидной койки, будто хотел, чтобы она захлопнулась над ним, будто какой-то голос, идущий из недр земли, не переставая звал его, задыхающегося под какой-то невидимой тяжестью. Жена плакала.

— Значит, доктор, надежды уже нет?

— Он скончался, — ответил Риэ.

Смерть привратника, можно сказать, подвела черту под первым периодом зловещих предзнаменований и положила начало второму, относительно более трудному, где первоначальное изумление мало-помалу перешло в панику. Прежде никто из наших сограждан даже мысли никогда не допускал — они поняли это только сейчас, — что именно нашему городку предназначено стать тем самым местом, где среди бела дня околевают крысы, а привратники гибнут от загадочных недугов. С этой точки зрения мы,

следовательно, заблуждались, и нам пришлось срочно пересматривать свои представления о мире. Если бы дело тем и ограничилось, привычка взяла бы верх. Но еще многим из нас — причем не только привратникам и беднякам — пришлось последовать по пути, который первым проложил мсье Мишель. Вот с этого-то времени и возник страх, а ему сопутствовали раздумья.

Однако прежде чем приступить к подробному описанию дальнейших событий, рассказчик считает полезным привести суждение другого свидетеля касательно этого этапа. Жан Тарру, с которым читатель уже встречался в начале этого повествования, осел в Оране за несколько недель до чрезвычайных событий и жил в одном из самых больших отелей в центре города. Судя по всему, жил он безбедно, на свои доходы. Но хотя город постепенно привык к нему, никто не знал, откуда он взялся, почему живет здесь. Его встречали во всех общественных местах. С первых весенних дней его чаще всего можно было видеть на пляже, где он с явным удовольствием нырял и плавал. Жизнерадостный, с неизменной улыбкой на губах, он, казалось, отдавался всем развлечениям, но отнюдь не был их рабом… И в самом деле, можно назвать только одну его

привычку — усердные посещения испанских танцовщиков и музыкантов, которых в нашем городе немало.

Так или иначе, его записные книжки тоже содержат хронику этого трудного периода. Но тут, в сущности, мы имеем дело с совсем особой хроникой, словно автор заведомо поставил себе целью все умалять. На первый взгляд кажется, будто Тарру как-то ухитряется видеть людей и предметы в перевернутый бинокль. Среди всеобщего смятения он, по сути дела, старался стать историографом того, что вообще не имеет истории. Разумеется, можно только пожалеть об этой предвзятости и заподозрить душевную черствость. Но при всем том его записи могут пополнить хронику этого периода множеством второстепенных деталей, имеющих, однако, свое значение; более того, сама их своеобычность не позволяет нам судить с налету об этом, безусловно, занятном персонаже.

Первые записи Жана Тарру относятся ко времени его прибытия в Оран. С самого начала в них чувствуется, что автор до странности доволен тем обстоятельством, что попал в такой уродливый город. Там мы находим подробное описание двух бронзовых львов, украшающих подъезд мэрии,

вполне благодушные замечания насчет отсутствия зелени, насчет неприглядного вида зданий и нелепой планировки города. Эти замечания Тарру перемежает диалогами, подслушанными в трамваях и на улицах, причем автор избегает любых комментариев, за исключением — но это уже позднее — одного разговора, касающегося некоего Кана. Тарру довелось присутствовать при беседе двух трамвайных кондукторов.

— Ты Кана знал? — спросил первый.

— Какого Кана? Высокого такого, с черными усами?

— Его самого. Он еще работал стрелочником.

— Ну конечно, знал.

— Так вот, он умер.

— Ага, а когда?

— Да после этой истории с крысами.

— Смотри-ка! А что с ним такое было?

— Не знаю, говорят, лихорадка. Да и вообще он слабого здоровья был. Сделались у него нарывы под мышками. Ну, он и не выдержал.

— А ведь с виду был вроде как все.

— Нет, у него грудь была слабая, да еще он играл в духовом оркестре. А знаешь, как вредно дудеть на корнет-а-пистоне.

— Да, — заключил второй, — когда у человека

плохое здоровье, нечего ему дудеть на корнете.

Взвесив эти факты, Тарру задумывается над тем, с какой стати Кан явно во вред своим собственным интересам вступил в духовой оркестр и какие скрытые причины побудили его рисковать жизнью ради сомнительного удовольствия участвовать в воскресных шествиях.

Далее Тарру отмечает благоприятное впечатление, которое произвела на него сцена, почти ежедневно разыгрывавшаяся на балконе прямо напротив его окна. Его номер выходил в переулок, где в тени, отбрасываемой стенами, мирно дремали кошки. Но ежедневно после второго завтрака, в те часы, когда сморенный зноем город впадал в полусон, на балконе напротив окна Тарру появлялся старичок. Седовласый, аккуратно причесанный, в костюме военного покроя, старичок, держащийся по-солдатски прямо и строго, негромко скликал кошек ласковым «кис-кис». Кошки, еще не трогаясь с места, подымали на него обесцвеченные сном глаза. Тогда старичок разрывал лист бумаги на маленькие клочки и сыпал их вниз, на улицу и на кошек, а те, соблазнившись роем беленьких бабочек, ступали на мостовую и нерешительно тянулись лапкой к обрывкам бумаги. Тут старичок смачно и метко

плевал на кошек. Если хотя бы один плевок достигал цели, он разражался хохотом.

Наконец, нашего Тарру, по-видимому, совсем покорил торговый облик города, где все — и самое оживление, и даже удовольствия — как бы подчинено нуждам коммерции. Эта особенность (именно такой термин мы встречаем в его записях) заслужила одобрение автора, и одна из хвалебных записей даже кончается словами: «Вот оно как!» Только в этих записях и проскальзывают личные нотки. Трудно вполне оценить значение и важность этих заметок. Рассказав историю о том, как кассир отеля, обнаружив дохлую крысу, допустил ошибку в счете, Тарру добавляет менее четким, чем обычно, почерком: «Вопрос: как добиться того, чтобы не терять зря времени? Ответ: прочувствовать время во всей его протяженности. Средства: проводить дни в приемной зубного врача на жестком стуле; сидеть на балконе в воскресенье после обеда; слушать доклады на непонятном для тебя языке; выбирать самые длинные и самые неудобные железнодорожные маршруты и, разумеется, ездить в поездах стоя; торчать в очереди у театральной кассы и не брать билета на спектакль и т. д. и т. п». Но непосредственно после таких скачков

мысли и стиля в записных книжках идут подробнейшие описания наших городских трамваев, формы вагонов, отмечается то, что окрашены они в неопределенно-бурый цвет, что в них всегда грязно, и кончаются эти соображения словами: «Это обращает на себя внимание!», что, в сущности, ничего не объясняет.

Во всяком случае, в записных книжках Тарру есть упоминание об истории с крысами, приводим его слова:

«Сегодня старичок, что живет напротив, явно расстроен. Не стало кошек. Они действительно куда-то испарились, обеспокоенные зрелищем дохлых крыс, которые сотнями валяются на улицах. По-моему, кошки вообще-то дохлых крыс не едят. Во всяком случае, помнится, мои категорически отказывались от этого угощения. Так или иначе, они, должно быть, носятся по подвалам, а старичку от этого одно расстройство. Он даже не так аккуратно причесан, как-то сразу сдал. Чувствуется, что ему не по себе. Постояв с минуту, он ушел в комнаты. Но на прощание все-таки плюнул разок — в пустоту.

Сегодня в городе остановили трамвай, так как обнаружили там дохлую крысу, непонятно откуда взявшуюся. Две-три женщины тут же вылезли.

Крысу выбросили. Трамвай двинулся дальше.

В нашем отеле ночной сторож — а он человек, вполне заслуживающий доверия, — сообщил мне, что ждет от крысиного нашествия всяческих бед. «Когда крысы покидают корабль…» Я возразил, что в случае с кораблем это, может, и верно, но в отношении городов это еще не доказано. Однако разубедить его не удалось. Я спросил, какая же беда, по его мнению, грозит нам. Он и сам не знает; беду, по его словам, заранее не угадаешь. Но ничего удивительного нет, если произойдет землетрясение. Я согласился, что это возможно, и он спросил, не пугает ли меня такая перспектива.

— Единственное, что мне важно, — сказал я, — обрести внутренний мир.

И сторож прекрасно меня понял. В ресторане нашего отеля я не раз встречал весьма примечательное семейство. Отец — высокий, тощий, в черной паре, в туго накрахмаленном воротничке. На макушке у него плешь, а над ушами справа и слева торчат два кустика седых волос. Глазки у него маленькие, круглые и жесткие, нос тонкий, рот неестественно растянут, что придает ему сходство с благовоспитанным филином. Каждый раз он распахивает дверь ресторана, потом при-

жимается к косяку, пропуская жену, маленькую, как черная мышка, входит сам, а за ним семенят мальчик и девочка, наряженные, как цирковые собачонки. У столика он стоит, пока жена не займет место, садится сам, а потом уже оба пуделька могут вскарабкаться на стулья. К жене и детям он обращается на вы, отпускает своей половине всяческие колкости и безапелляционным тоном говорит своим отпрыскам:

— Николь, на вас в высшей степени неприятно смотреть.

Девочка еле удерживает слезы. А ему только этого и надо.

Нынче утром мальчик не мог усидеть на месте, так взбудоражила его история с крысами. Он не вытерпел и начал было свой рассказ.

— За обедом о крысах не говорят, Филипп. Запрещаю вам раз и навсегда даже произносить слово «крыса».

— Ваш отец совершенно прав, — подхватила черная мышка.

Оба пуделька уткнули носы в тарелку с паштетом, а филин поблагодарил жену кивком головы, который можно было истолковать как угодно.

Пример, достойный подражания, а между тем весь город говорит о крысах. Даже газета вмеша-

лась в это дело. Отдел городской хроники, обычно составленный из самых разных материалов, ведет теперь упорную кампанию против муниципалитета. «Отдают ли себе отчет отцы города, какую опасность представляют разлагающиеся на улицах трупы грызунов?» Директор отеля ни о чем, кроме этих крыс, говорить не может. И неудивительно, для него это зарез. То обстоятельство, что в лифте столь респектабельного отеля обнаружили крысу, кажется ему непостижимым. Желая его утешить, я сказал: «Но у всех сейчас крысы».

— Вот именно, — ответил он, — теперь мы стали как все.

Это он сообщил мне о первых случаях лихорадки непонятного происхождения, которая вызывает в городе тревогу. Одна из его горничных тоже заболела.

— Но ясно, болезнь не заразная, — поспешил заверить он.

Я сказал, что мне это безразлично.

— О, понимаю. Мсье вроде меня, мсье тоже фаталист.

Ничего подобного я не говорил, и к тому же я вовсе не фаталист. Так я ему и сказал…»

С этого дня в записных книжках Тарру появ-

ляются более или менее подробные сведения об этой таинственной лихорадке, уже посеявшей в публике тревогу. После записи о старичке, который терпеливо продолжает совершенствовать свое прицельное плевание, так как после исчезновения крыс снова появились кошки, Тарру добавляет, что уже можно привести десяток случаев этой лихорадки, обычно приводящей к смертельному исходу.

Документальную ценность имеет портрет доктора Риэ, очерченный Тарру в нескольких строках. Поскольку может судить сам рассказчик, портрет этот достаточно верен.

«На вид лет тридцати пяти. Рост средний. Широкоплечий. Лицо почти квадратное. Глаза темные, взгляд прямой, скулы выдаются. Нос крупный, правильной формы. Волосы темные, стрижется очень коротко. Рот четко обрисован, губы пухлые, почти всегда плотно сжаты. Похож немного на сицилийского крестьянина — такой же загорелый, с иссиня-черной щетиной и к тому же ходит всегда в темном, впрочем, ему это идет.

Походка быстрая. Переходит через улицу, не замедляя шага, и почти каждый раз не просто ступает на противоположный тротуар, а легко вспрыгивает на обочину. Машину водит рассе-

янно и очень часто забывает отключить стрелку поворота, даже свернув в нужном направлении. Ходит всегда без шляпы. Вид человека, хорошо осведомленного».

Цифры, приведенные Тарру, полностью соответствовали истине. Уж кто-кто, а доктор Риэ это знал. После того как труп привратника перевезли в изолятор, Риэ позвонил Ришару, чтобы посоветоваться с ним насчет паховых опухолей.

— Сам ничего не понимаю, — признался Ришар. — У меня двое тоже умерли, один через двое суток, другой на третий день. А ведь я еще утром его посетил и нашел значительное улучшение.

— Предупредите меня, если у вас будут подобные случаи, — попросил Риэ.

Он позвонил еще и другим врачам. В результате проведенного опроса выяснилось, что за несколько последних дней отмечено примерно случаев двадцать аналогичного заболевания. Почти все они привели к смертельному исходу. Тогда Риэ опять позвонил Ришару, секретарю общества врачей Орана, и потребовал, чтобы вновь заболевшие были изолированы.

— Что же я-то могу? — сказал Ришар. — Тут должны принять меры городские власти. А откуда вы взяли, что это болезнь заразная?

— Ниоткуда. Просто симптомы слишком уж тревожные.

Однако Ришар заявил, что в этом вопросе он, мол, «недостаточно компетентен». Все, что он может сделать, — это поговорить с префектом.

Пока шли переговоры, погода испортилась. На следующий день после смерти привратника все небо затянуло густым туманом. На город обрушивались бурные, быстро проходящие дожди. Эти шумные ливни сменялись жарой, как в предгрозье. Даже море утратило свой темно-лазурный цвет и отливало под серым небом серебром, вернее сталью, так, что глазам было больно. По сравнению с влажной жарой нынешней весны даже летний зной казался желанным. В городе, лежащем в виде улитки на плоскогорье и только слегка открытом морю, царило угрюмое оцепенение. Люди, зажатые между бесконечными рядами ветхих стен, в лабиринте улиц с пыльными витринами, в грязно-желтых трамваях, чувствовали себя в плену у этого неба. Один только старик, пациент доктора Риэ, ликовал — в такую погоду астма его оставляла.

— Печет, — твердил он, — для бронхов оно самое полезное.

И в самом деле пекло, но не просто пекло, пекло

и жгло, как при лихорадке. Весь город лихорадило, такое по крайней мере впечатление не оставляло доктора Риэ в то утро, когда он отправился на улицу Федерб, чтобы присутствовать при расследовании дела о покушении Коттара на самоубийство. Но он тут же счел свое впечатление несуразным. Он приписал это нервному переутомлению, множеству навалившихся на него забот и подумал, что следовало бы взять себя в руки и привести свои мысли в порядок.

До улицы Федерб он добрался раньше полицейского комиссара. Гран уже ждал его на лестнице, и оба решили посидеть пока у него, а дверь на площадку оставить открытой. Служащий мэрии жил в двухкомнатной, довольно убого обставленной квартире. В глаза бросалась только деревянная некрашеная полка, на которой стояли два-три словаря, да грифельная доска на стене, где можно было еще разобрать полустертые слова «цветущие аллеи». По уверению Грана, Коттар провел ночь спокойно. Но утром он пожаловался на головную боль и вообще показался Грану каким-то безучастным. Сам Гран выглядел усталым и нервничал; он шагал взад и вперед по комнате, то открывая на ходу, то захлопывая лежавшую на столе толстую папку, набитую исписанными

листками.

Расхаживая по комнате, он сообщил доктору, что, в сущности, почти не знает Коттара, но предполагает, что у того есть небольшое состояние. Вообще-то Коттар — человек странный. Живут они рядом давно, но, встречаясь в подъезде, только раскланиваются.

— Фактически и разговаривал я с ним всего раза два. Несколько дней назад я уронил на площадке коробку с мелками. Там были красные и синие мелки. Как раз вышел Коттар и помог мне их собрать. Он спросил, для чего нужны разноцветные мелки.

Гран тогда объяснил ему, что намерен восстановить в памяти латынь. Латынь он учил в лицее, но порядком ее позабыл.

— Кстати, меня уверяли, — добавил он, обращаясь к доктору, — что знание латыни помогает глубже проникать в смысл французских слов.

На доске он пишет несколько латинских слов. Синим мелком те части слова, которые изменяются, согласно правилам склонения и спряжения, а красным — те, что остаются неизменными.

— Не знаю, понял ли меня Коттар или нет, во всяком случае, внешне он как будто заинтересовался и попросил у меня красный мелок. Я,

конечно, удивился, но в конце концов… Не мог же я предвидеть, что мелок ему понадобится для осуществления своего замысла.

Риэ спросил, о чем шла у них речь во второй раз. Но тут в сопровождении секретаря явился полицейский комиссар и пожелал сначала выслушать показания Грана. Доктор отметил про себя, что Гран, говоря о Коттаре, называет его «человеком отчаявшимся». Он употребил даже слова «роковое решение». Речь шла о мотивах самоубийства, и Гран проявлял крайнюю щепетильность в выборе терминов. Наконец сообща выработали формулировку: «Огорчения интимного характера». Комиссар осведомился, было ли в поведении Коттара что-либо, позволявшее предвидеть то, что он называл «его решение».

— Вчера он постучался ко мне, — сказал Гран, — и попросил спичек. Я дал ему коробок. Он извинился, что побеспокоил меня, но раз уж мы соседи… Потом стал уверять, что сейчас же вернет спички. Я сказал, пускай оставит коробок себе.

Комиссар спросил Грана, не показалось ли ему поведение Коттара странным.

— Одно мне показалось странным — то, что он вроде бы намеревался вступить со мной в беседу. Но мне как раз надо было работать.

Гран обернулся к Риэ и смущенно пояснил:

— Личная работа.

Комиссар выразил желание повидать больного, но Риэ решил, что разумнее будет сначала подготовить Коттара к этому визиту. Когда он вошел к нему в комнату, Коттар в серой фланелевой пижаме приподнялся на постели и тревожно оглянулся на дверь:

— Полиция, да?

— Да, — ответил Риэ, — но волноваться не следует. Всего две-три формальности — и вас оставят в покое.

Но Коттар возразил, что все это ни к чему, а главное, он видеть не может полицию. Риэ не сдержал нетерпеливого жеста.

— Я тоже ее не обожаю. Но с этим делом надо покончить как можно скорее, поэтому отвечайте на вопросы быстро и точно.

Коттар замолчал, и доктор направился к двери. Но больной тут же окликнул его и, когда Риэ подошел, схватил его за руку:

— Скажите, доктор, ведь правда нельзя забирать больного или того, кто хотел повеситься, а?

С минуту Риэ смотрел на Коттара, а потом заверил его, что и речи не было ни о чем подобном, да он и сам явился сюда затем, чтобы защищать

интересы своего пациента. Больной, видимо, успокоился, и Риэ позвал комиссара.

Коттару зачитали показания Грана и спросили, может ли он уточнить мотивы своего поступка. Не глядя на комиссара, он подтвердил только, что «огорчения интимного характера — очень хорошо сказано». Комиссар тогда и спросил, не вздумает ли Коттар повторить свою попытку, Коттар с воодушевлением заверил, что не вздумает и желает только одного — чтобы его оставили в покое.

— Разрешите заметить, — раздраженно сказал комиссар, — что в данном случае именно вы нарушаете чужой покой.

Риэ незаметно махнул ему рукой, и комиссар замолчал.

— Нет, вы только подумайте, — вздохнул комиссар, когда они вышли на площадку, — у нас и без того хлопот по горло, особенно сейчас, с этой лихорадкой…

Он осведомился у доктора, серьезно ли это, и Риэ сказал, что сам не знает.

— Тут главное — погода, в ней вся беда, — заключил комиссар.

Разумеется, во всем виновата была погода. День становился все жарче и жарче, вещи, казалось,

липнут к рукам, и Риэ с каждым новым визитом укреплялся в своих опасениях. К вечеру того же дня он, попав в предместье, заглянул к соседу своего старого пациента-астматика и увидел, что тот лежит в бреду, схватившись за больной пах, и мучается неукротимой рвотой. Лимфатические узлы опухли у него еще сильнее, чем у их привратника. Один гнойник уже созрел и на глазах врача открылся, как гнилой плод. Вернувшись домой, Риэ позвонил в аптечный склад департамента. В его врачебных заметках под этой датой есть только одна запись: «Ответ отрицательный». А его вызывали уже к новым пациентам с тем же заболеванием. Ясно было одно — гнойники необходимо вскрывать. Два крестообразных надреза ланцетом — и из опухоли вытекала гнойная масса с примесью сукровицы. Больные исходили кровью, лежали как распятые. На животе и на ногах появлялись пятна, истечение из гнойников прекращалось, потом они снова набухали. В большинстве случаев больной погибал среди ужасающего зловония.

Газеты, размазывавшие на все лады историю с крысами, теперь словно в рот воды набрали. Оно и понятно: крысы умирали на улицах, а больные — у себя дома. А газеты интересуются только

улицей. Однако префектура и муниципалитет призадумались. Пока каждый врач сталкивался в своей практике с двумя-тремя случаями непонятного заболевания, никто и пальцем не шевельнул. Но достаточно было кому-то сделать простой подсчет, и полученный итог ошеломил всех. За несколько дней смертельные случаи участились, и тем, кто сталкивался с этим загадочным недугом, стало ясно, что речь идет о настоящей эпидемии. Именно в это время доктор Кастель, человек уже пожилой, зашел побеседовать к своему коллеге Риэ.

— Надеюсь, Риэ, вы уже знаете, что это? — спросил он.

— Хочу дождаться результата анализов.

— А я так знаю. И никакие анализы мне не требуются. Я много лет проработал в Китае, да, кроме того, лет двадцать назад наблюдал несколько случаев в Париже. Только тогда не посмели назвать болезнь своим именем. Общественное мнение — это же святая святых: никакой паники, главное — без паники. К тому же один врач мне сказал: «Но это немыслимо, всем известно, что на Западе она полностью исчезла». Знать-то все знали, кроме тех, кто от нее погиб. Да и вы, Риэ, тоже знаете это не хуже меня.

Риэ задумчиво молчал. Из окна кабинета был виден каменистый отрог прибрежных скал, смыкавшихся вдалеке над бухтой. И хотя небо было голубое, сквозь лазурь пробивался какой-то тусклый блеск, меркнущий по мере того, как близился вечер.

— Да, Кастель, — проговорил он, — а все-таки не верится. Но по всей видимости, это чума.

Кастель поднялся и направился к двери.

— Вы сами знаете, что нам ответят, — сказал старик доктор. — «Уже давным-давно она исчезла в странах умеренного климата».

— А что, в сущности, значит «исчезла»? — ответил Риэ, пожимая плечами.

— Да, представьте, исчезла. И не забудьте: в самом Париже меньше двадцати лет назад…

— Ладно, будем надеяться, что у нас обойдется так же благополучно, как и там. Но просто не верится.

Слово «чума» было произнесено впервые. Оставим на время доктора Риэ у окна его кабинета и позволим себе отступление с целью оправдать в глазах читателя колебания и удивление врача, тем более что первая его реакция была точно такой же, как у большинства наших сограждан, правда, с некоторыми нюансами. Стихийное бед-

ствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, даже когда оно обрушится на вашу голову. В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума, и война, как правило, заставали людей врасплох. И доктора Риэ, как и наших сограждан, чума застала врасплох, и поэтому давайте постараемся понять его колебания. И постараемся также понять, почему он молчал, переходя от беспокойства к надежде. Когда разражается война, люди обычно говорят: «Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война — это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вообще-то глупость — вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, если не думать все время только о себе. В этом отношении наши сограждане вели себя, как и все люди, — они думали о себе, то есть были в этом смысле гуманистами: они не верили в бич Божий. Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие — это нечто ирреальное, что оно-де дурной сон, который скоро пройдет. Но не сон кончается, а от одного дурного сна к другому кончаются люди, и в первую очередь гуманисты, потому что они пренебрегают мерами предосторожности. В этом

отношении наши сограждане были повинны не больше других людей, просто они забыли о скромности и полагали, что для них еще все возможно, тем самым предполагая, что стихийные бедствия невозможны. Они по-прежнему делали дела, готовились к путешествиям и имели свои собственные мнения. Как же могли они поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры? Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия.

И даже когда сам доктор Риэ признался своему другу Кастелю, что в разных частях города с десяток больных без всякого предупреждения взяли и скончались от чумы, опасность по-прежнему казалась ему нереальной. Просто, если ты врач, у тебя составилось определенное представление о страдании и это как-то подхлестывает твое воображение. И, глядя в окно на свой город, который ничуть не изменился, вряд ли доктор почувствовал, как в нем зарождается то легкое отвращение перед будущим, что зовется тревогой. Он попытался мысленно свести в одно все свои сведения об этом заболевании. В памяти беспорядочно всплывали цифры, и он твердил про себя, что истории известно примерно три десятка боль-

ших эпидемий чумы, унесших сто миллионов человек. Но что такое сто миллионов мертвецов? Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мертвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение. Доктор припомнил, что, по утверждению Прокопия, чума в Константинополе уносила ежедневно десять тысяч человек. Десять тысяч мертвецов — это в пять раз больше, чем, скажем, зрителей крупного кинотеатра. Вот что следовало бы сделать. Собрать людей при выходе из пяти кинотеатров, свести их на городскую площадь и умертвить всех разом — тогда можно было бы себе все это яснее представить, можно было бы различить в этой безликой толпе знакомые лица. Но проект этот неосуществим, да и кто знает десять тысяч человек? К тому же люди, подобные Прокопию, как известно, считать не умели. Семьдесят лет назад в Кантоне сдохло от чумы сорок тысяч крыс, прежде чем бедствие обратилось на самих жителей. Но и в 1871 году не было возможности точно подсчитать количество крыс. Подсчитывали приблизительно, скопом

и, конечно, допускали при этом ошибки. Между тем, если одна крыса имеет в длину сантиметров тридцать, то сорок тысяч дохлых крыс, положенные в ряд, составят…

Но тут доктору изменило терпение. Он слишком дал себе волю, а вот этого-то и не следовало допускать. Несколько случаев — это еще не эпидемия, и в общем-то достаточно принять необходимые меры. Следовало держаться того, что уже известно, например, ступор, прострация, покраснение глаз, обметанные губы, головные боли, бубоны, мучительная жажда, бред, пятна на теле, ощущение внутренней распятости, а в конце концов… А в конце концов доктор Риэ мысленно подставлял фразу, которой в учебнике завершается перечисление симптомов: «Пульс становится нитеобразным, и любое, самое незначительное движение влечет за собой смерть». Да, в конце концов все мы висим на ниточке, и три четверти людей — это уж точная цифра — спешат сделать то самое незначительное движение, которое их и сразит.

Доктор все еще смотрел в окно. По ту сторону стекла — ясное весеннее небо, а по эту — слово, до сих пор звучавшее в комнате: «чума». Слово это содержало в себе не только то, что пожелала вло-

жить в него наука, но и бесконечную череду самых необычных картин, которые так не вязались с нашим желто-серым городом, в меру оживленным в этот час, скорее приглушенно жужжащим, чем шумным, в сущности-то счастливым, если можно только быть одновременно счастливым и угрюмым. И это мирное и такое равнодушное ко всему спокойствие одним росчерком, без особого труда зачеркивало давно известные картины бедствий: зачумленные и покинутые птицами Афины, китайские города, забитые безгласными умирающими, марсельских каторжников, скидывающих в ров сочащиеся кровью трупы, постройку великой провансальской стены, долженствующей остановить яростный вихрь чумы, Яффу с ее отвратительными нищими, сырые и прогнившие подстилки, валяющиеся прямо на земляном полу константинопольского лазарета, зачумленных, которых тащат крючьями, карнавал врачей в масках во время Черной чумы, соитие живых на погостах Милана, повозки для мертвецов в сраженном ужасом Лондоне и все ночи, все дни, звенящие нескончаемым людским воплем. Нет, даже все это было не в силах убить покой сегодняшнего дня. По ту сторону окна вдруг протренькал невидимый отсюда трамвай

и сразу же опроверг жестокость и боль. Разве что море там, за шахматной доской тусклых зданий, свидетельствовало, что в мире есть нечто тревожащее, никогда не знающее покоя. И доктор Риэ, глядя на залив, вспомнил о кострах, о них говорил Лукреций, — испуганные недугом афиняне раскладывали костры на берегу моря. Туда ночью сносили трупы, но берега уже не хватало, и живые дрались, пуская в ход факелы, лишь бы отвоевать место в огне тому, кто был им дорог, готовы были выдержать любую кровопролитную схватку, лишь бы не бросить на произвол судьбы своего покойника… Без труда представлялось багровое пламя костров рядом со спокойной темной гладью вод, факельные битвы, потрескивание искр во мраке, густые клубы ядовитого дыма, который подымался к строго внимающему небу. Трудно было не содрогнуться…

Но все это умопомрачение рушилось перед доводами разума. Совершенно верно, слово «чума» было произнесено, совершенно верно, как раз в ту самую минуту просвистел бич и сразил одну или две жертвы. Ну и что же — еще не поздно остановить его. Главное — это ясно осознать то, что должно быть осознано, прогнать прочь бесплодные видения и принять надлежащие меры.

И тогда-де чума остановится: ведь человек не может представить себе чуму или представляет ее неверно. Если она остановится, что всего вероятнее, тогда все образуется. В противном случае люди узнают, что такое чума и нет ли средства сначала ужиться с ней, чтобы уж затем одолеть.

Доктор отворил окно, в комнату ворвался шум города. Из соседней мастерской долетал короткий размеренный визг механической пилы. Риэ встряхнулся. Да, вот что дает уверенность — повседневный труд. Все прочее держится на ниточке, все зависит от того самого незначительного движения. К этому не прилепишься. Главное — это хорошо делать свое дело.

Вот о чем думал доктор Риэ, когда ему доложили, что пришел Жозеф Гран. Хотя Гран служил чиновником в мэрии и занимался там самыми разнообразными делами, время от времени ему, уже в качестве частного лица, поручали составлять статистические таблицы. Так, сейчас он вел подсчет смертных случаев. И, будучи человеком обязательным, охотно согласился лично занести доктору копию своих подсчетов.

Вместе с Граном явился и его сосед Коттар. Чиновник еще с порога взмахнул листком бумаги.

— Цифры растут, доктор, — объявил он, —

одиннадцать смертей за последние сорок восемь часов.

Риэ поздоровался с Коттаром, осведомился о его самочувствии. Гран объяснил, что Коттар сам напросился прийти с ним, хотел поблагодарить доктора и принести извинения за доставленные хлопоты. Но Риэ уже завладел списком.

— Н-да, — протянул он, — возможно, пришла пора назвать болезнь ее настоящим именем. До сих пор мы тянули. Пойдемте со мной, мне нужно заглянуть в лабораторию.

— Верно, верно, — твердил Гран, спускаясь вслед за доктором по лестнице. — Необходимо называть вещи своими именами. А как прикажете называть эту болезнь?

— Пока еще я не могу вам ее назвать, впрочем, это вам ничего не даст.

— Вот видите, — улыбнулся Гран. — Не так-то это легко.

Они направились к Оружейной площади. Коттар упорно молчал. На улицах начал появляться народ. Быстротечные сумерки — других в нашем краю и не бывает — уже отступали перед ночным мраком, а на еще светлом небосклоне зажглись первые звезды. Через несколько секунд вспыхнули уличные фонари, и сразу же все небо затянуло

черной пеленой и громче стал гул голосов.

— Простите, но я поеду на трамвае, — сказал Гран, когда они добрались до угла Оружейной площади. — Вечера для меня священны. Как говорят у нас на родине: «Никогда не откладывай на завтра...»

Уже не в первый раз Риэ отметил про себя эту страсть Грана, уроженца Монтелимара, ссылаться в разговоре кстати и некстати на местные речения, да еще непременно добавлять повсеместно бытующие банальные фразы вроде «волшебная погода» или «феерическое освещение».

— Правильно, — подхватил Коттар. — После обеда его из дому не вытащишь.

Риэ спросил Грана, работает ли он вечерами для мэрии. Гран ответил — нет, работает для себя.

— А-а, — протянул Риэ, просто чтобы сказать что-то, — ну и как, идет дело?

— Я работаю уже много лет, значит, как-то идет... Хотя, с другой стороны, особых успехов не заметно.

— А чем, в сущности, вы занимаетесь? — спросил доктор, останавливаясь.

Гран, пробормотав что-то невнятное, нахлобучил на свои оттопыренные уши круглую шляпу... Риэ смутно догадался, что речь идет о каком-то

личном самоусовершенствовании. Но Гран уже распрощался и засеменил под фикусами бульвара Марны. У дверей лаборатории Коттар сказал доктору, что очень бы хотел с ним повидаться еще раз и попросить совета. Риэ, нервно скручивая лежавшую в кармане таблицу, пригласил Коттара зайти к нему на прием, но тут же спохватился и сказал, что послезавтра будет в их квартале и под вечер сам заглянет к нему.

Расставшись с Коттаром, доктор поймал себя на том, что все это время думает о Гране. Он представлял его в самом пекле чумной эпидемии — не такой, конечно, как нынешняя, не слишком грозной, а во время какого-нибудь мора, вошедшего в историю. «Он из тех, кого чума щадит». И тут же Риэ припомнил вычитанное где-то утверждение, будто чума щадит людей тщедушных и обрушивается в первую очередь на людей могучей комплекции. И, продолжая размышлять об этом, доктор решил, что, судя по виду Грана, у него есть своя маленькая тайна.

На первый взгляд Жозеф Гран был самым типичным мелким служащим. Длинный, тощий, в широком не по мерке костюме, очевидно, нарочно покупает на номер больше, надеется, такой дольше будет носиться. В нижней челюсти еще

сохранилось несколько зубов, зато в верхней не осталось ни единого. Когда он улыбался, верхняя губа уползала к носу и зияла черная дыра рта. Если добавить к этому портрету походку семинариста, неподражаемое искусство скользить вдоль стен и незаметно протискиваться в двери, да еще застарелый запах подвала и табачного дыма, все повадки личности незначительной, то, согласитесь сами, трудно представить себе такого человека иначе как за письменным столом, сверяющего тариф для городских банно-душевых заведений или подготовляющего для доклада молодому делопроизводителю материалы, касающиеся новой таксы на вывоз мусора и домовых отбросов. Даже самый непредвзятый наблюдатель решил бы, что и родился-то он на свет лишь для того, чтобы выполнять скромную, но весьма полезную работу в качестве сверхштатного служащего мэрии за шестьдесят два франка тридцать сантимов в день.

И действительно, именно такое определение, по словам Грана, фигурировало в его личном деле в графе «Квалификация». Когда двадцать два года назад он из-за отсутствия средств вышел из учебного заведения, не получив диплома, и согласился занять эту должность, ему, по его

словам, намекнули, что аттестация не за горами. Следует только в течение некоторого времени проявлять свою компетентность в щекотливых проблемах, которые возникают перед нашей городской администрацией. А потом, уверили его, он непременно дослужится до делопроизводителя, и это позволит ему жить безбедно. Впрочем, не тщеславие владело Жозефом Граном, как он и заверил с грустной улыбкой. Но перспектива обеспеченного и честного существования весьма его манила, тем более что он мог бы тогда с чистой совестью отдаваться любимому занятию. Если он согласился на эту должность, то из самых благородных побуждений и, если так можно выразиться, во имя верности некоему идеалу.

Это неопределенное положение длилось уже долгие годы, жизнь непомерно дорожала, а оклад Грана оставался по-прежнему мизерным, хотя за это время оклады несколько раз повышали. Он пожаловался на это Риэ, ведь никто вроде бы не замечает его положения. Вот здесь-то и коренится самобытность Грана, или, во всяком случае, таков один из ее признаков. Он и в самом деле мог бы сослаться если не на свои права, в которых не был особенно уверен, то, во всяком случае, на данные ему вначале заверения. Но, во-первых, началь-

ник канцелярии, пригласивший его на работу, давно умер, да и сам Гран не помнил, в каких именно выражениях ему посулили повышение. А главное, и, пожалуй, самое главное, было то, что Жозеф Гран не умел находить нужных слов.

Вот эта характерная черта, насколько мог заметить Риэ, особенно ярко рисовала нашего Грана. Именно это и мешало ему всякий раз написать давно задуманную докладную или предпринять другие, соответствующие обстоятельствам шаги. Если верить ему, он чувствовал себя окончательно неспособным употребить как слово «право», ибо сам не был уверен в значении этого понятия, так и слово «обещание», ибо оно прозвучало бы как прямое требование воздать ему должное и, следовательно, граничило бы с дерзостью, не слишком-то уместной для человека, занимающего столь скромное положение. С другой стороны, он наотрез отказывался употреблять такие слова, как «благосклонность», «ходатайство», «признательность», так как считал, что это унижает его человеческое достоинство. Так вот из-за невозможности найти точное выражение наш Гран продолжал выполнять самые скромные функции чуть не до седых волос. Впрочем, как опять-таки Гран сам сообщил доктору Риэ, он

постепенно стал замечать, что с материальной стороны жизнь его, так или иначе, обеспечена, в основном потому, что он научился приспосабливать свои потребности к своим ресурсам. Тем самым он признавал справедливость любимого изречения нашего мэра, крупного оранского промышленника, который настойчиво уверял, что в конце концов (при этом мэр особенно налегал на слова «в конце концов», ибо на них фактически базировалось все его рассуждение), итак, в конце концов никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь умер с голоду. Во всяком случае, чуть ли не аскетическое существование, которое вел Жозеф Гран, и в самом деле в конце концов освободило его от всех забот такого рода. Он продолжал подыскивать слова.

Скажем прямо, что в известном смысле жизнь его могла служить примером. Он принадлежал к числу людей, достаточно редких как в нашем городе, так и за его пределами, которые имеют мужество отдаваться своим добрым чувствам. То малое, что он поведал о себе доктору, и впрямь свидетельствовало о наличии доброты и сердечных привязанностях, о чем в наши дни не каждый решится сказать вслух. Без краски стыда говорил он, что любит племянников и сестру,

единственную оставшуюся у него в живых родственницу, и каждые два года ездит во Францию с ней повидаться. Он не скрывал, что до сих пор воспоминания о родителях, которых он потерял еще в молодости, причиняют ему боль. Признавался, что ему особенно мил один колокол в их квартале — каждый день ровно в пять часов он звонил как-то необыкновенно приятно. Но для выражения даже столь простых чувств он с превеликой мукой подбирал нужные слова. Так что в конце концов именно этот труд по подбору слов стал главной его заботой. «Ах, доктор, — говорил он, — как бы мне хотелось научиться выражать свои мысли!» И при каждой встрече с Риэ он повторял эту фразу.

В этот вечер, глядя вслед удалявшемуся Грану, Риэ вдруг понял, что тот имел в виду: без сомнения, чиновник пишет книгу или что-нибудь в этом роде. Всю дорогу до самой лаборатории, куда он наконец добрался, мысль эта почему-то поддерживала Риэ. Он знал, что это глупо, но он не в состоянии был поверить в то, что чума и в самом деле может обосноваться в городе, где встречаются скромные чиновники, культивирующие какую-нибудь почтенную манию. Точнее говоря, не знал, какое место отвести подобным маниям в

условиях чумы, и вывел отсюда заключение, что практически чуме не разгуляться среди наших сограждан.

* * *

Назавтра, проявив незаурядную настойчивость, которая многим казалась просто неуместной, доктор Риэ добился от префектуры согласия на созыв санитарной комиссии.

— Что верно, то верно, население встревожено, — признался Ришар. — А главное, еще эта болтовня, все эти преувеличения. Префект мне лично сказал: «Если угодно, давайте действовать быстро, только не подымайте шума». Кстати, он уверен, что это ложная тревога.

Бернар Риэ довез Кастеля в своей машине до префектуры.

— Вам известно, что в департаменте нет сыворотки? — спросил старик.

— Известно. Я звонил на склад. Директор точно с неба свалился. Придется выписывать сыворотку из Парижа.

— Надеюсь, что хоть волокиты не будет.

— Я уже телеграфировал, — ответил Риэ.

Префект встретил членов комиссии хотя и любезно, но не без нервозности.

— Приступим, господа, — сказал он. — Должен ли я резюмировать создавшееся положение?

Ришар считал, что это лишнее. Врачам и так известно положение в городе. Главное, пора уяснить себе, какие меры следует принять.

— Главное, — грубо перебил Ришара старик Кастель, — главное, уяснить себе — чума это или нет.

Кто-то из врачей изумленно ахнул. Остальные, видимо, колебались. А префект даже подскочил на стуле и машинально оглянулся на дверь, как бы желая удостовериться, что это невероятное сообщение не просочилось в коридор. Ришар заявил, что, по его мнению, не следует поддаваться панике: речь идет о лихорадке, правда, осложненной воспалением паховых желез, это все, что можно сказать в данный момент; а в науке, как и в жизни, гипотезы всегда опасны. Старик Кастель, спокойно покусывавший желтый от никотина кончик уса, вскинул на Риэ светлые глаза. Потом благодушным взглядом обвел присутствующих и заметил, что, по его твердому убеждению, как раз это и есть чума. Но ежели признать этот факт официально, то придется принимать драконовские меры. В сущности, он уверен, что именно это пугает его уважаемых коллег, а раз так, он ради

их спокойствия охотно готов согласиться, что это не чума. Префект нервно заерзал на стуле и сказал, что при всех условиях такие рассуждения неправильны.

— Важно не то, правильные или нет, важно, чтобы они заставили задуматься.

Так как Риэ молчал, его попросили высказать свое мнение.

— Речь идет о лихорадке тифозного характера, но сопровождаемой образованием бубонов и осложненной рвотами. Я произвел надсечку бубонов. Таким образом я смог сделать анализы, и лаборатория предполагает, что обнаруженный ею микроб, очевидно, чумной. Но ради полной объективности следует добавить, что найденный микроб имеет известные отклонения от классического описания чумного микроба.

Ришар подчеркнул, что именно это обстоятельство и должно насторожить врачей, что необходимо поэтому дождаться результатов целой серии анализов, благо они производятся уже несколько дней.

— Раз микроб способен в течение трех суток в четыре раза увеличить объем селезенки, — после короткой паузы заговорил Риэ, — провоцировать воспаление лимфатических желез брыжейки,

причем они достигают размера апельсина и наполнены кашеобразной материей, тут, по-моему, не может быть места для колебаний. Очаги заразы непрестанно множатся. Если не остановить болезнь, принявшую такие размеры, она вполне способна убить половину города в течение двух, а то и меньше месяцев. И стало быть, не так уж важно, как вы будете величать эту болезнь — чумой или лихорадкой. Важно одно — помешать ей убить половину города.

Ришар возразил, что не следует сгущать краски, что заразность болезни к тому же еще не установлена, коль скоро родные заболевших живы и здоровы.

— Но больные-то умирают, — заметил Риэ. — Разумеется, риск заражения — величина не абсолютная, в противном случае болезнь возрастала бы с угрожающей прогрессией и привела бы к молниеносной гибели всего населения. Правильно, не надо сгущать краски. А принимать соответствующие меры надо.

Ришар позволил себе подытожить прения, напомнив присутствующим, что если только эпидемия сама не перестанет расти, придется пресечь ее распространение, применяя строгие меры профилактики, предписанные законом, а

чтобы сделать это, нужно официально признать, что речь идет о чуме; но, поскольку пока что нет полной уверенности, надо еще и еще раз все продумать.

— Вопрос не в том, — возразил Риэ, — каковы меры, предписываемые законом, строги они или нет, дело в другом — следует ли прибегнуть к ним, чтобы предотвратить гибель половины города. Все прочее — дело администрации, и не случайно в нашем законодательстве предусмотрены префекты, которым надлежит решать подобные вопросы.

— Бесспорно, — подтвердил префект, — но для этого необходимо, чтобы вы официально признали, что идет речь об эпидемии чумы.

— Если мы и не признаем, — сказал Риэ, — она все равно уничтожит половину города.

Тут заговорил явно нервничавший Ришар:

— Все дело в том, что наш коллега верит, будто это чума. Это видно хотя бы из его описаний синдрома заболевания.

Риэ возразил, что он описывал вовсе не синдром, а лишь то, что наблюдал своими собственными глазами. А наблюдал он бубоны, пятна на теле, высокую температуру, бред, летальный исход в течение двух суток. Решится ли господин

Ришар со всей ответственностью утверждать, что эпидемия прекратится сама собой без принятия строгих профилактических мер?

Ришар замялся и взглянул на Риэ:

— Ответьте мне положа руку на сердце, вы действительно считаете, что это чума?

— Вы не так ставите вопрос. Дело не в терминах, дело в сроках.

— Значит, по вашему мнению, — сказал префект, — чума это, нет ли, все равно следует принять профилактические меры, предписываемые на случай чумных эпидемий.

— Если вам необходимо знать мое мнение, считаю, что это так.

Врачи посовещались, и Ришар в конце концов заявил:

— Следовательно, нам придется взять на себя ответственность и действовать так, словно болезнь эта и есть чума.

Эта формулировка была горячо поддержана всеми присутствующими.

— А ваше мнение, дорогой коллега? — спросил Ришар.

— Формулировка мне безразлична, — ответил Риэ. — Скажем проще, мы не вправе действовать так, будто половине жителей нашего города не

грозит гибель, иначе они и в самом деле погибнут.

Риэ уехал, оставив своих коллег в состоянии раздражения. И вскоре где-то в предместье, пропахшем салом и мочой, истошно вопившая женщина с кровоточащими бубонами в паху повернула к нему свое изглоданное болезнью лицо.

На следующий день после совещания болезнь сделала еще один небольшой скачок. Сведения о ней просочились даже в газеты, правда, пока еще в форме вполне безобидных намеков. А еще через день Риэ прочитал одно из маленьких беленьких объявлений, которые префектура спешно расклеила в самых укромных уголках города. Из них никак уж нельзя было заключить, что власти отдают себе ясный отчет в серьезности создавшегося положения. Предлагаемые меры были отнюдь не драконовскими, и создавалось впечатление, будто власти готовы пожертвовать многим, лишь бы не встревожить общественное мнение. Во вступительной части распоряжения сообщалось, что в коммуне Оран было зарегистрировано несколько случаев злокачественной лихорадки, но пока еще рано говорить о ее заразности. Симптомы заболевания недостаточно

характерны, дабы вызвать серьезную тревогу, и нет никакого сомнения, что население сумеет сохранить спокойствие. Тем не менее по вполне понятным соображениям благоразумия префект все же решил принять кое-какие превентивные меры. Эти меры при условии, что они будут правильно поняты и неукоснительно выполняться населением, помогут в корне пресечь угрозу эпидемии. Поэтому префект ни на минуту не сомневается, что среди вверенного ему населения он найдет преданнейших помощников, которые охотно поддержат его личные усилия.

Затем в объявлении приводился список мер, среди коих предусматривалась борьба с грызунами, поставленная на научную ногу: уничтожение крыс с помощью ядовитых газов в водостоках, неусыпный надзор за качеством питьевой воды. Далее гражданам рекомендовалось всячески следить за чистотой, а в конце всем оранцам — разносчикам блох предлагалось явиться в городские диспансеры. С другой стороны, родные обязаны немедленно сообщать о всех случаях заболевания, установленного врачами, и не препятствовать изоляции больных в специальных палатах больницы. Оборудование палат обеспечивает излечение больных в минимальные

сроки с максимальными шансами на полное выздоровление. В дополнительных параграфах говорилось об обязательной дезинфекции помещения, где находился больной, а также перевозочных средств. А во всем прочем власти ограничились тем, что рекомендовали родственникам больных проходить санитарный осмотр.

Доктор Риэ резко отвернулся от афишки и направился к себе домой; там его уже ждал Жозеф Гран и, заметив врача, взмахнул руками.

— Знаю, знаю, — сказал Риэ, — цифры растут.

Накануне в городе умерло около десяти больных. Доктор сказал Грану, что, возможно, вечером они увидятся, так как он собирается навестить Коттара.

— Прекрасная мысль, — одобрил Гран. — Ваши визиты явно идут ему на пользу, он кое в чем переменился.

— В чем же?

— Вежливый стал.

— А раньше не был?

Гран замялся. Сказать прямо, что Коттар невежливый, он не мог — выражение казалось ему неточным. Просто он замкнутый, молчаливый, прямо дикий вепрь какой-то. Да и вся жизнь Коттара ограничивается сидением у себя в комнате,

посещением скромного ресторанчика и какими-то таинственными вылазками. Официально он числился комиссионером по продаже вин и ликеров. Время от времени к нему являлись посетители, два-три человека, очевидно, клиенты. Иногда вечерами ходит в кино напротив их дома. Гран заметил даже, что Коттар отдает явное предпочтение гангстерским фильмам. В любых обстоятельствах комиссионер держался замкнуто и недоверчиво.

Теперь, по словам Грана, все изменилось.

— Боюсь, я не сумею выразиться точно, но у меня, видите ли, создалось впечатление, будто он хочет примириться, что ли, с людьми, завоевать их симпатию. Стал со мной заговаривать, как-то даже предложил пойти вместе погулять, и я не сумел отказаться. Впрочем, он меня интересует, ведь, в сущности, я спас ему жизнь.

После попытки самоубийства Коттара еще никто не посещал. Он главным образом старался заслужить расположение и соседей, и лавочников. Никогда еще никто так мягко не говорил с бакалейщиками, никогда с таким интересом не выслушивал рассказов хозяйки табачной лавочки.

— Кстати, хозяйка эта чистая ехидна, — добавил

Гран. — Я сказал об этом Коттару, а он ответил, что я ошибаюсь, что и в ней тоже есть много хорошего, надо только уметь приглядеться.

Наконец, раза два-три Коттар водил Грана в самые шикарные рестораны и кафе. Он просто стал их завсегдатаем. «Там приятно посидеть, — говорил он, — да и общество приличное». Гран заметил, что весь обслуживающий персонал относится к Коттару с преувеличенным вниманием, и разгадал причину — комиссионер раздавал непомерно крупные чаевые. По всей видимости, Коттар был весьма чувствителен к изъявлениям благодарности со стороны обласканных им официантов. Как-то, когда сам метрдотель проводил их до вестибюля и даже подал ему пальто, Коттар сказал Грану:

— Славный парень и может при случае засвидетельствовать.

— Как засвидетельствовать, что?..

Коттар замялся.

— Ну… ну что я, скажем, неплохой человек.

Впрочем, изредка он еще взрывался по-прежнему. Недавно, когда лавочник был с ним не так любезен, как обычно, он вернулся домой, не помня себя от гнева.

— Экая гадина! С другими снюхался, — твер-

дил он.

— С кем это с другими?

— Да со всеми.

Гран сам присутствовал при нелепейшей сцене, разыгравшейся в табачной лавочке. Коттар с хозяйкой вели оживленную беседу, но вдруг она почему-то заговорила об аресте, происшедшем недавно и нашумевшем на весь Алжир. Речь шла о молодом служащем торговой конторы, который убил на пляже араба.

— Запрятать бы всю эту шваль за решетку, — сказала хозяйка, — тогда бы честные люди могли хоть свободно вздохнуть…

Но фразы своей она кончить не успела, потому что Коттар как оглашенный бросился прочь из лавчонки и даже не извинился. Гран и хозяйка обомлели от удивления.

Впоследствии Гран счел необходимым сообщить Риэ еще о кое-каких переменах, происшедших с Коттаром. Тот обычно придерживался весьма либеральных убеждений. Например, любимым его присловьем было: «Большие всегда пожирают малых». Но с некоторых пор он покупает только самую благомыслящую оранскую газету, и невольно создается впечатление, будто он с неким умыслом садится читать ее в

общественных местах. Или вот несколько дней назад, уже после выздоровления, он, узнав, что Гран идет на почту, попросил его перевести сто франков сестре — каждый месяц он переводил ей эту сумму. Но когда Гран уже собрался уходить, Коттар его окликнул.

— Пошлите-ка лучше двести франков, — сказал он, — то-то удивится и обрадуется. Она небось считает, что я о ней и думать забыл. Но на самом деле я к ней очень привязан.

Наконец у них с Граном произошла любопытная беседа. Коттар, которого уже давно интриговали вечерние занятия Грана, насел на него с вопросами, и тому пришлось дать ответ.

— Значит, вы пишете книгу? — сказал Коттар.

— Если угодно, да, но это, пожалуй, более сложно!

— Ох, — воскликнул Коттар, — как бы мне тоже хотелось заняться писанием!

Гран не мог скрыть своего удивления, и Коттар смущенно пробормотал, что, мол, с художника все взятки гладки.

— Но почему же? — спросил Гран.

— Просто потому, что художнику дано больше прав, чем всем прочим. Каждому это известно. Ему все с рук сходит.

— Ну что ж, — сказал Риэ Грану в то самое утро, когда он впервые прочел объявление префектуры, — эта история с крысами сбила его с толку, как, впрочем, и многих других. А может, он просто боится заразы.

— Не думаю, — отозвался Гран, — и если, доктор, вы хотите знать мое мнение…

Под окнами, оглушая выхлопами, прошла машина службы дератизации. Риэ молчал и, только когда грохот утих вдали, рассеянно спросил Грана, что же он думает о Коттаре. Гран многозначительно поглядел на доктора.

— У этого человека, — проговорил он, — что-то на совести.

Доктор пожал плечами. Правильно сказал тогда полицейский комиссар — дел без того хватает.

К вечеру у Риэ состоялся разговор с Кастелем. Сыворотка еще не прибыла.

— Да и поможет ли она? — спросил Риэ. — Бацилла необычная.

— Ну, знаете, я придерживаюсь иного мнения, — возразил Кастель. — У этих тварей почему-то всегда необычный вид. Но, в сущности, это одно и то же.

— Вернее, это ваше предположение. Ведь на самом деле мы ничего толком не знаем.

— Понятно, предположение. Но и другие тоже только предполагают.

В течение всего дня доктор ощущал легкое головокружение, оно охватывало его всякий раз при мысли о чуме. В конце концов он вынужден был признать, что ему страшно. Дважды он заходил в переполненное кафе. И он, как Коттар, нуждался в человеческом тепле. Риэ считал, что это глупо, но именно поэтому вспомнил, что обещал нынче навестить комиссионера.

Когда вечером доктор вошел к Коттару, тот стоял в столовой около стола. На столе лежал раскрытый детективный роман. Между тем уже вечерело и читать в сгущавшейся темноте было трудновато. Вернее всего, Коттар еще за минуту до того сидел у стола и размышлял в наступивших сумерках. Риэ осведомился о его самочувствии. Коттар, усаживаясь, буркнул, что ему лучше и было бы совсем хорошо, если бы им никто не занимался. Риэ заметил, что не может человек вечно находиться в одиночестве.

— Да нет, я не о том. Я о тех людях, которые занимаются только одним — как бы всем причинить побольше неприятностей.

Риэ промолчал.

— Заметьте, я не о себе говорю. Я вот тут читал

роман. Однажды утром ни с того ни с сего хватают одного бедолагу. Оказывается, им интересовались, а он и не знал. Говорили о нем во всяких бюро, заносили его имя в карточки. Что ж, по-вашему, это справедливо? Значит, по-вашему, люди имеют право проделывать такое с человеком?

— Это уж зависит от обстоятельств, — сказал Риэ. — В известном смысле вы правы, не имеют. Но это вопрос второстепенный. Нельзя вечно сидеть взаперти. Надо почаще выходить.

Коттар, явно нервничая, ответил, что он выходит каждый день и что, если понадобится, весь квартал может за него свидетельствовать. У него даже за пределами их квартала есть знакомые.

— Знаете господина Риго, архитектора? Мы с ним приятели.

В комнате постепенно сгущались сумерки. Окраинная улица оживала, и там, внизу, глухой возглас облегчения приветствовал свет вдруг вспыхнувших фонарей. Риэ вышел на балкон, и Коттар поплелся за ним. Со всех окрестных кварталов, как и ежевечерне в нашем городе, легкий ветерок гнал перед собой шорохи, запах жареного мяса, радостный и благоуханный бормот свободы, до краев переполнявший улицу, где весело шумела молодежь. Еще совсем недавно Риэ

любил этот милый час — ночную мглу, хриплые крики невидимых отсюда кораблей, гул, идущий от моря, от растекающейся по улицам толпы. Но сегодня, когда он уже знал все, его не покидало гнетущее чувство.

— Может, зажжем свет? — предложил он Коттару.

Вспыхнул электрический свет, и Коттар, ослепленно моргая, взглянул на врача.

— Скажите, доктор, если я заболею, вы возьмете меня к себе в больницу?

— Почему бы и нет…

Тут Коттар спросил, бывают ли такие случаи, чтобы человека, находящегося на излечении в клинике или в больнице, арестовывали. Риэ ответил, что такое иной раз бывает, но при этом учитывается состояние больного.

— Я вам доверяю, — сказал Коттар.

Потом он спросил, не может ли доктор довезти его до центра на своей машине…

В центре толпа на улицах была уже не такая густая, да и свету поубавилось. Но у подъездов домов еще шумела детвора. По просьбе Коттара доктор остановил машину около стайки ребятишек. Они с громкими криками играли в классы. Один из них, с безупречным пробором в гладко

прилизанных волосах, но с чумазой физиономией, вперил в Риэ упорный, смущающий взгляд своих светлых глаз. Риэ потупился. Коттар вышел из машины и, стоя на обочине тротуара, пожал доктору руку. Он заговорил хриплым, сдавленным голосом. При разговоре он то и дело оглядывался.

— Вот люди болтают об эпидемии. Это правда, доктор?

— Люди всегда болтают, оно и понятно, — отозвался доктор.

— Вы правы. Самое большее помрет десяток-другой, подумаешь, невидаль! Нет, нам не это нужно.

Мотор приглушенно взревел. Риэ держал ладонь на рукоятке переключения скоростей. А сам снова взглянул на мальчика, который по-прежнему рассматривал его степенно и важно. И вдруг, без всякого перехода, мальчик улыбнулся ему во весь рот.

— А что, по-вашему, нам нужно? — спросил доктор, улыбаясь в ответ.

Коттар вдруг ухватился за дверцу машины и, прежде чем уйти, крикнул злобным голосом, в котором дрожали слезы:

— Землетрясение, вот что! Да посильнее.

Однако назавтра никакого землетрясения не произошло, и Риэ провел весь день в бесконечных разъездах по городу, в переговорах с родными пациентов и спорах с самими пациентами. Никогда еще профессия врача не казалась Риэ столь тяжкой. До сих пор получалось так, что сами больные облегчали его задачу, полностью ему вверялись. А сейчас, впервые в своей практике, доктор наталкивался на непонятную замкнутость пациентов, словно бы забившихся в самую глубину своего недуга и глядевших на него с недоверием и удивлением. Начиналась борьба, к которой он еще не привык. И когда около десяти вечера машина остановилась перед домом старика астматика — визит к нему Риэ отложил напоследок, — он с трудом поднялся с сиденья. Он медлил, вглядываясь в темную улицу, черное небо, на котором то вспыхивали, то гасли звезды. Старик астматик ждал его, сидя на постели. Дышал он полегче и, как обычно, считал горошины, перекладывая их из одной кастрюли в другую. На доктора он взглянул даже весело:

— Значит, доктор, холера началась?

— Откуда вы взяли?

— В газете прочел, да и по радио тоже объявляли.

— Нет, это не холера.

— Опять наши умники все раздули, — возбужденно отозвался старик.

— А вы не верьте, — посоветовал доктор.

Он уже осмотрел больного и сидел теперь посреди этой жалко обставленной столовой. Да, ему было страшно. Он знал, что вот здесь, в пригороде, его будут ждать завтра утром с десяток больных, не отрывающих глаз от своих бубонов. Только в двух-трех случаях рассечение бубонов принесло положительные результаты. Но для большинства больных единственная перспектива — больница, а он, врач, знал, что такое больница в представлении бедноты. «Не желаю, чтобы они на нем опыты делали», — заявила ему жена одного больного. Никаких опытов они на нем делать не будут, он умрет, и все. Принятые меры недостаточны, это более чем очевидно. А что такое «специально оборудованные палаты», кто-кто, а Риэ знал отлично: два корпуса наспех освободят от незаразных больных, окна законопатят, вокруг поставят санитарный кордон. Если эпидемия не угаснет стихийно, ее не одолеть административными мерами такого порядка.

Однако вечерние официальные сообщения были все еще полны оптимизма. Наутро агентство

Инфдок объявило, что распоряжение префектуры было встречено населением весьма благожелательно и что уже сообщено о тридцати случаях заболевания. Кастель позвонил Риэ:

— Сколько коек в корпусах?

— Восемьдесят.

— А в городе, надо полагать, больше тридцати больных?

— Да, многие напуганы, а о других, их, верно, гораздо больше, просто еще не успели сообщить.

— А погребение не контролируется?

— Нет. Я звонил Ришару, сказал, что необходимо принять строжайшие меры, а не отыгрываться пустыми фразами и что необходимо воздвигнуть против эпидемии настоящий барьер или вообще тогда уж лучше ничего не делать.

— Ну и что?

— Он не имеет соответствующих полномочий. А по моему мнению, болезнь будет прогрессировать.

И в самом деле, уже через три дня оба корпуса были забиты больными. По сведениям Ришара, собирались закрыть школу и устроить в ней вспомогательный лазарет. Риэ ждал сыворотки и тем временем вскрывал бубоны. Кастель вытащил на свет божий все свои старые книги и часами

сидел в библиотеке.

— Крысы дохли от чумы или от какой-то другой болезни, весьма с ней схожей, — пришел он к выводу. — Они распустили блох, десятки тысяч блох, которые, если не принять вовремя мер, будут разносить заразу в геометрической прогрессии.

Риэ молчал.

В эти дни погода, по-видимому, установилась. Солнце выпило последние лужи, стоявшие после недавних ливней. Все располагало к безмятежности — и великолепная голубизна неба, откуда лился желтый свет, и гудение самолетов среди нарождающейся жары. А тем временем за последние четыре дня болезнь сделала четыре гигантских скачка: шестнадцать смертных случаев, двадцать четыре, двадцать восемь и тридцать два. На четвертый день было объявлено об открытии вспомогательного лазарета в помещении детского сада. Наши сограждане, которые раньше старались скрыть свою тревогу под веселой шуткой, ходили теперь пришибленные, как-то сразу примолкли.

Риэ решился позвонить префекту.

— Принятые меры недостаточны.

— Мне дали цифры, — сказал префект, — они и в самом деле тревожные.

— Они более чем тревожны, они не оставляют сомнения.

— Запрошу приказа у генерал-губернатора.

Риэ тут же позвонил Кастелю.

— Приказы! Тут не приказы нужны, а воображение!

— Что слышно насчет сыворотки?

— Прибудет на той неделе.

Через посредство доктора Ришара префектура попросила Риэ составить доклад, который намеревались переслать в столицу колонии, чтобы затребовать распоряжений. Риэ привел в докладе цифры, а также клиническое описание болезни. В тот же день было зарегистрировано около сорока смертных случаев. Префект на свой, как он выражался, риск решил со следующего же дня ввести более строгие меры. По-прежнему горожанам вменялось в обязанность заявлять о всех случаях заболевания, а больные в обязательном порядке подлежали изоляции. Дома, где обнаруживались больные, предписывалось очистить и продезинфицировать; люди, находившиеся в контакте с больными, обязаны были пройти карантин; похоронами займутся городские власти, согласно особым указаниям префектуры. А еще через день самолетом прибыла сыворотка. Для лече-

ния заболевших ее хватало. Но если эпидемии суждено распространиться, ее явно не хватит. На телеграфный запрос доктору Риэ ответили, что запасы сыворотки кончились и что приступили к изготовлению новой партии.

А тем временем из всех предместий на рынки пришла весна. Тысячи роз увядали в корзинах, расставленных вдоль тротуаров, и над всем городом веял леденцовый запах цветов. Внешне ничего словно бы не изменилось. По-прежнему в часы пик трамваи были набиты битком, а днем ходили пустые и грязные. Тарру по-прежнему вел наблюдение над старичком, и по-прежнему старичок плевал в кошек. Как и всегда, Гран вечерами спешил домой к своим загадочным трудам. Коттар кружил по городу, а господин Отон, следователь, дрессировал свой домашний зверинец. Старик астматик, как обычно, перекладывал свой горошек, и изредка на улицах встречали журналиста Рамбера, спокойно и с любопытством озиравшегося по сторонам. Вечерами все та же толпа высыпала на тротуары, и перед кинотеатрами выстраивались очереди. Впрочем, эпидемия, казалось, отступила, за последние дни насчитывалось только с десяток смертных случаев. Потом вдруг кривая смертности резко пошла

вверх. В тот день, когда снова было зарегистрировано тридцать смертей, Бернар Риэ перечитывал официальную депешу, лично врученную ему префектом со словами: «Перетрусили». Депеша гласила: «Официально объявить о чумной эпидемии. Город считать закрытым».

Часть вторая

Можно смело сказать, что именно с этого момента чума стала нашим общим делом. До этого каждый из наших сограждан, несмотря на тревогу и недоумение, порожденные этими из ряда вон выходящими событиями, продолжал как мог заниматься своими делами, оставаясь на своем прежнем месте. И разумеется, так оно и должно было идти дальше. Но как только ворота города захлопнулись, все жители, вдруг и все разом, обнаружили, и сам рассказчик в том числе, что угодили в одну и ту же западню и что придется как-то к ней приспосабливаться. Вообразите себе, к примеру, что даже такое глубоко личное чувство, как разлука с любимым существом, неожиданно с первых же недель стало всеобщим, всенародным чувством и наряду с чувством страха сделалось главным терзанием этой долгосрочной ссылки.

И действительно, одним из наиболее примечательных последствий объявления нашего города закрытым было это внезапное разъединение существ, отнюдь к разлуке не подготовленных.

Матери и дети, мужья и жены, любовники, которые совсем недавно полагали, что расстаются со своими близкими на короткий срок, обменивались на перроне нашего вокзала прощальными поцелуями, обычными при отъездах советами, будучи в полной уверенности, что увидятся через несколько дней или же несколько недель, погрязшие в глупейшем человеческом легковерии, не считавшие нужным из-за обычного отъезда пренебречь будничными заботами, — внезапно все они осознали, что разлучены бесповоротно, что им заказано соединиться или сообщаться. Ибо фактически город был закрыт за несколько часов до того, как опубликовали приказ префекта, и, естественно, нельзя было принимать в расчет каждый частный случай. Можно даже сказать, что первым следствием внезапного вторжения эпидемии стало то, что наши сограждане вынуждены были действовать так, словно они лишены всех личных чувств. В первые же часы, когда приказ вошел в силу, префектуру буквально осадила целая толпа просителей, и кто по телефону, кто через служащих выдвигал равно уважительные причины, но вместе с тем равно не подлежащие рассмотрению. По правде говоря, только через много дней мы отдали себе отчет в том, что в

нашем положении отпадают всяческие компромиссы и что такие слова, как «договориться», «в порядке исключения», «одолжение», уже потеряли всякий смысл.

Нам было отказано даже в таком невинном удовольствии, как переписка. С одной стороны, наш город и на самом деле уже не был связан с остальной страной обычными средствами сообщения, а с другой — еще один приказ категорически запрещал любой вид корреспонденции ввиду того, что письма могли стать разносчиками инфекции. Поначалу кое-кто из привилегированных лиц еще как-то ухитрялся сговариваться с солдатами кордона, и те брались переправить врученные им послания. Однако это имело место лишь в самом начале эпидемии, когда стража еще позволяла себе поддаваться естественному голосу жалости. Но через некоторое время, когда тем же самым стражам разъяснили всю серьезность положения, они наотрез отказывались брать на себя ответственность, так как не могли предвидеть всех последствий своего попустительства. Сначала междугородные разговоры были разрешены, но из-за перегрузки телефонных линий и толчеи в переговорных кабинках они в течение нескольких дней были полностью запрещены,

потом стали делать исключения в «особых случаях», например, сообщений о смерти, рождении, свадьбе. Нашим единственным прибежищем остался, таким образом, телеграф. Люди, связанные между собой узами духовными, сердечными и родственными, вынуждены были искать знаков выражения своей прежней близости в простой депеше, в крупных буквах лаконичного телеграфного текста. И так как любые штампы, употребляемые при составлении телеграмм, не могут не иссякнуть, все — и долгая совместная жизнь, и мучительная страсть — вскоре свелось к периодическому обмену готовыми штампами: «Все благополучно. Думаю о тебе. Целую».

Однако некоторые из нас не сдавались, упорно продолжали писать, денно и нощно изобретали всевозможные хитроумные махинации, чтобы как-то связаться с внешним миром, но их планы кончались ничем. Если даже кое-какие из задуманных нами комбинаций случайно удавались, мы все равно ничего об этом не знали, так как не получали ответа. Поэтому-то в течение многих недель мы вынуждены были вновь и вновь садиться все за одно и то же письмо, сообщать все те же сведения, все так же взывать об ответе, так что через некоторое время слова, которые

вначале писались кровью сердца, лишались всякого смысла. Мы переписывали письмо уже машинально, стараясь с помощью этих мертвых фраз подать хоть какой-то знак о нашей трудной жизни. Так что в конце концов мы предпочли этому упрямому и бесплодному монологу, этой выхолощенной беседе с глухой стеной условные символы телеграфных призывов.

Впрочем, через несколько дней, когда уже стало ясно, что никому не удастся выбраться за пределы города, кто-то предложил обратиться к властям с запросом, могут ли вернуться обратно выехавшие из Орана до начала эпидемии. После нескольких дней раздумья префектура ответила утвердительно. Но она уточнила, что вернувшиеся обратно ни в коем случае не смогут вновь покинуть город и ежели они вольны вернуться к нам, то не вольны снова уехать. И даже тогда кое-кто из наших сограждан, впрочем, таких было мало, отнесся к создавшейся ситуации чересчур легкомысленно и, откинув благоразумие ради желания повидаться с родными, предложил этим последним воспользоваться предоставившейся возможностью. Но очень скоро узники чумы поняли, какой опасности они подвергают своих близких, и подчинились необходимости страдать

в разлуке. В самый разгар этого ужасного мора мы были свидетелями лишь одного случая, когда человеческие чувства оказались сильнее страха перед мучительной смертью. И вопреки ожиданиям это были вовсе не влюбленные, те, что, забыв о самых страшных страданиях, рвутся друг к другу, одержимые любовью. А были это супруги Кастель, состоявшие в браке уже долгие годы. За несколько дней до эпидемии госпожа Кастель уехала в соседний город. Да и брак их никогда не являл миру примера образцового супружеского счастья, и рассказчик с полным правом может сказать, что каждый из них до сих пор был не слишком уверен, что счастлив в супружеской жизни. Но эта грубо навязанная, затянувшаяся разлука со всей очевидностью показала им, что они не могут жить вдали друг от друга, и в свете этой неожиданно прояснившейся истины чума выглядела сущим пустяком.

Но их случай был исключением. Для большинства разлука, очевидно, должна была кончиться только вместе с эпидемией. И для всех нас чувство, проходившее красной нитью через всю нашу жизнь и, по видимости, столь хорошо нам знакомое (мы уже говорили, что страсти у наших сограждан самые несложные), оборачивалось но-

вым своим ликом. Мужья и любовники, которые свято верили своим подругам, вдруг обнаружили, что способны на ревность. Мужчины, считавшие себя легкомысленными в любовных делах, вдруг обрели постоянство. Сын, почти не замечавший жившую с ним рядом мать, теперь с тревогой и сожалением мысленно вглядывался в каждую морщинку материнского лица, не выходившего из памяти. Эта грубая разлука, разлука без единой лазейки, без реально представимого будущего повергла нас в растерянность, лишила способности бороться с воспоминаниями о таком еще близком, но уже таком далеком видении, и воспоминания эти наполняли теперь все наши дни. В сущности, мы мучились дважды — нашей собственной мукой и затем еще той, которой в нашем воображении мучились отсутствующие — сын, жена или возлюбленная.

Впрочем, при иных обстоятельствах наши сограждане сумели бы найти какой-то выход, могли бы, скажем, вести более деятельный и открытый образ жизни. Но беда в том, что чума обрекала их на ничегонеделание и приходилось день за днем кружить по безотрадно унылому городу, предаваясь разочаровывающей игре воспоминаний. Ибо в своих бесцельных блужданиях

мы вынуждены были бродить по одним и тем же дорогам, а, так как наш городок невелик, дороги эти оказывались в большинстве случаев как раз теми самыми, по которым мы ходили в лучшие времена с теми, с отсутствующими.

Итак, первое, что принесла нашим согражданам чума, было заточение. И рассказчик считает себя вправе от имени всех описать здесь то, что испытал тогда он сам, коль скоро он испытывал это одновременно с большинством своих сограждан. Ибо именно чувством изгнанника следует назвать то состояние незаполненности, в каком мы постоянно пребывали, то отчетливо ощущаемое, безрассудное желание повернуть время вспять или, наоборот, ускорить его бег, все эти обжигающие стрелы воспоминаний. И если иной раз мы давали волю воображению и тешили себя ожиданием звонка у входной двери, возвещающего о возвращении, или знакомых шагов на лестнице, если в такие минуты мы готовы были забыть, что поезда уже не ходят, старались поскорее справиться с делами, очутиться дома в тот час, в какой обычно пассажир, прибывший с вечерним экспрессом, уже добирался до нашего квартала, — все это была игра, и она не могла длиться долго. Неизбежно наступала минута,

когда мы ясно осознавали, что поезд не придет. И тогда мы понимали, что нашей разлуке суждено длиться и длиться, что нам следует попробовать приспособиться к настоящему. И, поняв, мы окончательно убеждались, что, в сущности, мы самые обыкновенные узники и одно лишь нам оставалось — прошлое, и если кто-нибудь из нас пытался жить будущим, то такой смельчак спешил отказаться от своих попыток, в той мере, конечно, в какой это удавалось, до того мучительно ранило его воображение, неизбежно ранящее всех, кто доверяется ему.

В частности, все наши сограждане очень быстро отказались от появившейся было у них привычки подсчитывать даже на людях предполагаемые сроки разлуки. Почему? Если самые заядлые пессимисты определяли этот срок, скажем, в полгода, если они уже заранее вкусили горечь грядущих месяцев, если они ценою огромных усилий старались поднять свое мужество до уровня выпавшего на их долю испытания, крепились из последних сил, лишь бы не падать духом, лишь бы удержаться на высоте этих страданий, растянутых на многие месяцы, то иной раз встреча с приятелем, заметка в газете, мимолетное подозрение или внезапное прозрение приводили их к мысли, что

нет, в сущности, никаких оснований надеяться, что эпидемия затихнет именно через полгода — а почему бы и не через год или еще позже.

В такие минуты полный крах их мужества, воли и терпения бывал столь внезапен и резок, что казалось, никогда им не выбраться из ямы, куда они рухнули. Поэтому-то они принуждали себя ни при каких обстоятельствах не думать о сроках освобождения, не обращать свой взгляд к будущему и жить с опущенными, если так можно выразиться, глазами. Но естественно, эти благие порывы, это старание обмануть боль — спрятать шпагу в ножны, чтобы отказаться от боя, — все это вознаграждалось весьма и весьма скудно. И если им удавалось избежать окончательного краха, а они любой ценой хотели его предотвратить, они тем самым лишали себя минут, и нередких, когда картины близкого воссоединения с любимым существом заставляют забыть о чуме. И, застряв где-то на полпути между этой бездной и этими горними вершинами, они не жили, их несло волною вырвавшихся из повиновения дней и бесплодных воспоминаний — они, беспокойные, блуждающие тени, которые могли обрести плоть и кровь, лишь добровольно укоренившись в земле своих скорбей.

Таким образом, они испытывали исконную муку всех заключенных и всех изгнанников, а мука эта вот что такое — жить памятью, когда память уже ни на что не нужна. Само прошлое, о котором они думали не переставая, и то приобретало привкус сожаления. Им хотелось бы присовокупить к этому прошлому все, что, к величайшему своему огорчению, они не успели сделать, перечувствовать, когда еще могли, вместе с тою или с тем, кого они теперь ждали, и совершенно так же ко всем обстоятельствам, даже относительно благополучным, их теперешней жизни узников они постоянно примешивали отсутствующих, и то, как они жили ныне, не могло их удовлетворить. Нетерпеливо подгонявшие настоящее, враждебно косящиеся на прошлое, лишенные будущего, мы были подобны тем, кого людское правосудие или людская злоба держат за решеткой. Короче, единственным средством избежать эти непереносимо затянувшиеся каникулы было вновь пустить, одною силою воображения, поезда по рельсам и заполнить пустые часы ожиданием, когда же затренькает звонок у входной двери, впрочем, упорно молчавший.

Но если это и была ссылка, то в большинстве случаев мы были ссыльными у себя дома. И хо-

тя рассказчик знал лишь одну, общую для всех нас ссылку, он обязан не забывать таких, как, скажем, журналист Рамбер, и других, для которых, напротив, все муки нашего отъединения от остального мира усугублялись еще и тем, что они, путешественники, застигнутые врасплох чумой и не имевшие права покинуть город, находились далеко и от близких, с которыми не могли воссоединиться, и от страны, которая была их родной страной. Среди нас, ссыльных, они были вдвойне ссыльными, ибо если бег времени неизбежно вызывал у них, как, впрочем, и у всех, тоскливый страх, то они сверх того ощущали еще себя привязанными к определенному месту и беспрерывно натыкались на стены, отделявшие их зачумленный загон от утраченной ими родины. Это они, конечно, в любое время дня шатались по нашим пыльным улицам, молча взывая к лишь одним им ведомым закатам и рассветам своей отчизны. Они растравляли свою боль по любому поводу: полет ласточки, вечерняя роса на траве, причудливое пятно, оставленное на тротуаре пустынной улицы лучом, — все было в их глазах неуловимым знамением, разочаровывающей вестью оттуда. Они закрывали глаза на внешний мир, извечный целитель всех бед, и, упрямцы,

лелеяли слишком реальные свои химеры, изо всех сил цеплялись за знакомые образы — земля, где льется совсем особый свет, два-три пригорка, любимое дерево и женские лица составляли ту особую атмосферу, которую ничем не заменишь.

И наконец, если остановиться именно на влюбленных, на самой примечательной категории изгнанников, о которых рассказчик может, пожалуй, говорить с наибольшим основанием, их терзала еще и иная тоска, где важное место занимали угрызения. В теперешнем нашем положении они имели полную возможность увидеть свои чувства взглядом, равно объективным и лихорадочным. И чаще всего в этих случаях их собственные слабости выступали тогда перед ними во всей своей наготе. И в первую очередь потому, что они относили на счет собственных недостатков невозможность с предельной точностью представить себе дела и дни своих любимых. Они скорбели оттого, что не знают, чем заполнено их время, они корили себя за легкомыслие, за то, что прежде не удосуживались справиться об этом, и притворялись, будто не понимают, что для любящего знать в подробностях, что делает любимое существо, есть источник величайшей радости. И таким образом им уже было легче

вернуться к истокам своей любви и шаг за шагом обследовать все ее несовершенство. В обычное время мы все, сознавая это или нет, понимаем, что существует любовь, для которой нет пределов, тем не менее соглашаемся, и даже довольно спокойно, что наша-то любовь, в сущности, так себе, второго сорта. Но память человека требовательнее. И в силу железной логики несчастье, пришедшее к нам извне и обрушившееся на весь город, принесло нам не только незаслуженные мучения, на что еще можно было бы понегодовать. Оно принуждало нас также терзать самих себя и тем самым, не протестуя, принять боль. Это был один из способов, которым эпидемия отвлекала внимание от себя и путала все карты.

Итак, каждый из нас вынужден был жить ото дня ко дню один, лицом к лицу с этим небом. Эта абсолютная всеобщая заброшенность могла бы со временем закалить характеры, но получилось иначе, люди становились как-то суетнее. Многие из наших сограждан, к примеру, подпали под ярмо иного рабства, эти, что называется, находились в прямой зависимости от вёдра или ненастья. При виде их начинало казаться, будто они впервые и непосредственно замечают стоящую на дворе погоду. Стоило пробежать по

тротуару незамысловатому солнечному зайчику — и они уже расплывались в довольной улыбке, а в дождливые дни их лица да и мысли тоже окутывало густой пеленой. А ведь несколькими неделями раньше они умели не поддаваться этой слабости, этому дурацкому порабощению, потому что тогда они были перед лицом вселенной не одни и существо, бывшее с ними раньше, в той или иной степени заслоняло их мир от непогоды. Теперь же они, по всей видимости, оказались во власти небесных капризов, другими словами, мучились, как и все мы, и, как все мы, питали бессмысленные надежды.

И наконец, в этом обострившемся до пределов одиночестве никто из нас не мог рассчитывать на помощь соседа и вынужден был оставаться наедине со всеми своими заботами. Если случайно кто-нибудь из нас пытался довериться другому или хотя бы просто рассказать о своих чувствах, следовавший ответ, любой ответ, обычно воспринимался как оскорбление. Тут только он замечал, что он и его собеседник говорят совсем о разном. Ведь он-то вещал из самых глубин своих бесконечных дум все об одном и том же, из глубины своих мук, и образ, который он хотел открыть другому, уже давно томился на огне ожидания

и страсти. А тот, другой, напротив, мысленно рисовал себе весьма банальные эмоции, обычную расхожую боль, стандартную меланхолию. И каков бы ни был ответ — враждебный или вполне благожелательный, он обычно не попадал в цель, так что приходилось отказываться от попытки задушевных разговоров. Или, во всяком случае, те, для которых молчание становилось мукой, волей-неволей прибегали к расхожему жаргону и тоже пользовались штампованным словарем, словарем простой информации из рубрики происшествий — словом, чем-то вроде газетного репортажа, ведь никто вокруг не владел языком, идущим прямо от сердца. Поэтому-то самые доподлинные страдания стали постепенно и привычно выражаться системой стертых фраз. Только такой ценой узники чумы могли рассчитывать на сочувственный вздох привратника или надеяться завоевать интерес слушателей.

Однако, и, пожалуй, это самое существенное, как бы мучительны ни были наши страхи, каким бы до странности тяжелым камнем ни лежало в груди это пустое сердце, можно смело сказать, что изгнанники этой категории были в первый период мора как бы привилегированными. И в самом деле, когда жители были охвачены смяте-

нием, у изгнанников этого сорта все помыслы без остатка были обращены к тем, кого они ждали. Среди всеобщего отчаяния их хранил эгоизм любви, и если они вспоминали о чуме, то всегда лишь в той мере, в какой она угрожала превратить их временную разлуку в вечную. В самом пекле эпидемии они находили это спасительное отвлечение, которое можно было принять за хладнокровие. Безнадежность спасала их от паники, самое горе шло им во благо. Если, скажем, такого человека уносила болезнь, то почти всегда больной даже не имел времени опомниться. Его грубо отрывало от бесконечного внутреннего диалога, который он вел с любимой тенью, и без всякого перехода погружало в нерушимейшее молчание земли. А он и не успевал этого заметить.

Пока наши сограждане старались сжиться с этой нежданной-негаданной ссылкой, чума выставила у ворот города кордоны и сворачивала с курса суда, шедшие к Орану. С того самого дня, когда Оран был объявлен закрытым городом, ни одна машина не проникла к нам. И теперь нам стало казаться, будто автомобили бессмысленно кружат все по одним и тем же улицам. Да и порт тоже представлял собой странное зрелище, осо-

бенно если смотреть на него сверху, с бульваров. Обычное оживление, благодаря которому он по праву считался первым портом на побережье, вдруг сразу стихло. У пирса стояло лишь с пяток кораблей, задержанных в связи с карантином. Но у причалов огромные, ненужные теперь краны, перевернутые набок вагонетки, какие-то удивительно одинокие штабеля бочек или мешков — все это красноречиво свидетельствовало о том, что коммерция тоже скончалась от чумы.

Вопреки этой непривычной картине наши сограждане лишь с трудом отдавали себе отчет в том, что с ними приключилось. Конечно, существовали общие для всех чувства, скажем, разлуки или страха, но для многих на первый план властно выступали свои личные заботы. Фактически никто еще не принимал эпидемии. Большинство страдало, в сущности, от нарушения своих привычек или от ущемления своих деловых интересов. Это раздражало или злило, а раздражение и злость не те чувства, которые можно противопоставить чуме. Так, первая их реакция была — во всем винить городские власти. Ответ префекта этим критикам, к которым присоединилась и пресса («Нельзя ли рассчитывать на смягчение принимаемых мер?»), был

прямо-таки неожиданным. До сих пор ни газеты, ни агентство Инфдок не получали официальных статистических данных о ходе болезни. Теперь префект ежедневно сообщал эти данные агентству, но просил, чтобы публиковали их в виде еженедельной сводки.

Но и тут еще публика опомнилась не сразу. И впрямь, когда на третью неделю появилось сообщение о том, что эпидемия унесла триста два человека, эти цифры ничего не сказали нашему воображению. С одной стороны, может, вовсе не все они умерли от чумы. И с другой — никто в городе не знал толком, сколько человек умирает за неделю в обычное время. В городе насчитывалось двести тысяч жителей. А может, этот процент смертности вполне нормален? И хотя такие данные представляют несомненный интерес, обычно никого они не трогают. В известном смысле публике недоставало материала для сравнения. Только много позже, убедившись, что кривая смертности неуклонно ползет вверх, общественное мнение осознало истину. И на самом деле, пятая неделя эпидемии дала уже триста двадцать один смертный случай, а шестая — триста сорок пять. Вот этот скачок оказался весьма красноречивым. Однако он был еще недостаточно

резок, и наши сограждане, хоть и встревожились, все же считали, что речь идет о довольно досадном, но в конце концов преходящем эпизоде.

По-прежнему они бродили по улицам, по-прежнему часами просиживали на террасах кафе. На людях они не праздновали труса, не жаловались, а прибегали к шутке и делали вид, будто все эти неудобства, явно временного порядка, не могут лишить их хорошего настроения. Приличия были, таким образом, соблюдены. Однако к концу месяца, примерно в молитвенную неделю (речь о ней пойдет позже), более серьезные изменения произошли во внешнем облике нашего города. Сначала префект принял меры, касающиеся движения транспорта и снабжения. Снабжение было лимитировано, а продажа бензина строго ограничена. Предписывалось даже экономить электроэнергию. В Оран наземным транспортом и с воздуха поступали лишь предметы первой необходимости. Таким образом, движение транспорта уменьшалось со дня на день, пока не свелось почти к нулю, роскошные магазины закрывались один за другим, в витринах менее роскошных красовались объявления, сообщающие, что таких-то и таких-то товаров в продаже нет, между тем как у дверей выстраивались длин-

ные очереди покупателей.

В общем, Оран приобрел весьма своеобразный вид. Значительно возросло число пешеходов, даже в те часы, когда улицы обычно пустовали, множество людей, вынужденных бездействовать в связи с закрытием магазинов и контор, наводняли бульвары и кафе. Пока что они считались не безработными, а были, так сказать, в отпуску. Итак, в три часа дня под прекрасным южным небом Оран производил обманчивое впечатление города, где начался какой-то праздник, где нарочно заперли все магазины и перекрыли автомобильное движение, чтобы не мешать народной манифестации, а жители высыпали на улицы с целью принять участие во всеобщем веселье.

Понятно, кинотеатры широко пользовались этими всеобщими каникулами и делали крупные дела. Но распространение фильмов в нашем департаменте прекратилось. Через две недели кинотеатры уже вынуждены были обмениваться друг с другом программами, а вскоре на экранах шли бессменно все одни и те же фильмы. Однако сборы не падали.

Точно так же и кафе благодаря тому, что наш город вел в основном торговлю вином и располагал солидными запасами алкоголя, могли

бесперебойно удовлетворять запросы клиентов. Откровенно сказать, пили крепко. Одно кафе извещало публику, что «чем больше пьешь, тем скорее микроба убьешь», и вера в то, что спиртное предохраняет от инфекционных заболеваний — мысль, впрочем, вполне естественная, — окончательно окрепла в наших умах. После двух часов ночи пьяницы, в немалом количестве изгнанные из кафе, до рассвета толклись на улицах и делали оптимистические прогнозы.

Но все эти перемены в каком-то смысле были столь удивительны и произошли они так молниеносно, что нелегко было считать их нормальными и прочными. В результате для нас на первом плане по-прежнему стояли личные чувства.

Через два дня после того, как город был объявлен закрытым, Риэ, выйдя из лазарета, наткнулся на Коттара, который поднял на него сияющее радостью лицо. Риэ поздравил его с полным выздоровлением, если, конечно, судить по виду.

— Верно, верно, я себя прекрасно чувствую, — подтвердил Коттар. — Скажите-ка, доктор, а ведь эта сволочная чума начинает всерьез забирать, а?

Доктор признал это. А Коттар не без удоволь-

ствия заметил:

— И причин-то вроде нет, чтобы эпидемия прекратилась. Все пойдет шиворот-навыворот.

Часть пути они прошли вместе. Коттар рассказал, что владелец большого продовольственного магазина в их квартале скупал направо и налево продукты, надеясь потом перепродать их по двойной цене, когда же за ним пришли санитары и повезли его в лазарет, они обнаружили под кроватью целый склад консервов. «Ясно, помер, нет, на чуме не наживешься». Вообще у Коттара имелась в запасе целая серия рассказов об эпидемии, и правдивых, и выдуманных. Например, ходила легенда, что какой-то человек, заметив первые признаки заражения, выскочил в полубреду на улицу, бросился к проходившей мимо женщине и крепко прижал ее к себе, вопя во все горло, что у него чума.

— Чудесно! — заключил Коттар любезным тоном, не вязавшимся с его дальнейшими словами. — Скоро все мы с ума посходим, уж поверьте!

В тот же день, ближе к вечеру, Жозеф Гран наконец-то набрался решимости и пустился с Риэ в откровенности. Началось с того, что он заметил на письменном столе доктора фотографию мадам

Риэ и вопросительно взглянул на своего собеседника. Риэ ответил, что жена его находится не в городе, она лечится. «В каком-то смысле, — сказал Гран, — это скорее удача». Доктор ответил, что это, безусловно, удача и остается только надеяться, что его жена окончательно выздоровеет.

— А-а, — протянул Гран, — понимаю, понимаю.

И впервые со дня их знакомства Гран разразился многословной речью. Правда, он еще подыскивал нужные слова, но почти тут же их находил, будто уже давным-давно все это обдумал.

Женился он совсем молодым на юной небогатой девушке, их соседке. Ради этого пришлось бросить учение и поступить на работу. Ни он, ни Жанна никогда не переступали рубежа их родного квартала. Он повадился ходить к Жанне, и ее родители подсмеивались над нескладным и на редкость молчаливым ухажером. Отец Жанны был железнодорожником. В свободные часы он обычно сидел в уголку у окна и задумчиво смотрел на снующий по улицам народ, положив на колени свои огромные лапищи. Мать с утра до ночи возилась по хозяйству, Жанна ей помогала. Была она такая маленькая и тоненькая, что всякий раз, когда она переходила улицу, у Грана от страха замирало сердце. Все машины без

исключения казались ему тогда опасными мастодонтами. Как-то раз перед Рождеством Жанна в восхищении остановилась перед празднично украшенной витриной и, подняв на своего спутника глаза, прошептала: «До чего ж красиво!» Он сжал ее запястье. Так было решено пожениться.

Конец истории, по словам Грана, был весьма прост. Такой же, как у всех: женятся, еще любят немножко друг друга, работают. Работают столько, что забывают о любви. Жанна тоже вынуждена была поступить на службу, поскольку начальник не сдержал своих обещаний. Тут, чтобы понять дальнейший рассказ Грана, доктору пришлось призвать на помощь воображение. Гран от неизбывной усталости как-то сник, все реже и реже говорил с женой и не сумел поддержать ее в убеждении, что она любима. Муж, поглощенный работой, бедность, медленно закрывавшиеся пути в будущее, тяжелое молчание, нависавшее вечерами над обеденным столом, — нет в таком мире места для страсти. Очевидно, Жанна страдала. Однако она не уходила. Так бывает нередко — человек мучается, мучается и сам того не знает. Шли годы. Потом она уехала. Не одна, разумеется. «Я очень тебя любила, но я слишком устала… Я не так уж счастлива, что

уезжаю, но ведь для того, чтобы заново начать жизнь, не обязательно быть счастливой». Вот примерно, что она написала.

Жозеф Гран тоже немало страдал. И он бы мог начать новую жизнь, как справедливо заметил доктор. Только он уже не верит в такие вещи.

Просто-напросто он все время думает о ней. Больше всего ему хотелось бы написать Жанне письмо, чтобы как-то оправдать себя в ее глазах. «Только трудно очень, — добавил он. — Я уже давным-давно об этом думаю. Пока мы друг друга любили, мы обходились без слов и так все понимали. Но ведь любовь проходит. Мне следовало бы тогда найти нужные слова, чтобы ее удержать, а я не нашел». Гран вытащил из кармана похожий на салфетку носовой платок в клеточку и шумно высморкался, потом обтер усы. Риэ молча смотрел на него.

— Простите меня, доктор, — сказал старик, — но как бы получше выразиться... Я чувствую к вам доверие. Вот с вами я могу говорить. Ну и, конечно, волнуюсь.

Было ясно, что мыслями Гран за тысячу верст от чумы.

Вечером Риэ послал жене телеграмму и сообщил, что город объявлен закрытым, что он

здоров, что пусть она и впредь получше следит за собой и что он все время о ней думает.

Через три недели после закрытия города Риэ, выходя из лазарета, наткнулся на поджидавшего его молодого человека.

— Надеюсь, вы меня узнаете, — сказал тот.

И Риэ почудилось, будто он где-то его видел, но не мог вспомнить где.

— Я приходил к вам еще до всех этих событий, — проговорил незнакомец, — просил у вас дать мне сведения относительно условий жизни арабов. Меня зовут Раймон Рамбер.

— Ах да, — вспомнил Риэ. — Ну что ж, теперь у вас богатый материал для репортажа.

Рамбер явно нервничал. И ответил, что речь идет не о репортаже и что пришел он к доктору просить содействия.

— Я должен перед вами извиниться, — добавил он, — но я никого в городе не знаю, а корреспондент нашей газеты, к несчастью, форменный болван.

Риэ предложил Рамберу дойти с ним вместе до центра, доктору надо было заглянуть по делам в диспансер. Они зашагали по узким улочкам негритянского квартала. Спускался вечер, но город, когда-то шумный в этот час, казался теперь

удивительно пустынным. Только звуки труб, взлетавшие к позлащенному закатом небу, свидетельствовали о том, что военные еще выполняют свои обязанности, вернее, делают вид, что выполняют. Пока они шли по крутым улицам между двух рядов ярко-синих, желтых и фиолетовых домов в мавританском стиле, Рамбер все говорил, и говорил очень возбужденно. В Париже у него осталась жена. По правде сказать, не совсем жена, но это не важно. Когда город объявили закрытым, он ей телеграфировал. Сначала он думал, что все это не затянется надолго, и стал искать способ наладить с ней регулярную переписку. Его коллеги, оранские журналисты, прямо так и сказали, что ничего сделать не могут, на почте его просто прогнали, секретарша в префектуре нагло расхохоталась ему в лицо. В конце концов, простояв на телеграфе два часа в длиннейшей очереди, он послал депешу следующего содержания: «Все благополучно. До скорого».

Но на другое утро, поднявшись с постели, он вдруг подумал, что в конце концов никто не знает, как долго все это продлится. Поэтому он решил уехать. Так как у него было рекомендательное письмо, он сумел пройти к начальнику канцелярии префектуры (журналисты все-таки

пользуются кое-какими поблажками). Рамбер лично явился к нему и сказал, что никакого отношения к Орану не имеет, что нечего ему здесь торчать зря, что очутился он здесь чисто случайно и будет справедливо, если ему разрешат уехать, пусть даже придется пройти полагающийся карантин. Начальник канцелярии ответил, что прекрасно его понимает, но ни для кого исключения сделать не может, что он посмотрит, но в общем-то положение достаточно серьезное и что он сам ничего не решает.

— Но ведь я в вашем городе чужой, — добавил Рамбер.

— Совершенно верно, но все же будем надеяться, что эпидемия не затянется.

Желая подбодрить Рамбера, доктор заметил, что в Оране сейчас уйма материала для интереснейшего репортажа и что, по здравому рассуждению, нет ни одного даже самого прискорбного события, в котором не было бы своих хороших сторон. Рамбер пожал плечами. Они уже подходили к центру города.

— Но поймите меня, доктор, это же глупо. Я родился на свет не для того, чтобы писать репортажи… А может, я родился на свет, чтобы любить женщину. Разве это не в порядке вещей?

Риэ ответил, что такая мысль, по-видимому, вполне разумна.

На центральных бульварах не было обычной толпы. Им попалось только несколько пешеходов, торопившихся к себе домой на окраину города. Ни одного улыбающегося лица. Риэ подумалось, что, очевидно, таков результат сводки, опубликованной как раз сегодня агентством Инфдок. Через сутки наши сограждане снова начнут питать надежду. Но сегодняшние цифры, опубликованные днем, были еще слишком свежи в памяти.

— Дело в том, — без перехода сказал Рамбер, — дело в том, что мы с ней встретились совсем недавно и, представьте, прекрасно ладим.

Риэ промолчал.

— Впрочем, я вам, очевидно, надоел, — продолжал Рамбер. — Я хотел вас только вот о чем попросить: не могли бы вы выдать мне удостоверение, где бы официально подтверждалось, что у меня нет этой чертовой чумы. Думаю, такая бумажка пригодилась бы.

Риэ молча кивнул и как раз успел подхватить мальчугана, с размаху ткнувшегося головой в его колени, и осторожно поставил его на землю. Они снова тронулись в путь и очутились на Ору-

жейной площади. Понурые, словно застывшие, фикусы и пальмы окружали серым пыльным кольцом статую Республики, тоже пыльную и грязную. Они остановились у постамента. Риэ постучал о землю ногой, сначала правой, потом левой, надеясь стряхнуть беловатый налет. Украдкой он взглянул на Рамбера. Тот стоял, сбив на затылок фетровую шляпу, небритый, обиженно надув губы, даже пуговку на воротничке — ту, что под галстуком, — не удосужился застегнуть, а в глазах застыло упрямое выражение.

— Поверьте, я вас отлично понимаю, — наконец проговорил Риэ, — но в ваших рассуждениях вы исходите из неправильных посылок. Я не могу выдать вам справку, потому что и в самом деле не знаю, больны вы этой болезнью или нет, и, даже если вы здоровы, я не могу поручиться, что как раз в ту долю минуты, когда вы выберетесь из моего кабинета и войдете в префектуру, вы не подхватите инфекцию. А впрочем, даже если...

— Что даже если? — переспросил Рамбер.

— Даже если бы я дал такую справку, она все равно вам бы не пригодилась.

— Почему это?

— Потому что в нашем городе есть тысячи людей, находящихся в таком же положении, как

и вы, и, однако, мы не имеем права их отсюда выпускать.

— Но ведь они-то чумой не больны!

— Это недостаточно уважительная причина. Согласен, положение дурацкое, но мы все попали в ловушку. И приходится с этим считаться.

— Но ведь я не здешний.

— С известного момента, увы, вы тоже станете здешним.

Рамбер разгорячился:

— Но клянусь честью, это же вопрос человечности! Возможно, вы не отдаете себе отчет в том, что означает такая разлука для двух людей, которые прекрасно ладят друг с другом.

Риэ ответил не сразу. Потом сказал, что, очевидно, все-таки отдает. Больше того, всеми силами души он желает, чтобы Рамбер воссоединился со своей женой, чтобы вообще все любящие поскорее были вместе, но существуют, к сожалению, вполне определенные распоряжения и законы, а главное, существует чума; его же личная роль сводится к тому, чтобы делать свое дело.

— Нет, — с горечью возразил Рамбер, — вам этого не понять. Вашими устами вещает разум, вы живете в мире абстракций.

Доктор вскинул глаза на статую Республики и

ответил, что вряд ли его устами вещает разум, в этом он не уверен, скорее уж голая очевидность, а это не всегда одно и то же. Журналист поправил галстук.

— Иными словами, придется изворачиваться как-нибудь иначе, так я вас понял? Все равно, — с вызовом заключил он, — я из города уеду.

Доктор сказал, что он опять-таки понимает Рамбера, но такие вещи его не касаются.

— Нет, касаются, — внезапно взорвался Рамбер, — я потому и обратился к вам, что, по слухам, именно вы настаивали на принятии драконовских мер. Ну я и подумал, что хотя бы в виде исключения, хотя бы только раз вы могли бы отменить подсказанные вами же решения. Но, видно, вам ни до чего нет дела. Вы ни о ком не подумали. Отмахнулись от тех, кто в разлуке.

Риэ согласился, в каком-то смысле Рамбер прав, он действительно отмахнулся.

— Знаю, знаю, — воскликнул Рамбер, — сейчас вы заговорите об общественной пользе! Но ведь общественное благо как раз и есть счастье каждого отдельного человека.

— Ну, знаете, — отозвался доктор не так рассеянно, как прежде, — счастье счастьем, но существует и нечто другое. Никогда не следует

судить с налета. И зря вы сердитесь. Если вам удастся выпутаться из этой истории, я буду от души рад. Просто существуют вещи, которые мне запрещено делать по характеру моей работы.

Журналист нетерпеливо мотнул головой:

— Вы правы, зря я сержусь. Да еще отнял у вас уйму времени.

Риэ попросил Рамбера держать его в курсе своих дел и не таить против него зла. Очевидно, у Рамбера имеется план действий, и, пожалуй, в каком-то смысле они могут сойтись. Рамбер растерянно взглянул на врача.

— Я тоже в это верю, — сказал он, помолчав, — верю вопреки самому себе, вопреки тому, что вы здесь мне наговорили. — Он запнулся. — Но все равно я не могу одобрить ваши действия.

Он нахлобучил шляпу на лоб и быстро пошел прочь. Риэ проследил за ним взглядом и увидел, что журналист вошел в подъезд отеля, где жил Жан Тарру.

Доктор задумчиво покачал головой. Журналист был прав в своем нетерпеливом стремлении к счастью. Но вот когда он обвинял его, Риэ, был ли он и тогда прав? «Вы живете в мире абстракций». Уж не были ли миром абстракций дни, проведенные в лазарете, где чума с удвоенной алчностью

заглатывала свои жертвы, унося за неделю в среднем по пятьсот человек? Да, несомненно, в бедствии была своя доля абстракции, было в нем и что-то нереальное. Но когда абстракция норовит вас убить, приходится заняться этой абстракцией. И Риэ знал только одно — не так-то это легко. Не так-то легко, к примеру, руководить подсобным лазаретом (теперь их насчитывалось уже три), ответственность за который возложили на него. В комнатке, примыкавшей к врачебному кабинету, устроили приемный покой. В полу сделали углубление, где стояло целое озерцо крезола, а посередине выложили из кирпичей нечто вроде островка. Больного укладывали сначала на этот островок, затем быстро раздевали донага, и одежда падала в раствор крезола. И только потом, когда больного обмывали с ног до головы, насухо вытирали и одевали в шершавую больничную рубаху, он переходил в руки Риэ, а после его направляли в одну из палат. Пришлось использовать внутренние школьные крытые дворики, так как в лазарете число коек доходило уже до пятисот и почти все они были заняты. После утреннего обхода, который проводил сам Риэ, когда всем больным вводили вакцину, вскрывали бубоны, доктор еще просматривал бумаги,

содержащие статистические данные, а после обеда снова начинался обход. Наконец, вечерами он ездил с визитами к своим пациентам и возвращался домой только поздно ночью… Как раз накануне мать, вручая Риэ телеграмму от жены, заметила, что руки у него трясутся.

— Да, — согласился он, — трясутся. Но это нервное, я за собой послежу.

Натура у него была могучая, стойкая. Он и на самом деле пока еще не успел устать. Но ездить по визитам ему было невмоготу. Ставить диагноз «заразная лихорадка» означало немедленную изоляцию больного. Вот тут-то и впрямь начинались трудности, тут начинался мир абстракций, так как семья больного отлично знала, что увидит его или выздоровевшим, или в гробу. «Пожалейте нас, доктор», — твердила мадам Лоре, мать горничной, работавшей в том отеле, где жил Тарру. Но что значит жалеть? Ясно, он жалел. Но это ничего не меняло. Приходилось звонить. Через несколько минут раздавалась сирена машины «скорой помощи». Вначале соседи распахивали окна и выглядывали на улицу. А со временем, наоборот, стали спешно закрывать все ставни. И вот тогда-то, в сущности, и начинались борьба, слезы, уговоры, в общем, абстракция. В комнатах,

где, казалось, сам воздух пылал от лихорадки и страха, разыгрывались сцены, граничившие с безумием. Но больного все равно увозили. Риэ мог отправляться домой.

В первые дни эпидемии он ограничивался звонком по телефону и спешил к следующему больному, не дожидаясь кареты «скорой помощи». Но после его ухода родные наглухо запирали двери, они предпочитали оставаться лицом к лицу с заразой, лишь бы не выпускать из дому больного, так как знали, чем все это кончается. Крики, приказания, вмешательство полиции, а потом и военных — словом, больного брали приступом. В первые недели приходилось сидеть и ждать, пока не приедет «скорая». А потом, когда с врачом стал приезжать санитарный инспектор, которых вербовали из добровольцев, Риэ мог сразу бежать от одного больного к другому. Но тогда, в самом начале, все вечера, проведенные у больного в ожидании «скорой», походили на тот вечер, когда он явился к мадам Лоре в ее квартирку, щедро украшенную бумажными веерами и букетиками искусственных цветов, и мать, встретив его на пороге, проговорила с вымученной улыбкой:

— Надеюсь, у нее не та лихорадка, о которой

все говорят?

А он, подняв простыни и подол ночной рубашки, молча смотрел на багровые пятна, покрывавшие живот и пах, на набрякшие железы. Мать тоже взглянула на обнаженный пах дочери и, не сдержавшись, крикнула во весь голос. Каждый вечер точно так же вопили матери, бессмысленно уставившись на обнаженный живот своего ребенка, уже отмеченный багровыми пятнами смерти; каждый вечер чьи-нибудь руки судорожно цеплялись за руки Риэ, слезы сменялись бесплодными мольбами и клятвами, каждый вечер на сирену «скорой помощи» отвечали истерические рыдания, столь же бесполезные, как сама боль. И к концу этой бесконечной череды вечеров, неотличимо похожих друг на друга, Риэ понял, что его ждет все та же череда одинаковых сцен, повторявшихся вновь и вновь, и ни на что другое уже не надеялся. Да, чума как абстракция оказалась более чем монотонной. Изменилось, пожалуй, лишь одно — сам Риэ. Он осознал это у статуи Республики, в тот вечер, когда глядел на двери отеля, поглотившие Рамбера, только одно ощутил он: его постепенно захватывает свинцовое безразличие.

К концу этих изнуряющих недель, когда все в

тех же сумерках весь город выплескивался наружу и бессмысленно кружил по улицам, Риэ вдруг отдал себе отчет, что ему не требуется больше защищаться от жалости. Очень уж утомительна жалость, когда жалость бесполезна… И, поняв, как постепенно замыкается в самом себе его сердце, доктор впервые ощутил облегчение, единственное за эти навалившиеся на него, как бремя, недели. Он знал, что отныне его задача станет легче. Вот почему он и радовался. Когда мать доктора, встречая его в два часа ночи и ловя его пустой взгляд, огорчалась, она как раз и сожалела о том, что сын ее лишается единственного отпущенного ему утешения. Чтобы бороться с абстракцией, надо хоть отчасти быть ей сродни. Но как мог это почувствовать Рамбер? Абстракция в глазах Рамбера — это все то, что препятствует его счастью. И, положа руку на сердце, Риэ признавал, что в известном смысле журналист прав. Но он знал также, что бывают случаи, когда абстракция сильнее человеческого счастья, и тогда нужно отдавать себе в этом отчет. Только тогда. Вероятно, это и произошло с Рамбером, и доктор понял это много позднее из отдельных признаний журналиста. Он мог, таким образом, следить с новой позиции за мрачной битвой

между счастьем каждого отдельного человека и абстракциями чумы, — битвой, которая составляла весь смысл жизни нашего города в течение долгого времени.

Но там, где одни видели абстракцию, другие видели истину. Конец первого месяца чумы был и впрямь омрачен новым явным ростом эпидемии и пылкой проповедью отца Панлю, иезуита, того, который помог добраться до дому заболевшему старику Мишелю. Отец Панлю был уже достаточно известен благодаря постоянному сотрудничеству в «Оранском географическом бюллетене», где он завоевал немалый авторитет трудами по расшифровке древних надписей. Но еще более широкую аудиторию он приобрел не как специалист-ученый, а как лектор, прочитавший серию докладов о современном индивидуализме. В своих лекциях он выступал в качестве пламенного поборника непримиримого христианства, равно далекого и от новейшего попустительства, и от обскурантизма минувших веков. По этому случаю он не скупился высказывать аудитории самые жесткие истины. Отсюда-то и пошла его репутация.

К концу первого месяца церковные власти города решили бороться против чумы собствен-

ными методами, объявив наступающую неделю неделей общих молений. Эти публичные манифестации благочестия должны были завершиться в воскресенье торжественной мессой в честь святого Роха, заступника зачумленных, ибо его также поразила чума. По этому случаю обратились к отцу Панлю с просьбой прочитать проповедь. На целые две недели этот последний оторвался от своих трудов, посвященных святому Августину и африканской церкви, снискавших ему почетное место в их иезуитском ордене. Будучи натурой пламенной и страстной, он сразу согласился принять возложенную на него миссию. Еще задолго до того, как проповедь была произнесена, о ней много говорили в городе, и в известном смысле она тоже стала значительной вехой в истории этого периода.

Неделя молений собрала много народу. И вовсе не потому, что в обычное время наши оранцы отличались особой религиозностью. Воскресными утрами, например, морские пляжи являлись серьезными конкурентами церковным службам. И вовсе не потому, что наши сограждане во внезапном озарении обратились к Богу. Но раз город был объявлен закрытым и вход в порт воспрещен, морские купания, естественно, отпадали — это с

одной стороны, а с другой — оранцы находились в несколько необычном умонастроении, они не принимали душой свалившиеся на них неожиданные события, и все же они смутно ощущали, что многое изменилось. Правда, кое-кто все еще надеялся, что эпидемия пойдет на спад и пощадит их самих и их близких. А следовательно, они пока еще считали, что никому ничем не обязаны. Чума в их глазах была не более чем непрошеной гостьей, которая как пришла, так и уйдет прочь. Они были напуганы, но не отчаялись, поскольку еще не наступил момент, когда чума предстанет перед ними как форма их собственного существования и когда они забудут ту жизнь, что вели до эпидемии. Короче, они находились в ожидании. Чума довольно-таки причудливым образом изменила их обычные взгляды на религию, как, впрочем, и на множество иных проблем, и это новое умонастроение было равно далеко и от безразличия, и от страстей и лучше всего определялось словом «объективность». Большинство участвовавших в неделе молений могли бы с полным основанием подписаться под словами, сказанными одним из верующих доктору Риэ: «Во всяком случае, вреда от этого не будет». Сам Тарру записал в своем дневнике, что китайцы в

аналогичных случаях бьют в барабаны, надеясь умилостивить духа чумы, и заметил, что абсолютно невозможно доказать, действительно ли барабан эффективнее профилактических мер. Он добавлял, что разрешить этот вопрос можно было бы, лишь располагая данными о существовании духа чумы, и что наше невежество в этой области сводит на нет все имеющиеся на сей счет мнения.

Так или иначе, наш кафедральный собор в течение недели почти всегда был заполнен молящимися. В первые дни многие из наших сограждан предпочитали толпиться у ворот собора под сенью пальм и гранатовых деревьев, куда волнами докатывались церковные песнопения и молитвы — отголоски их слышны были даже на улице. Но чужой пример заразителен, и мало-помалу те же самые слушатели входили, набравшись смелости, в собор и присоединяли свой робкий голос к общему хору голосов. А в воскресенье огромная толпа затопила весь неф, заняла всю паперть, даже на ступеньках лестницы стояли люди. Накануне, в субботу, небо начало хмуриться, разразился ливень. Не попавшие в храм открыли зонтики. Когда на кафедру поднялся отец Панлю, в храме реял аромат ладана и

запах волглого шелка.

Отец Панлю был невысок ростом, но коренаст. Когда он ухватился крупными руками за край кафедры, молящимся было видно лишь что-то черное и широкое, а выше два красных пятна его щек, а еще над ними — очки в металлической оправе. Голос у него был сильный, страстный, разносившийся далеко; и когда святой отец обрушил на собравшихся свою первую фразу, пылкую и чеканную: «Братья мои, вас постигла беда, и вы ее заслужили, братья», по храму прошло движение, докатившееся до паперти.

Последующие фразы логически не особенно-то вязались с пафосом этой посылки. Только к середине речи наши сограждане уразумели, что преподобный отец ловким ораторским приемом вложил в первую фразу основной тезис своей проповеди, словно плетью ударил. Сразу же вслед за посылкой отец Панлю и впрямь привел стих из Исхода о египетской чуме и добавил: «Вот когда впервые в истории появился бич сей, дабы сразить врагов Божьих. Фараон противился замыслам Предвечного, и чума вынудила его преклонить колена. С самого начала истории человечества бич Божий смирял жестоковыйных и слепцов. Поразмыслите над этим хорошенько

и преклоните колена».

Дождь снова припустил, и последняя фраза проповеди, произнесенная среди всеобщего молчания, подчеркнутого нудным стуком капель по витражам, прозвучала с такой силой, что кое-кто из молящихся после секундного колебания соскользнул со стула и преклонил колена на скамеечке. Остальные решили, что нужно последовать этому примеру, и мало-помалу в полном безмолвии, нарушаемом лишь скрипом стульев, вся аудитория опустилась на колени. Тут отец Панлю выпрямил свой стан, судорожно перевел дыхание и заговорил, выделяя голосом каждое слово: «Ежели чума ныне коснулась вас, значит, пришло время задуматься. Праведным нечего бояться, но нечестивые справедливо трепещут от страха. В необозримой житнице вселенной неумолимый бич будет до той поры молотить зерно человеческое, пока не отделит его от плевел. И мы увидим больше плевел, чем зерна, больше званых, чем избранных, и не Бог возжелал этого зла. Долго, слишком долго мы мирились со злом, долго, слишком долго уповали на милосердие Божье. Достаточно было покаяться во грехах своих, и все становилось нам дозволенным. И каждый смело каялся в прегрешениях своих. Но настанет час

— и спросится с него. А пока легче всего жить как живется, с помощью милосердия Божьего, мол, все уладится. Так вот, дальше так продолжаться не могло. Господь Бог, так долго склонявший над жителями города свой милосердный лик, отвратил ныне от него взгляд свой, обманутый в извечных своих чаяниях, устав от бесплодных ожиданий. И, лишившись света Господня, мы очутились, и надолго, во мраке чумы!»

Кто-то из слушателей издал странный звук, похожий на лошадиное фырканье. Помолчав немного, преподобный отец снова заговорил, но тоном ниже: «В «Золотой легенде» мы читали, что во времена короля Умберто Ломбардского Италия была опустошена чумой столь свирепой, что живые не успевали хоронить мертвецов своих, особенно же чума свирепствовала в Риме и Павии. И на глазах у всех явился добрый ангел и повелел злому ангелу, державшему в деснице охотничье копье, разить домы; и каждый раз, когда копье вонзалось в дом, любой, кто выходил из него, падал мертвым».

Здесь отец Панлю простер свои коротенькие руки к паперти, словно там, за трепетной завесой дождя, притаилось что-то. «Братья мои! — возгласил он с силой. — Эта смертоносная охота идет

ныне на наших улицах. Смотрите, смотрите, вот он, ангел чумы, прекрасный, как Люцифер, и сверкающий, как само зло, вот он, грозно встающий над вашими кровлями, вот заносит десницу с окровавленным копьем над главою своею, а левой рукой указует на домы ваши. Быть может, как раз сейчас он простер перст к вашей двери, и копье с треском вонзается в дерево, и еще через миг чума входит к вам, усаживается в комнате вашей и ждет вашего возвращения. Она там, терпеливая и зоркая, неотвратимая, как сам порядок мироздания. И руку, что она протянет к вам, ни одна сила земная, ни даже — запомните это хорошенько! — суетные человеческие знания не отведут от вас. И поверженные на обагренное кровью гумно страданий, вы будете отброшены вместе с плевелами».

Здесь преподобный отец, не жалея красок, нарисовал ужаснувшую всех картину бича Божьего. По его словам, огромное деревянное копье кружит над городом, бьет вслепую и вновь, окровавленное, вздымается вверх, разбрызгивая кровь и болезни людские, «и из такого посева взрастет урожай истины».

Закончив этот длинный период, отец Панлю замолк, волосы упали ему на лоб, все тело со-

трясалось, и дрожь сообщилась даже кафедре, в которую он вцепился обеими руками; потом он заговорил глуше, но все тем же обличительным тоном: «Да, пришел час размышлений. Вы полагали, что достаточно один раз в неделю, в воскресенье, зайти в храм Божий, дабы в остальные шесть дней у вас были развязаны руки. Вы полагали, что, преклонив десяток раз колена, вы искупите вашу преступную беспечность. Но Бог, он не тепел. Эти редкие обращения к небу не могут удовлетворить его ненасытную любовь. Ему хочется видеть вас постоянно, таково выражение его любви к вам, и, по правде говоря, единственное ее выражение. Вот почему, уставши ждать ваших посещений, он дозволил бичу обрушиться на вас, как обрушивался он на все погрязшие во грехах города с тех пор, как ведет свою историю род человеческий. Теперь вы знаете, что такое грех, как знали это Каин и его сыновья, как знали это до потопа, как знали жители Содома и Гоморры, как знали фараон и Иов, как знали все, кого проклял Бог. И, подобно всем им, вы с того самого дня, как город замкнул в свое кольцо и вас, и бич Божий, вы иным оком видите все живое и сущее. Вы знаете теперь, что пора подумать о главном».

Влажный ветер ворвался под своды собора и

пригнул потрескивавшие огоньки свечей. Вязкий запах воска, смешанный с дыханием кашлявших, чихавших людей, подступил к кафедре, и отец Панлю, вновь вернувшись к своей посылке, с ловкостью, высоко оцененной слушающими, заговорил спокойным голосом: «Знаю, многие из вас спрашивают себя, к чему я, в сущности, веду. Я хочу привести вас к истине и научить вас радоваться вопреки всему, что я здесь сказал. Ныне уже не те времена, когда человека ведут к добру благие советы и рука брата. Ныне указует истина. И путь к спасению указует вам также багровое копье, и оно же подталкивает вас к Богу. Вот в этом-то, братья мои, проявляет себя небесное милосердие, вложившее во все сущее и добро, и зло, и гнев, и жалость, и чуму и спасение. Тот самый бич, что жестоко разит вас, возносит каждого и указует ему путь… Еще в давние времена абиссинцы христианского вероисповедания видели в чуме вернейшее средство войти в Царство Небесное и приписывали ей Божественное происхождение. Тот, кого пощадил недуг, укутывался в полотнища, которыми укрывали зачумленных, дабы наверняка умереть той же смертью. Разумеется, столь яростное стремление к спасению души мы рекомендовать не можем. Тут проявляет

себя прискорбное поспешательство, граничащее с гордыней. Не следует опережать Господа своего и тщиться ускорить ход незыблемого порядка, установленного Творцом раз и навсегда. Это прямым путем ведет к ереси. Но так или иначе, пример сей поучителен. Самым проницательным умам он показывает лучезарный свет вечности в недрах любого страдания. Он, этот свет, озаряет сумеречные дороги, ведущие к освобождению… Он, этот свет, есть проявление Божественной воли, которая без устали претворяет зло в добро. Даже ныне он, этот свет, ведет нас путем смерти, страха и кликов ужаса к последнему безмолвию и к высшему принципу всей нашей жизни. Вот, братья, то несказанное утешение, которое мне хотелось бы вам дать, и пусть то, что вы слышали здесь, будет не просто карающими словесами, но несущим умиротворение глаголом».

По всему чувствовалось, что проповедь отца Панлю подходит к концу. Дождь прекратился. С неба сквозь влажную дымку лился на площадь новорожденный свет. С улицы долетал гул голосов, шуршание автомобильных шин — обычный язык пробуждающегося города. Стараясь не производить шума, слушатели потихоньку стали собираться, в храме началась тихая возня. Однако

преподобный отец снова заговорил, он заявил, что, доказав Божественное происхождение чумы и карающую миссию бича Божьего, он больше не вернется к этой теме и, заканчивая свое слово, поостережется прибегать к красотам красноречия, что было бы неуместно, коль скоро речь идет о событиях столь трагических. По его мнению, всем и так все должно быть ясно. Он хочет лишь напомнить слушателям, что летописец Матье Марэ, описывая великую чуму, обрушившуюся на Марсель, жаловался, что живет он в аду, без помощи и надежды. Ну что ж, Матье Марэ был жалкий слепец! Наоборот, отец Панлю решится утверждать, что именно сейчас каждому человеку дана Божественная подмога и извечная надежда христианина. Он надеется вопреки всем надеждам, вопреки ужасу этих дней и крикам умирающих, он надеется, что сограждане наши обратят к Небесам то единственное слово, слово христианина, которое и есть сама любовь. А Господь довершит остальное.

Трудно сказать, произвела ли эта проповедь впечатление на наших сограждан. Например, мсье Отон, следователь, заявил доктору Риэ, что, на его взгляд, основной тезис отца Панлю «абсолютно неопровержим». Однако не все оранцы

придерживались столь категорического мнения. Проще говоря, после проповеди они острее почувствовали то, что до сего дня виделось им как-то смутно, — что они осуждены за неведомое преступление на заточение, которое и представить себе невозможно. И если одни продолжали свое скромное существование, старались приспособиться к заключению, то другие, напротив, думали лишь о том, как бы вырваться из этой тюрьмы.

Поначалу люди безропотно примирились с тем, что отрезаны от внешнего мира, как примирились бы они с любой временной неприятностью, угрожавшей лишь кое-каким их привычкам. Но когда они вдруг осознали, что попали в темницу, когда над головой, как крышка, круглилось летнее небо, коробившееся от зноя, они стали смутно догадываться, что заключение угрожает всей их жизни, и вечерами, когда спускавшаяся прохлада подстегивала их энергию, они совершали порой самые безрассудные поступки.

Сначала — трудно сказать, было ли то простым совпадением, но только после этого вышеупомянутого воскресенья в нашем городе поселился страх; и по глубине его, и по охвату стало ясно, что наши сограждане действительно начали

отдавать себе отчет в своем положении. Так что с известной точки зрения атмосфера в нашем городе чуть изменилась. Но вот в чем вопрос — произошли ли эти изменения в атмосфере самого города или в человеческих сердцах?

Через несколько дней после воскресной проповеди доктор Риэ вместе с Граном отправились на окраину города, обсуждая достославное событие, как вдруг путь им преградил какой-то человек: он неуклюже топтался перед ними, но почему-то не двигался с места. Как раз в эту минуту вспыхнули уличные фонари, теперь их зажигали все позже и позже. Свет фонаря, подвешенного к высокой мачте, стоявшей у них за спиной, вдруг осветил этого человека, и они увидели, что незнакомец беззвучно хохочет, плотно зажмурив глаза. По его бледному, искаженному ухмылкой безмолвного веселья лицу крупными каплями катился пот. Они прошли мимо.

— Сумасшедший, — проговорил Гран.

Риэ, взявший своего спутника под руку, чтобы поскорее увести его подальше от этого зрелища, почувствовал, как тело Грана бьет нервическая дрожь.

— Скоро у нас в городе все будут сумасшедшие, — заметил Риэ.

Горло у него пересохло, очевидно, сказывалась многодневная усталость.

— Зайдем выпьем чего-нибудь.

В тесном кафе, куда они зашли, освещенном единственной лампой, горящей над стойкой и разливавшей густо-багровый свет, посетители почему-то говорили вполголоса, хотя, казалось бы, для этого не было никаких причин. Гран, к великому изумлению доктора, заказал себе стакан рому, выпил одним духом и заявил, что это здорово крепко. Потом направился к выходу. Когда они очутились на улице, Риэ почудилось, будто ночной мрак густо пронизан стенаниями. Глухой свист, шедший с черного неба и вьющийся где-то над фонарями, невольно напомнил ему невидимый бич Божий, неутомимо рассекавший теплый воздух.

— Какое счастье, какое счастье, — твердил Гран.

Риэ старался понять, что, собственно, он имеет в виду.

— Какое счастье, — сказал Гран, — что у меня есть моя работа.

— Да, — подтвердил Риэ, — это действительно огромное преимущество.

И, желая заглушить этот посвист, он спросил

Грана, доволен ли тот своей работой.

— Да как вам сказать, думается, я на верном пути.

— А долго вам еще трудиться?

Гран воодушевился, голос его зазвучал громче, словно согретый парами алкоголя.

— Не знаю, но вопрос в другом, доктор, да-да, совсем в другом.

Даже в темноте Риэ догадался, что его собеседник размахивает руками. Казалось, он готовит про себя речь, и она и впрямь вдруг вырвалась наружу и полилась без запинок:

— Видите ли, доктор, чего я хочу — я хочу, чтобы в тот день, когда моя рукопись попадет в руки издателя, издатель, прочитав ее, поднялся бы с места и сказал своим сотрудникам: «Господа, шапки долой!»

Это неожиданное заявление удивило Риэ. Ему почудилось даже, будто Гран поднес руку к голове жестом человека, снимающего шляпу, а потом выкинул руку вперед. Там наверху, в небе, с новой силой зазвенел странный свист.

— Да, — проговорил Гран, — я обязан добиться совершенства.

При всей своей неискушенности в литературных делах Риэ, однако, подумал, что, очевидно,

все происходит не так просто и что, к примеру, вряд ли издательские работники сидят в своих кабинетах в шляпах. Но кто его знает — и Риэ предпочел промолчать. Вопреки воле он прислушивался к таинственному рокоту чумы. Они подошли к кварталу, где жил Гран, и, так как дорога слегка поднималась вверх, на них повеяло свежим ветерком, унесшим одновременно все шумы города. Гран все продолжал говорить, но Риэ улавливал только половину его слов. Он понял лишь, что произведение, о котором идет речь, уже насчитывает сотни страниц и что самое мучительное для автора — это добиться совершенства...

— Целые вечера, целые недели бьешься над одним каким-нибудь словом... а то и просто над согласованием.

Тут Гран остановился и схватил доктора за пуговицу пальто. Из его почти беззубого рта слова вырывались с трудом.

— Поймите меня, доктор. На худой конец не так уж сложно сделать выбор между «и» и «но». Уже много труднее отдать предпочтение «и» или «потом». Трудности возрастают, когда речь идет о «потом» и «затем». Но конечно, самое трудное определить, надо ли вообще ставить «и» или

не надо.

— Да, — сказал Риэ, — понимаю.

Он снова зашагал вперед. Гран явно сконфузился и догнал доктора.

— Простите меня, — пробормотал он. — Сам не знаю, что это со мной нынче вечером.

Риэ ласково похлопал его по плечу и сказал, что он очень хотел бы ему помочь, да и все, что он рассказывал, его чрезвычайно заинтересовало. Гран, по-видимому, успокоился, и, когда они дошли до подъезда, он, поколебавшись, предложил доктору подняться к нему на минуточку. Риэ согласился.

Гран усадил гостя в столовой у стола, заваленного бумагами, каждый листок был сплошь покрыт микроскопическими буквами, чернел от помарок.

— Да, она самая, — сказал Гран, поймав вопросительный взгляд Риэ. — Может, выпьете чего-нибудь? У меня есть немного вина.

Риэ отказался. Он глядел на листки рукописи.

— Да не глядите так, — попросил Гран. — Это только первая фраза. Ну и повозился же я с ней, ох и повозился.

Он тоже уставился на разбросанные по столу листки, и рука его, повинуясь неодолимому по-

рыву, сама потянулась к странице, поднесла ее поближе к электрической лампочке без абажура. Листок дрожал в его руке. Риэ заметил, что на лбу Грана выступили капли пота.

— Садитесь, — сказал он, — и почитайте.

Гран вскинул на доктора глаза и благодарно улыбнулся.

— Верно, — сказал он, — мне и самому хочется вам почитать.

Он подождал с минуту, не отрывая взгляда от страницы, потом сел. А Риэ вслушивался в невнятное бормотание города, которое как бы служило аккомпанементом к свисту бича. Именно в этот миг он необычайно остро ощутил весь город, лежавший внизу, превратившийся в наглухо замкнутый мирок, раздираемый страшными воплями, которые поглощал ночной мрак. А рядом глухо бубнил Гран: «Прекрасным утром мая элегантная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса…» Затем снова наступила тишина и принесла с собой невнятный гул города-мученика. Гран положил листок, но глаз от него не отвел. Через минуту он посмотрел на Риэ:

— Ну как?

Риэ ответил, что начало показалось ему за-

нимательным и интересно было бы узнать, что будет дальше. На это Гран горячо возразил, что такая точка зрения неправомочна. И даже прихлопнул листок ладонью.

— Пока что все это еще очень приблизительно. Когда мне удастся непогрешимо точно воссоздать картину, живущую в моем воображении, когда у моей фразы будет тот же аллюр, что у этой четкой рыси — раз-два-три, раз-два-три, — все остальное пойдет легче, а главное, иллюзия с первой же строчки достигнет такой силы, что смело можно будет сказать: «Шапки долой!»

Но пока что работы у него непочатый край. Ни за какие блага мира он не согласится отдать вот такую фразу в руки издателя. Хотя временами эта фраза и дает ему чувство авторского удовлетворения, он отлично понимает, что пока еще она полностью не передает реальной картины, написана как-то слишком легковесно и это, пусть отдаленно, все-таки роднит ее со штампом. Примерно таков был смысл его речей, когда за окном вдруг раздался топот ног бегущих людей. Риэ поднялся.

— Вот увидите, как я ее поверну, — сказал Гран и, оглянувшись на окно, добавил: — Когда все это будет кончено…

Тут снова послышались торопливые шаги. Риэ поспешно спустился на улицу, и мимо прошли два человека. Очевидно, они направлялись к городским воротам. И действительно, кое-кто из наших сограждан, потеряв голову от зноя и чумы, решил действовать силой и, попытавшись обмануть бдительность кордона, выбраться из города.

Другие, как, скажем, Рамбер, тоже пытались вырваться из атмосферы нарождающейся паники, но действовали если не более успешно, то упорнее и хитрее. Для начала Рамбер проделал все официальные демарши. По его словам, он всегда считал, что настойчивость рано или поздно восторжествует, да и с известной точки зрения умение выпутываться из любых положений входило в его профессию. Поэтому он посетил множество канцелярий и людей, чья компетенция обычно не подлежала сомнению. Но в данном случае вся их компетенция оказалась ни к чему. Как правило, это были люди, обладавшие вполне точными и упорядоченными представлениями обо всем, что касалось банковских операций, или экспорта, или цитрусовых, или виноторговли, люди, имевшие неоспоримые знания в области судебных разбирательств или страхования, не го-

воря уже о солидных дипломах и немалом запасе доброй воли. Как раз и поражало в них наличие доброй воли. Но во всем касающемся чумы их знания сводились к нулю.

И тем не менее Рамбер каждый раз излагал каждому из них свое дело. Его аргументы в основном сводились к тому, что он, мол, чужой в нашем городе и поэтому его случай требует особого рассмотрения. Как правило, собеседники охотно соглашались с этим доводом. Но почти все давали ему понять, что в таком точно положении находится немало людей и поэтому случай его не такой уж исключительный, как ему кажется. На что Рамбер возражал, что если даже так, суть его доводов от этого не меняется, а ему отвечали, что все-таки меняется, так как власти чинят в таких случаях препятствия, боятся любых поблажек, не желая создать так называемый прецедент, причем последнее слово произносилось с нескрываемым отвращением. Рамбер как-то сообщил доктору Риэ, что таких субъектов по созданной им классификации он заносит в графу «бюрократы». А кроме бюрократов, попадались еще и краснобаи, уверявшие просителя, что все это долго не протянется, а когда от них требовали конкретного решения, не скупились на добрые

советы, даже пытались утешать Рамбера, твердя, что все это лишь скоропреходящие неприятности. Попадались также сановитые, эти требовали, чтобы проситель подал им бумагу с изложением просьбы, а они известят его о своем решении; попадались пустозвоны, предлагавшие ему ордер на квартиру или сообщавшие адрес недорогого пансиона; попадались педанты, требовавшие заполнить по всей форме карточку и тут же приобщавшие ее к делу; встречались неврастеники, вздымавшие к небу руки; встречались несговорчивые, отводившие глаза; и наконец, и таких было большинство, встречались формалисты, отсылавшие по привычке Рамбера в соседнюю канцелярию или подсказывавшие какой-нибудь новый ход.

Журналист издергался от всех этих хождений, зато сумел составить себе достаточно ясное представление, что такое мэрия или префектура, еще и потому, что вынужден был сидеть часами в ожидании на обитой молескином скамейке напротив огромных плакатов — одни призывали подписываться на государственный заем, не облагаемый налогами, другие — вступить в колониальные войска; а потом еще топтался в самих канцеляриях, где на лицах служащих мож-

но прочесть не больше, чем на скоросшивателях и полках с папками. Правда, было тут одно преимущество, как признался не без горечи Рамбер доктору Риэ: все эти хлопоты заслонили от него истинное положение дел. Фактически он даже не заметил, что эпидемия растет. Не говоря уже о том, что дни в этой бесполезной беготне проходили быстрее, а ведь можно, пожалуй, считать, что в том положении, в котором находился весь город, каждый прошедший день приближает каждого человека к концу его испытаний, если, понятно, он до этого доживет. Риэ вынужден был признать, что такая точка зрения не лишена логики, но заключенная в ней истина, пожалуй, чересчур обща.

Наконец наступила минута, когда для Рамбера забрезжила надежда. Из префектуры он получил анкету с просьбой заполнить ее как можно точнее. Пославших анкету интересовало: его точные имя и фамилия, его семейное положение, его доходы прежние и настоящие, словом, то, что принято называть curriculum vitae*. В первые минуты ему показалось, будто эту анкету разослали специально тем лицам, которых можно отправить к месту их обычного жительства. Кое-какие сведения, полученные в канцелярии, правда,

довольно туманные, подтвердили это впечатление. Но после решительных шагов Рамберу удалось обнаружить отдел, рассылающий анкеты, и там ему сообщили, что сведения собирают «на случай».

— Какой случай? — спросил Рамбер.

Тогда ему объяснили, что на тот случай, если он заразится чумой и умрет, и тогда, с одной стороны, отдел сможет сообщить об этом прискорбном факте его родным, а с другой — установить, будет ли оплачиваться содержание его, Рамбера, в лазарете из городского бюджета, или же можно будет надеяться, что родные покойного покроют эту сумму. Конечно, это доказывало, что он не окончательно разлучен с той, что ждет его, — раз их судьбой занимается общество. Но утешение было довольно жалкое. Более примечательно то — и Рамбер не преминул это заметить, — что в самый разгар сурового бедствия некая канцелярия хладнокровно занималась своим делом, проявляла инициативу в дочумном стиле, подчас даже не ставя в известность начальство, и делала это лишь потому, что была специально создана для подобной работы.

Последующий период оказался для Рамбера и самым легким, и одновременно самым тяжелым.

Это был период оцепенения. Журналист уже побывал во всех канцеляриях, предпринял все необходимые шаги и понял, что с этой стороны, по крайней мере на данное время, выход надежно забаррикадирован. Тогда он стал бродить из кафе в кафе. Утром усаживался на террасе кафе перед кружкой тепловатого пива и листал газеты в надежде обнаружить в них хоть какой-то намек на близкий конец эпидемии, разглядывал прохожих, с неприязнью отворачивался от их невеселых лиц и, прочитав десятки, сотни раз вывески расположенных напротив магазинов, а также рекламу знаменитых аперитивов, которые уже не подавали, поднимался с места и шел по желтым улицам города куда глаза глядят. Так и проходило время до вечера, от одинокого утреннего сидения в кафе до ужина в ресторане. Именно вечером Риэ заметил Рамбера, стоявшего в нерешительной позе у дверей кафе. Наконец он, видимо, преодолев колебания, вошел и сел в дальнем углу зала. Близился тот час — по распоряжению свыше он с каждым днем наступал все позже и позже, — когда в кафе и ресторанах дают свет. Зал заволакивали сумерки, водянистые, мутно-серые, розоватость закатного неба отражалась в оконных стеклах, и в сгущающейся

темноте слабо поблескивал мрамор столиков. Здесь, среди пустынной залы, Рамбер казался заблудшей тенью, и Риэ подумалось, что для журналиста это час отрешенности. Но и все прочие пленники зачумленного города проходили так же, как и он, свой час отрешенности, и надо было что-то делать, чтобы поторопить минуту освобождения. Риэ отвернулся.

Целые часы Рамбер проводил также и на вокзале. Выход на перрон был запрещен. Но в зал ожидания, куда попадали с площади, дверей не запирали, и иногда в знойные дни там укрывались нищие — в залах было свежо, как в тени. Рамбер приходил на вокзал читать старые расписания поездов, объявления, запрещающие плевать на пол, и распорядок работы железнодорожной полиции. Потом он садился в уголок. В зале было полутемно. Бока старой чугунной печки, не топленной уже многие месяцы, были все в разводах от поливки дезинфицирующими средствами. Со стены десяток плакатов вещал о счастливой и свободной жизни где-нибудь в Бандоле или Каннах. Здесь на Рамбера накатывало ощущение пугающей свободы, которое возникает, когда доходишь до последней черты. Из всех зрительных воспоминаний самыми мучитель-

ными были для него картины Парижа, так по крайней мере он уверял доктора Риэ. Париж становился его наваждением, и знакомые пейзажи — вода и старые камни, голуби на Пале-Рояль, Северный вокзал, пустынные кварталы вокруг Пантеона и еще кое-какие парижские уголки — убивали всякое желание действовать, а ведь раньше Рамбер даже не подозревал, что любит их до боли. Риэ подумал только, что журналист просто отождествляет эти образы со своей любовью. И когда Рамбер сказал ему как-то, что любит просыпаться в четыре часа утра и думать о своем родном городе, доктор без труда сопоставил эти слова со своим сокровенным опытом — ему тоже приятно было представлять себе как раз в эти часы свою уехавшую жену. Именно в этот час ему удавалось ощутить ее взаправду. До четырех часов утра человек, в сущности, ничего не делает и спит себе спокойно, если даже ночь эта была ночью измены. Да, человек спит в этот час, и очень хорошо, что спит, ибо единственное желание измученного тревогой сердца — безраздельно владеть тем, кого любишь, или, когда настал час разлуки, погрузить это существо в сон без сновидений, дабы продлился он до дня встречи.

Вскоре после проповеди наступил период жа-

ры. Подходил к концу июнь. На следующий день после запоздалых ливней, отметивших собой пресловутую проповедь, — лето вдруг расцвело в небе и над крышами домов. Приход его начался с горячего ураганного ветра, утихшего только к вечеру, но успевшего высушить все стены в городе. Солнце, казалось, застряло посредине неба. В течение всего дня зной и яркий свет заливали город. Едва человек покидал дом или выходил из-под уличных аркад, как сразу же начинало казаться, будто во всем городе не существует уголка, защищенного от этого ослепляющего излучения. Солнце преследовало наших сограждан даже в самых глухих закоулках, и стоило им остановиться хоть на минуту, как оно обрушивалось на них. Так как первые дни жары совпали со стремительным подъемом кривой смертности — теперь эпидемия уносила за неделю примерно семьсот жертв, — в городе воцарилось уныние. В предместьях, где на ровных улицах стоят дома с террасами, затихло обычное оживление, и квартал, где вся жизнь проходит у порога, замер; ставни были закрыты. Но никто не знал, что загнало людей в комнаты — чума или солнце. Однако из некоторых домов доносились стоны. Раньше, когда случалось нечто подобное, на

улице собирались зеваки, прислушивались, судачили. Но теперь, когда тревога затянулась, сердца людей, казалось, очерствели, и каждый жил или шагал где-то в стороне от этих стонов, как будто они стали естественным языком человека.

Схватка у городских ворот, когда жандармам пришлось пустить в ход оружие, вызвала глухое волнение. Были, конечно, раненые, но в городе, где все и вся преувеличивалось под воздействием жары и страха, утверждали, что были и убитые. Во всяком случае, верно одно — недовольство не переставало расти, и, предвидя худшее, наши власти всерьез начали подумывать о мерах, которые придется принять в том случае, если население города, смирившееся было под бичом, вдруг взбунтуется. Газеты печатали приказы, где вновь и вновь говорилось о категорическом запрещении покидать пределы города, нарушителям грозила тюрьма. Город прочесывали патрули. По пустынным, раскаленным зноем улицам, между двух рядов плотно закрытых ставен, то и дело проезжал конный патруль, предупреждавший о своем появлении звонким цоканьем копыт по мостовой. Патруль скрывался за углом, и глухая, настороженная тишина вновь окутывала бедствующий город. Временами раздавались

выстрелы — это специальный отряд, согласно полученному недавно приказу, отстреливал бродячих собак и кошек, возможных переносчиков блох. Эти сухие хлопки окончательно погружали город в атмосферу военной тревоги.

Все приобретало несуразно огромное значение в испуганных душах наших сограждан, и виной тому были жара и безмолвие. Впервые наши сограждане стали замечать краски неба, запахи земли, возвещавшие смену времен года. Каждый со страхом понимал, что зной будет способствовать развитию эпидемии, и в то же время каждый видел, что наступало лето. Крики стрижей в вечернем небе над городом становились особенно ломкими. Но июньские сумерки, раздвигавшие в наших краях горизонт, были куда шире этого крика. На рынки вывозили уже не первые весенние бутоны, а пышно распустившиеся цветы, и после утренней распродажи разноцветные лепестки густо устилали пыльные тротуары. Все видели воочию, что весна на исходе, что она расточила себя на эти тысячи и тысячи цветов, сменявших друг друга, как в хороводе, и что она уже чахнет под душившим ее исподволь двойным грузом — чумы и зноя. В глазах всех наших сограждан это по-летнему яркое небо, эти ули-

цы, принявшие белесую окраску пыли и скуки, приобретали столь же угрожающий смысл, как сотни смертей, новым бременем ложившихся на плечи города. Безжалостное солнце, долгие часы с привкусом дремоты и летних вакаций уже не звали, как раньше, к празднествам воды и плоти. Напротив, в нашем закрытом притихшем городе они звучали глухо, как в подземелье. Часы эти утратили медный лоск загара счастливых летних месяцев. Солнце чумы приглушало все краски, гнало прочь все радости.

Вот в этом-то и сказался один из великих переворотов, произведенных чумой. Обычно наши сограждане весело приветствовали приход лета. Тогда город весь раскрывался навстречу морю и выплескивал все, что было в нем молодого, на пляжи. А нынешним летом море, лежавшее совсем рядом, было под запретом, и тело лишалось права на свою долю радости. Как жить в таких условиях? И опять-таки Тарру дал наиболее верную картину нашего существования в те печальные дни. Само собой разумеется, он следил лишь в общих чертах за развитием чумы и справедливо отметил в своей записной книжке как очередной этап эпидемии то обстоятельство, что радио отныне уже не сообщает, сколько сотен че-

ловек скончалось за неделю, а приводит данные всего за один день — девяносто два смертных случая, сто семь, сто двадцать. «Пресса и городские власти стараются перехитрить чуму. Воображают, будто выигрывают очко только потому, что сто тридцать, конечно, меньше, чем девятьсот десять». Запечатлел он также трогательные или просто эффектные аспекты эпидемии — рассказал о том, как шел по пустынному кварталу мимо наглухо закрытых ставен, как вдруг над самой его головой широко распахнулись обе створки окна и какая-то женщина, испустив два пронзительных крика, снова захлопнула ставни, отрезав густой мрак комнаты от дневного света. А в другом месте он записал, что из аптеки исчезли мятные лепешечки, потому что многие сосут их непрерывно, надеясь уберечься от возможной заразы.

Продолжал он также наблюдать за своими любимыми персонажами. В частности, убедился, что кошачий старичок тоже переживает трагедию. Как-то утром на их улице захлопали выстрелы, и, судя по записям Тарру, свинцовые плевки уложили на месте большинство кошек, а остальные в испуге разбежались. В тот же день старичок вышел в обычный час на балкон, недоуменно передернул плечами, перевесился через перила,

зорко оглядел всю улицу из конца в конец и, видимо, решил покориться судьбе и ждать. Пальцы его нервно выбивали дробь по металлическим перилам. Он еще подождал, побросал на тротуар бумажки, вошел в комнату, вышел снова, потом вдруг исчез, злобно хлопнув балконной дверью. В последующие дни сцена эта повторялась в точности, но теперь на лице старичка явно читались все более и более глубокие грусть и растерянность. А уже через неделю Тарру напрасно поджидал этого ежедневного появления, окна упорно оставались закрытыми, за ними, видимо, царила вполне объяснимая печаль. «Запрещается во время чумы плевать на котов» — таким афоризмом заканчивалась эта запись.

Зато Тарру, возвращаясь к себе по вечерам, мог быть уверен, что увидит в холле мрачную физиономию ночного сторожа, без устали шагавшего взад и вперед. Сторож напоминал всем и каждому, что он, мол, предвидел теперешние события. Когда же Тарру, подтвердив, что сам слышал это пророчество, позволил себе заметить, что предсказывал тот скорее землетрясение, старик возразил: «Эх, кабы землетрясение! Тряхнет хорошенько — и дело с концом… Сосчитают мертвых, живых — и все тут. А вот эта стерва чума! Даже

тот, кто не болен, все равно носит болезнь у себя в сердце».

Директор отеля был удручен не меньше. В первое время путешественники, застрявшие в Оране, вынуждены были жить в отеле в связи с тем, что город был объявлен закрытым. Но эпидемия продолжалась, и многие постояльцы предпочли поселиться у своих друзей. И по тем же самым причинам, по каким все номера гостиницы раньше были заняты, — теперь они пустовали, — новых путешественников в наш город не пускали. Тарру оставался в числе нескольких последних жильцов, и директор при каждой встрече давал ему понять, что он давным-давно уже закрыл бы отель, но не делает этого ради своих последних клиентов. Нередко он спрашивал мнение Тарру насчет возможной продолжительности эпидемии. «Говорят, — отвечал Тарру, — холода препятствуют развитию бактерий». Тут директор окончательно терял голову: «Да здесь же никогда настоящих холодов не бывает, мсье. Так или иначе, это еще на много месяцев!» К тому же он был убежден, что и после окончания эпидемии путешественники долго еще будут обходить наш город стороной. Эта чума — гибель для туризма.

В ресторане после недолгого отсутствия вновь появился господин Отон, человек-филин, но в сопровождении только двух своих дрессированных собачек. По наведенным справкам, его жена ухаживала за больной матерью и теперь, похоронив ее, находилась в карантине.

— Не нравится мне это, — признался директор Тарру. — Карантин карантином, а все-таки она на подозрении, а значит, и они тоже.

Тарру заметил, что с такой точки зрения все люди подозрительны. Но директор стоял на своем, и, как оказалось, у него на сей счет было вполне определенное мнение.

— Нет, мсье, мы с вами, например, не подозрительные. А они — да.

Но господин Отон ничуть не собирался менять свои привычки из-за таких пустяков, как чума, в данном случае чума просчиталась. Все так же входил он в зал ресторана, садился за столик первым, по-прежнему вел со своими отпрысками неприязненно-изысканные разговоры. Изменился один только мальчуган. Весь в черном, как и его сестренка, он как-то съежился и казался миниатюрной тенью отца. Ночной сторож, не выносивший господина Отона, ворчал:

— Этот-то и помрет одетым. И обряжать его

не придется. Так и отправится прямехонько на тот свет.

Нашлось в дневнике место и для записи о проповеди отца Панлю, но со следующими комментариями: «Мне понятен, даже симпатичен этот пыл. Начало бедствий, равно как и их конец, всегда сопровождается небольшой дозой риторики. В первом случае еще не утрачена привычка, а во втором она уже успела вернуться. Именно в разгар бедствий привыкаешь к правде, то есть к молчанию. Подождем».

Записал Тарру также, что имел с доктором Риэ продолжительную беседу, но не изложил ее, а отметил только, что она привела к положительным результатам, упомянул по этому поводу, что глаза у матери доктора карие, и вывел отсюда довольно-таки странное заключение, что взгляд, где читается такая доброта, всегда будет сильнее любой чумы, и, наконец, посвятил чуть ли не страницу старому астматику, пациенту доктора Риэ.

После их беседы он увязался за доктором, отправившимся навестить больного. Старик приветствовал гостей своим обычным ядовитым хихиканьем и потиранием рук. Он лежал в постели, под спину у него была подсунута подушка,

а по бокам стояли две кастрюли с горошком.

— Ага, еще один, — сказал он, заметив Тарру. — Все на свете шиворот-навыворот, докторов стало больше, чем больных. Ну как, быстро дело пошло, а? Кюре прав, получили по заслугам.

На следующий день Тарру снова явился к нему без предупреждения. Если верить его записям, старик астматик, галантерейщик по роду занятий, достигнув пятидесяти лет, решил, что достаточно потрудился на своем веку. Он слег в постель и уже не вставал. Однако в стоячем положении астма его почти не мучила. Так и дожил он на небольшую ренту до своего семидесятипятилетия и легко нес бремя лет. Он не терпел вида любых часов, и в доме у них не было даже будильника. «Часы, — говаривал он, — и дорого, да и глупость ужасная». Время он узнавал, особенно время приема пищи, единственно для него важное, с помощью горошка, так как при пробуждении у его постели уже стояли две кастрюли, причем одна полная доверху. Так, горошина за горошиной, он наполнял пустую кастрюлю равномерно и прилежно. Кастрюли с горошком были, так сказать, его личными ориентирами, вполне годными для измерения времени. «Вот переложу пятнадцать кастрюль, — говорил он, —

и закусить пора будет. Чего же проще».

Если верить его жене, он еще смолоду проявлял странности. И впрямь, никогда ничто его не интересовало — ни работа, ни друзья, ни кафе, ни музыка, ни женщины, ни прогулки. Он и города-то ни разу не покидал; только однажды, когда по семейным делам ему пришлось отправиться в Алжир, он вылез на ближайшей от Орана станции — дальнейшее странствие оказалось ему не по силам — и первым же поездом вернулся домой.

Старик объяснил господину Тарру, который не сумел скрыть своего удивления перед этим добровольным затворничеством, что, согласно религии, первая половина жизни человека — это подъем, а вторая — спуск, и, когда начинается этот самый спуск, дни человека принадлежат уже не ему, они могут быть отняты в любую минуту. С этим ничего поделать нельзя, поэтому лучше вообще ничего не делать. Впрочем, явная нелогичность этого положения, видно, нисколько его не смущала, так как почти тут же он заявил Тарру, что Бога не существует, будь Бог, к чему бы тогда нужны попы. Но из дальнейшей беседы Тарру стало ясно, что философская концепция старика прямо объяснялась тем недовольством, которое вызывали у него благотворительные поборы в

их приходе. В качестве последнего штриха к его портрету необходимо упомянуть о самом заветном желании старика, которое он неоднократно высказывал собеседнику: он надеялся умереть в глубокой старости.

«Кто он, святой? — спрашивал себя Тарру. И отвечал: — Да, святой, если только святость есть совокупность привычек».

Но в то же самое время Тарру затеял описать во всех подробностях один день зачумленного города и дать точное представление о занятиях и жизни наших сограждан этим летом. «Никто, кроме пьяниц, здесь не смеется, — записал Тарру, — а они смеются слишком много и часто». Затем шло само описание:

«На заре по городу проносится легкое веяние. В этот час, час между теми, кто умер ночью, и теми, кто умрет днем, почему-то чудится, будто мор на миг замирает и набирается духу. Все магазины еще закрыты. Но объявления, выставленные кое-где в витринах: «Закрыто по случаю чумы», свидетельствуют, что эти магазины не откроются в положенное время. Не совсем еще проснувшиеся продавцы газет не выкрикивают последних известий, а, прислонясь к стенке на углу улицы, молча протягивают фонарям свой товар жестом

лунатика. Еще минута-другая, и разбуженные звоном первых трамваев газетчики рассыплются по всему городу, держа в вытянутой руке газетный лист, где чернеет только одно слово: «Чума». «Продолжится ли чума до осени? Профессор Б. отвечает: «Нет!» «Сто двадцать четыре смертных случая — таков итог девяносто четвертого дня эпидемии».

Несмотря на бумажный кризис, который становится все более ощутимым и в силу которого многие издания сократили свой объем, стала выходить новая газета «Вестник эпидемии», задача коей «информировать наших граждан со всей возможной объективностью о прогрессе или затухании болезни; давать им наиболее авторитетную информацию о дальнейшем ходе эпидемии; предоставлять свои страницы всем тем, известным или безвестным, кто намерен бороться против бедствия; поддерживать дух населения, печатать распоряжения властей, — словом, собрать воедино, в один кулак добрую волю всех и каждого, дабы успешно противостоять постигшему нас несчастью». В действительности же газета буквально через несколько дней ограничила свою задачу публикацией сообщений о новых и надежных профилактических средствах

против чумы.

Часов в шесть утра газеты успешно раскупаются очередями, уже выстроившимися у дверей магазинов за час до открытия, а потом и в трамваях, которые приходят с окраин, переполненные до отказа. Трамваи стали теперь единственным нашим транспортом, и продвигаются они с трудом, так как все площадки и подножки облеплены пассажирами. Любопытная деталь — пассажиры стараются стоять друг к другу спиной, конечно, насколько это возможно при такой давке, — во избежание взаимного заражения. На остановках трамвай выбрасывает из себя партию мужчин и женщин, которые спешат разбежаться в разные стороны, чтобы остаться в одиночестве. Нередко в трамвае разыгрываются скандалы, что объясняется просто дурным настроением, а оно стало теперь хроническим.

После того как пройдут первые трамваи, город постепенно начинает просыпаться, открываются первые пивные, где на стойках стоят объявления вроде: «Кофе нет», «Сахар приносите с собой» и т. д. и т. п. Потом открываются лавки, на улицах становится шумнее. Одновременно весь город заливают солнечные лучи, и жара обволакивает июльское небо свинцовой дымкой. В этот час

люди, которым нечего делать, отваживаются пройтись по бульварам. Создается впечатление, будто многие во что бы то ни стало хотят заклясть чуму с помощью выставленной напоказ роскоши. Каждый день, часам к одиннадцати, на главных улицах города происходит как бы парад молодых людей и молодых дам, и, глядя на них, понимаешь, что в лоне великих катастроф зреет страстное желание жить. Если эпидемия пойдет вширь, то рамки морали, пожалуй, еще раздвинутся. И мы увидим тогда миланские сатурналии у разверстых могил.

В полдень, как по мановению волшебного жезла, наполняются все рестораны. А уже через несколько минут у двери топчутся маленькие группки людей, которым не хватило места. От зноя небо постепенно тускнеет. А в тени огромных маркиз чающие еды ждут своей очереди на улице, которую вот-вот растопит солнце. Рестораны потому так набиты, что они во многом упрощают проблему питания. Но не снимают страха перед заражением. Обедающие долго и терпеливо перетирают приборы и тарелки. С недавнего времени в витринах ресторанов появились объявления: «У нас посуду кипятят». Но потом владельцы ресторанов отказались от

всякой рекламы, поскольку публика все равно придет. К тому же клиент перестал скупиться. Самые тонкие или считающиеся таковыми вина, самые дорогие закуски — с этого начинается неистовое состязание пирующих. Говорят также, что в одном ресторане поднялась паника: один из обедающих почувствовал себя плохо, встал из-за столика, побледнел и, шатаясь, поспешно направился к выходу.

К двум часам город постепенно пустеет, в эти минуты на улицах сходятся вместе пыль, солнце, чума и молчание. Зной без передышки стекает вдоль стен высоких серых зданий. Эти долгие тюремные часы переходят в пламенеющие вечера, которые обрушиваются на людный, стрекочущий город. В первые дни жары, неизвестно даже почему, на улицах и вечерами никого не было. Но теперь дыхание ночной свежести приносит с собой если не надежду, то хоть разрядку. Все высыпают тогда из домов. Стараются оглушить себя болтовней, громкими спорами, вожделеют, и под алым июльским небом весь город, с его парочками и людским говором, дрейфует навстречу одышливой ночи. И тщетно каждый вечер какой-то вдохновенный старец в фетровой шляпе и в галстуке-бабочке расталкивает толпу со слова-

ми: «Бог велик, придите к нему»; все, напротив, спешат к чему-то, чего они, в сущности, не знают, или к тому, что кажется им важнее Бога. Поначалу, когда считалось, что разразившаяся эпидемия — просто обычная эпидемия, религия была еще вполне уместна. Но когда люди поняли, что дело плохо, все разом вспомнили, что существуют радости жизни. Тоскливый страх, уродующий днем все лица, сейчас, в этих пыльных, пылающих сумерках, уступает место какому-то неопределенному возбуждению, какой-то неуклюжей свободе, воспламеняющей весь город.

И я, я тоже, как они. Да что там! Смерть для таких людей, как я, — ничто. Просто событие, доказывающее нашу правоту!»

Это сам Тарру попросил доктора Риэ о свидании, упомянутом в его дневнике. В вечер условленной встречи Риэ ждал гостя и глядел на свою мать, чинно сидевшую на стуле в дальнем углу столовой. Это здесь, на этом самом месте, она, покончив с хлопотами по хозяйству, проводила все свое свободное время. Сложив руки на коленях, она ждала. Риэ был даже не совсем уверен, что ждет она именно его. Но когда он входил в комнату, лицо матери менялось. Все то, что долгой трудовой жизнью было сведено к немоте,

казалось, разом в ней оживало. Но потом она снова погружалась в молчание. Этим вечером она глядела в окно на уже опустевшую улицу. Уличное освещение теперь уменьшилось на две трети. И только редкие слабенькие лампочки еще прорезали ночной мрак.

— Неужели во время всей эпидемии так и будет электричество гореть вполнакала? — спросила госпожа Риэ.

— Вероятно.

— Хоть бы до зимы кончилось. А то зимой будет совсем грустно.

— Да, — согласился Риэ.

Он заметил, что взгляд матери скользнул по его лбу. Да и сам Риэ знал, что тревога и усталость последних дней не красят его.

— Ну как сегодня, не ладилось? — спросила госпожа Риэ.

— Да нет, как всегда.

Как всегда! Это означало, что новая сыворотка, присланная из Парижа, оказалась, по-видимому, менее действенна, чем первая, и что цифры смертности растут. Но по-прежнему профилактическую вакцинацию приходится делать только в семьях, где уже побывала чума. А чтобы впрыскивать вакцину в нужных масштабах,

необходимо наладить ее массовое производство. В большинстве случаев бубоны упорно отказывались вскрываться, они почему-то стали особенно твердыми, и больные страдали вдвойне. Со вчерашнего дня в городе зарегистрировано два случая новой разновидности заболевания. Теперь к бубонной чуме присоединилась еще и легочная. И тогда же окончательно сбившиеся с ног врачи потребовали на заседании у растерявшегося префекта — и добились — принятия новых мер с целью избежать опасности заражения, так как легочная чума разносится дыханием человека. И как обычно, никто ничего не знал.

Он посмотрел на мать. Милый взгляд карих глаз всколыхнул в нем сыновнюю нежность, целые годы нежности.

— Уж не боишься ли ты, мать?

— В мои лета особенно бояться нечего.

— Дни долгие, а меня никогда дома не бывает.

— Раз я знаю, что ты придешь, я могу тебя ждать сколько угодно. А когда тебя нет дома, я думаю о том, что ты делаешь. Есть известия?

— Да, все благополучно, если верить последней телеграмме. Но уверен, что она пишет так, только чтоб меня успокоить.

У двери продребезжал звонок. Доктор улыбнул-

ся матери и пошел открывать. На лестничной площадке было уже темно, и Тарру походил в сером своем костюме на огромного медведя. Риэ усадил гостя в своем кабинете у письменного стола. А сам остался стоять, держась за спинку кресла. Их разделяла лампа, стоявшая на столе, только она одна и горела в комнате.

— Я знаю, — без обиняков начал Тарру, — что могу говорить с вами откровенно.

Риэ промолчал, подтверждая слова Тарру.

— Через две недели или через месяц вы будете уже бесполезны, события вас обогнали.

— Вы правы, — согласился Риэ.

— Санитарная служба организована из рук вон плохо. Вам не хватает ни людей, ни времени.

Риэ подтвердил и это.

— Я узнал, префектура подумывает об организации службы из гражданского населения с целью побудить всех годных мужчин принять участие в общей борьбе по спасению людей.

— Ваши сведения верны. Но недовольство и так уж велико, и префект колеблется.

— Почему в таком случае не обратиться к добровольцам?

— Пробовали, но результат получился жалкий.

— Пробовали официальным путем, сами почти

не веря в успех. Им не хватает главного — воображения. Потому-то они и отстают от масштабов бедствия. И воображают, что борются с чумой, тогда как средства борьбы не подымаются выше уровня борьбы с обыкновенным насморком. Если мы не вмешаемся, они погибнут, да и мы вместе с ними.

— Возможно, — согласился Риэ. — Должен вам сказать, что они подумывают также о привлечении на черную работу заключенных.

— Я предпочел бы, чтобы работу выполняли свободные люди.

— Я тоже. А почему, в сущности?

— Ненавижу смертные приговоры.

Риэ взглянул на Тарру.

— Ну и что же? — сказал он.

— А то, что у меня есть план по организации добровольных дружин. Поручите мне заняться этим делом, а начальство давайте побоку. У них и без того забот по горло. У меня повсюду есть друзья, они-то и будут ядром организации. Естественно, я тоже вступлю в дружину.

— Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я лично соглашусь с радостью, — сказал Риэ. — Человек всегда нуждается в помощи, особенно при нашем ремесле. Беру на себя провести ваше предложе-

ние в префектуре. Впрочем, иного выхода у них нет. Но…

Риэ замолчал.

— Но эта работа, вы сами отлично знаете, сопряжена со смертельной опасностью. И во всех случаях я обязан вас об этом предупредить. Вы хорошо обдумали?

Тарру поднял на доктора спокойные серые глаза:

— А что вы скажете, доктор, о проповеди отца Панлю?

Вопрос этот прозвучал так естественно, что доктор Риэ ответил на него тоже вполне естественно:

— Я слишком много времени провел в больницах, чтобы меня соблазняла мысль о коллективном возмездии. Но знаете ли, христиане иной раз любят поговорить на эту тему, хотя сами по-настоящему в это не верят. Они лучше, чем кажутся на первый взгляд.

— Значит, вы, как и отец Панлю, считаете, что в чуме есть свои положительные стороны, что она открывает людям глаза, заставляет их думать?

Доктор нетерпеливо тряхнул головой:

— Как и все болезни мира. То, что верно в отношении недугов мира сего, верно и в отношении

чумы. Возможно, кое-кто и станет лучше. Однако когда видишь, сколько горя и беды приносит чума, надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтобы примириться с чумой.

Риэ говорил, почти не повышая голоса. Но Тарру взмахнул рукой, как бы желая его успокоить. Он улыбнулся.

— Да, — сказал Риэ, пожав плечами. — Но вы мне еще не ответили. Вы хорошенько все продумали?

Тарру удобнее устроился в кресле и потянулся к лампе.

— А в Бога вы верите, доктор?

И этот вопрос прозвучал тоже вполне естественно. Но на сей раз Риэ ответил не сразу.

— Нет, но какое это имеет значение? Я нахожусь во мраке и стараюсь разглядеть в нем хоть что-то. Уже давно я не считаю это оригинальным.

— Это-то и отделяет вас от отца Панлю?

— Не думаю. Панлю — кабинетный ученый. Он видел недостаточно смертей и поэтому вещает от имени истины. Но любой сельский попик, который отпускает грехи своим прихожанам и слышит последний вздох умирающего, думает так же, как и я. Он прежде всего попытается помочь беде, а уж потом будет доказывать ее

благодетельные свойства.

Риэ поднялся, свет лампы сполз с его лица на грудь.

— Раз вы не хотите ответить на мой вопрос, — сказал он, — оставим это.

Тарру улыбнулся, он по-прежнему удобно, не шевелясь, сидел в кресле.

— Можно вместо ответа задать вам вопрос?

Доктор тоже улыбнулся.

— А вы, оказывается, любите таинственность, — сказал он. — Валяйте.

— Так вот, — сказал Тарру. — Почему вы так самоотверженно делаете свое дело, раз вы не верите в Бога? Быть может, узнав ваш ответ, и я сам смогу ответить.

Стоя по-прежнему в полутени, доктор сказал, что он уже ответил на этот вопрос и что, если бы он верил во всемогущего Бога, он бросил бы лечить больных и передал их в руки Господни. Но дело в том, что ни один человек на всем свете, да-да, даже и отец Панлю, который верит, что верит, не верит в такого Бога, поскольку никто полностью не полагается на его волю, он, Риэ, считает, что, во всяком случае, здесь он на правильном пути, борясь против установленного миропорядка.

— А-а, — протянул Тарру, — значит, так вы себе представляете вашу профессию?

— Примерно, — ответил доктор и шагнул в круг света, падавшего от лампы.

Тарру тихонько присвистнул, и доктор внимательно взглянул на него.

— Да, — проговорил Риэ, — вы, очевидно, хотите сказать, что тут нужна гордыня. Но у меня, поверьте, гордыни ровно столько, сколько нужно. Я не знаю, ни что меня ожидает, ни что будет после всего этого. Сейчас есть больные и их надо лечить. Размышлять они будут потом, и я с ними тоже. Но самое насущное — это их лечить. Я как умею защищаю их, и все тут.

— Против кого?

Риэ повернулся к окну. Вдалеке угадывалось присутствие моря по еще более плотной и черной густоте небосклона. Он ощущал лишь одно — многодневную усталость и в то же самое время боролся против внезапного и безрассудного искушения исповедоваться перед этим странным человеком, в котором он, однако, чувствовал братскую душу.

— Сам не знаю, Тарру, клянусь, сам не знаю. Когда я только еще начинал, я действовал в известном смысле отвлеченно, потому что так

мне было нужно, потому что профессия врача не хуже прочих, потому что многие юноши к ней стремятся. Возможно, еще и потому, что мне, сыну рабочего, она далась исключительно трудно. А потом пришлось видеть, как умирают. Знаете ли вы, что существуют люди, не желающие умирать? Надеюсь, вы не слышали, как кричит умирающая женщина: «Нет, нет, никогда!» А я слышал. И тогда уже я понял, что не смогу к этому привыкнуть. Я был еще совсем юнец, и я перенес свое отвращение на порядок вещей как таковой. Со временем я стал поскромнее. Только так и не смог привыкнуть к зрелищу смерти. Я больше и сам ничего не знаю. Но так или иначе…

Риэ спохватился и замолчал. Он вдруг почувствовал, что во рту у него пересохло.

— Что, так или иначе?.. — тихо переспросил Тарру.

— Так или иначе, — повторил доктор и снова замолчал, внимательно приглядываясь к Тарру, — впрочем, такой человек, как вы, поймет, я не ошибся?.. Так вот, раз порядок вещей определяется смертью, может быть, для Господа Бога вообще лучше, чтобы в него не верили и всеми силами боролись против смерти, не обращая взоры к небесам, где царит молчание.

— Да, — подтвердил Тарру, — понимаю. Но любые ваши победы всегда были и будут только преходящими, вот в чем дело.

Риэ помрачнел.

— Знаю, так всегда будет. Но это еще не довод, чтобы бросать борьбу.

— Верно, не довод. Но представляю себе, что же в таком случае для вас эта чума.

— Да, — сказал Риэ. — Нескончаемое поражение.

Тарру с минуту пристально смотрел на доктора, потом поднялся и тяжело зашагал к двери. Риэ пошел за ним. Когда он догнал его, Тарру стоял, уставившись себе под ноги, и вдруг спросил:

— А кто вас научил всему этому, доктор?

Ответ последовал незамедлительно:

— Человеческое горе.

Риэ открыл дверь кабинета, а в коридоре сказал Тарру, что тоже выйдет с ним, ему необходимо заглянуть в предместье к одному больному. Тарру предложил его проводить, и доктор согласился. В самом конце коридора им встретилась госпожа Риэ, и доктор представил ей гостя.

— Познакомься, это мой друг, — сказал он.

— Очень рада с вами познакомиться, — проговорила госпожа Риэ.

Когда она отошла, Тарру оглянулся ей вслед. На площадке доктор тщетно попытался включить электричество. Лестничные марши были погружены во мрак. Доктор решил, что это действует новый приказ об экономии электроэнергии. Но впрочем, кто знает. С недавних пор все как-то разладилось и в городе, и в домах. Возможно, это был просто недосмотр привратников, а большинство наших сограждан сами уже ни о чем не заботились. Но доктор не успел додумать этой мысли, так как за спиной у него прозвучал голос Тарру:

— Еще одно замечание, доктор, пусть даже оно покажется вам смешным: вы абсолютно правы.

Риэ пожал плечами, хотя в темноте Тарру не мог видеть его жеста.

— Откровенно говоря, я и сам не знаю. Но вы-то, вы знаете?

— Ну-ну, — бесстрастно протянул Тарру, — я человек ученый.

Риэ остановился, и шедший за ним следом Тарру споткнулся в темноте на ступеньке. Но удержался на ногах, схватив доктора за плечо.

— Стало быть, по-вашему, вы все знаете о жизни? — спросил доктор.

Из темноты донесся ответ, произнесенный все тем же спокойным тоном:

— Да, знаю.

Только выйдя на улицу, они сообразили, что уже поздно, очевидно, около одиннадцати. Город был тихим, в нем все смолкло, кроме шорохов. Где-то очень далеко раздался сигнал «скорой помощи». Они сели в машину, и Риэ завел мотор.

— Зайдите-ка завтра в лазарет, — сказал он, — вам надо сделать предохранительный укол. Но чтобы покончить с этим и прежде чем вы ввяжетесь в эту историю, вспомните, что у вас только один шанс из трех выпутаться.

— Такие подсчеты не имеют никакого смысла, и вы сами, доктор, это прекрасно знаете. Сто лет назад во время чумной эпидемии в Персии болезнь убила всех обитателей города, кроме как раз одного человека, который обмывал трупы и ни на минуту не прекращал своего дела.

— Значит, ему выпал третий шанс, вот и все, — сказал Риэ, и голос его прозвучал неожиданно глухо. — Но ваша правда, мы еще не слишком осведомлены насчет чумы.

Теперь они ехали по предместью. Автомобильные фары ярко сверкали среди пустынных улиц. Доктор остановил машину. Закрывая дверцу, он спросил Тарру, желает ли тот зайти к больному, и Тарру ответил, что желает. Их лица освещал

только отблеск, шедший с ночного неба. Внезапно Риэ дружелюбно расхохотался.

— Скажите, Тарру, — спросил он, — а вас-то что понуждает впутываться в эту историю?

— Не знаю. Очевидно, соображения морального порядка.

— А на чем они основаны?

— На понимании.

Тарру повернул к дому, и Риэ снова увидел его лицо, только когда они уже вошли к старику астматику.

На следующий же день Тарру взялся за работу и создал первую добровольную дружину, по образцу которой скоро должны были создаваться и другие.

В намерение рассказчика отнюдь не входит придавать слишком большое значение этим санитарным ячейкам. Правда, большинство наших сограждан, будь они на месте рассказчика, поддались бы искушению преувеличить роль этих дружин. Но рассказчик скорее склонен поддаться искушению иного порядка, он считает, что, придавая непомерно огромное значение добрым поступкам, мы в конце концов возносим косвенную, но неумеренную хвалу самому злу. Ибо в таком случае легко предположить, что доб-

рые поступки имеют цену лишь потому, что они явление редкое, а злоба и равнодушие куда более распространенные двигатели людских поступков. Вот этой-то точки зрения рассказчик ничуть не разделяет. Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди — они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и это-то зовется добродетелью или пороком, причем самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности видения.

Вот почему, одобряя создание наших санитарных дружин, возникших по почину Тарру, следует сохранять объективность. Вот почему рассказчик не намерен выступать в роли чересчур красноречивого рапсода и воспевать добрую волю и героизм, хотя вполне отдает им должное. Он и в дальнейшем останется историком растерзанных и непримиримых сердец наших сограждан, ибо такими нас сделала чума.

Не так уж велика заслуга тех, кто самоотверженно взялся за организацию санитарных дружин, они твердо знали, что ничего иного сделать нельзя, и, напротив, было бы непостижимым, если бы они не взялись. Эти дружины помогли нашим согражданам глубже войти в чуму и отчасти убедили их, что, раз болезнь уже здесь, нужно делать то, что нужно, для борьбы с ней. Ибо чума, став долгом для нескольких людей, явила собою то, чем была в действительности, а была она делом всех.

И это очень хорошо. Но ведь никому же не придет в голову хвалить учителя, который учит, что дважды два — четыре. Возможно, его похвалят за то, что он выбрал себе прекрасную профессию. Скажем так, весьма похвально, что Тарру и прочие взялись доказать, что дважды два — четыре, а не наоборот, но скажем также, что их добрая воля роднит их с тем учителем, со всеми, у кого такое же сердце, как у вышеупомянутого учителя, и что, к чести человека, таких много больше, чем полагают, по крайней мере рассказчик в этом глубоко убежден. Правда, он понимает, какие могут воспоследовать возражения, главное из них, что эти люди, мол, рисковали жизнью. Но в истории всегда и неизбежно наступает такой час, когда

того, кто смеет сказать, что дважды два — четыре, карают смертью. Учитель это прекрасно знает. И вопрос не в том, чтобы знать, какую кару или какую награду влечет за собой это рассуждение. Вопрос в том, чтобы знать, составляют ли или нет дважды два четыре. Тем из наших сограждан, которые рисковали тогда жизнью, приходилось решать первое — чума это или не чума, и второе — нужно или не нужно бороться с ней.

Многие оранские новоявленные моралисты утверждали, что, мол, ничего сделать нельзя и что самое разумное — это стать на колени. И Тарру, и Риэ, и их друзья могли возразить на это кто так, кто эдак, но вывод их всегда диктовался тем, что они знали: необходимо бороться теми или иными способами и никоим образом не становиться на колени. Все дело было в том, чтобы уберечь от гибели как можно больше людей, не дать им познать горечь бесповоротной разлуки. А для этого существовало лишь одно средство — побороть чуму. Сама по себе эта истина не способна вызвать восхищение, скорее уж она просто логична.

Вот почему вполне естественно, что старик Кастель вложил всю свою веру и всю свою энергию в производство сыворотки здесь, на месте,

из имеющихся под рукой материалов. И они с Риэ надеялись, что сыворотка, изготовленная из культур микроба, которым был поражен город, окажется более действенной, нежели сыворотка, полученная со стороны, ибо местный микроб слегка отличался от чумной бациллы, вернее, от классического ее описания. Кастель рассчитывал получить первую партию сыворотки в ближайшие же дни.

Именно поэтому также вполне естественно, что Гран — вот уж действительно личность не героическая — стал в эти дни как бы административным центром дружин. Часть дружин, созданных Тарру, взяла на себя работу по оказанию превентивной помощи в перенаселенных кварталах. Члены дружины пытались внедрить здесь необходимую гигиену, вели учет чердаков и подвалов, еще не прошедших дезинфекции. Остальные дружины помогали непосредственно врачам — выезжали с ними по вызовам на квартиры, обеспечивали перевозку больных и даже со временем при отсутствии специального персонала сами водили машины «скорой помощи» или фургоны для перевозки трупов. Все это требовало статистического учета, который и взял на себя Гран.

С известной точки зрения рассказчик склонен считать, что Гран даже в большей степени, чем Риэ или, скажем, Тарру, являлся подлинным представителем того спокойного мужества, какое вдохновляло дружины в их работе. Он сказал «да» не колеблясь, с присущей ему доброй волей… Только он попросил, чтобы его использовали на несложной работе, для сложной он уже стар. Между восемнадцатью и двадцатью часами его время в распоряжении доктора. И когда Риэ горячо поблагодарил его, он даже удивился: «Это же не самое трудное. Сейчас чума, ну ясно, надо с ней бороться. Ах, если бы все на свете было так же просто!» И он возвращался к своей недописанной фразе. Иногда вечерами, когда статистические подсчеты были кончены, Риэ беседовал с Граном. Мало-помалу к этим вечерним беседам они привлекли и Тарру, и Гран с явным удовольствием открывал свою душу перед двумя приятелями. А они с неослабевающим интересом следили за кропотливыми трудами Грана, которые он не бросил даже в разгар чумы. В конце концов это стало для них обоих своего рода разрядкой.

«Ну как амазонка?» — нередко спрашивал Тарру. И Гран с вымученной улыбкой всякий раз отвечал одними и теми же словами: «Скачет

себе, скачет!» Как-то вечером Гран сообщил, что он окончательно убрал эпитет «элегантная» применительно к своей амазонке и что отныне она будет фигурировать как «стройная». «Так точнее», — пояснил он. В другой раз он прочел своим слушателям первую фразу, переделанную заново: «Однажды, прекрасным майским утром, стройная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса».

— Ведь правда, так лучше ее видишь? — спросил он. — И потом, я предпочел написать «майским утром» потому, что «утро мая» отчасти замедляет скок лошади.

Затем он занялся эпитетом «великолепный». По его словам, это не звучит, а ему требуется термин, который с фотографической точностью сразу обрисовал бы роскошного коня, существующего в его воображении. «Откормленный» не пойдет, хоть и точно, зато чуточку пренебрежительно. Одно время он склонялся было к «ухоженный», но эпитет ритмически не укладывался во фразу. Однажды вечером он торжествующе возвестил, что нашел: «гнедой в яблоках». По его мнению, это, не подчеркивая, передает изящество животного.

— Но так же нельзя, — возразил Риэ.

— А почему?

— Потому что в яблоках — это тоже масть лошади, но не гнедая.

— Какая масть?

— Не важно какая, во всяком случае, в яблоках — это не гнедой.

Гран был поражен до глубины души.

— Спасибо, спасибо, — сказал он, — как хорошо, что я вам прочел. Ну, теперь вы сами убедились, как это трудно.

— А что, если написать «роскошный»? — предложил Тарру.

Гран взглянул на него. Он размышлял.

— Да, — наконец проговорил он, — именно так!

И постепенно губы его сложились в улыбку.

Через несколько дней он признался друзьям, что ему ужасно мешает слово «цветущий». Так как сам он нигде дальше Орана и Монтелимара не бывал, он приступил с расспросами к своим друзьям и требовал от них ответа — цветущие ли аллеи в Булонском лесу или нет? Откровенно говоря, ни на Риэ, ни на Тарру они никогда не производили впечатления особенно цветущих, но убедительные доводы Грана поколебали их уверенность. А он все дивился их сомнениям. «Лишь одни художники умеют видеть!» Как-то

доктор застал Грана в состоянии неестественного возбуждения. Он только что заменил «цветущие» на «полные цветов». Он радостно потирал руки. «Наконец-то их увидят, почувствуют. А ну-ка, шапки долой, господа!» И он торжественно прочел фразу: «Однажды, прекрасным майским утром, стройная амазонка неслась галопом на роскошном гнедом коне среди полных цветов аллей Булонского леса». Но прочитанные вслух три родительных падежа, заканчивающих фразу, звучали назойливо, и Гран запнулся. Он удрученно сел на стул. Потом попросил у доктора разрешения уйти. Ему необходимо подумать на досуге.

Как раз в это время — правда, узналось об этом позже — на работе он стал проявлять недопустимую рассеянность, что было воспринято как весьма прискорбное обстоятельство, особенно в те дни, когда мэрии с меньшим наличным составом приходилось справляться со множеством тяжелейших обязанностей. Работа явно страдала, и начальник канцелярии сурово отчитал Грана, заметив, что ему платят жалованье за то, что он выполняет работу, а он ее как раз и не выполняет. «Я слышал, — добавил начальник, — что вы на добровольных началах работаете для санитарных дружин в свободное от службы время.

Это меня не касается. Единственное, что меня касается, — это ваша работа здесь, в мэрии. И тот, кто действительно хочет приносить пользу в эти ужасные времена, в первую очередь обязан образцово выполнять свою работу. Иначе все прочее тоже ни к чему».

— Он прав, — сказал Гран доктору.

— Да, прав, — подтвердил Риэ.

— Я действительно стал рассеянным и не знаю, как распутаться с концом фразы.

Он решил вообще вычеркнуть слово «Булонский», полагая, что и так все будет понятно. Но тогда во фразе стало непонятно, что приписывается «цветам», а что «аллеям». Он подумывал было написать: «Аллеи леса, полные цветов». Но тогда лес получался между существительным и прилагательным, и эпитет, который он сознательно отрывал от существительного, торчал, как заноза. Но что правда, то правда, в иные вечера вид у него был еще более утомленный, чем у Риэ.

Да, Грана утомили эти поглощавшие его с головой поиски нужного слова, но тем не менее он не прекращал делать подсчеты и собирать статистические данные, необходимые санитарным дружинам. Каждый вечер он терпеливо вытаскивал свои карточки, выводил кривую и

изо всех сил старался дать по возможности наиболее точную картину. Нередко он заходил к Риэ в лазарет и просил, чтобы ему выделили стол в каком-нибудь кабинете или в приемной. Потом располагался со своими бумагами, совсем так, как у себя за столом в мэрии, и спокойно помахивал листком, чтобы поскорее высохли чернила, не замечая, что воздух вокруг словно бы сгущался от запаха дезинфицирующих средств и самой болезни. В такие часы он честно старался выкинуть из головы свою амазонку и делать только то, что положено.

И если люди действительно хотят, чтобы им давали некие возвышенные примеры и образцы, которые обычно именуют героическими, и если уж так необходимы нашей истории свои герои, рассказчик предлагает вниманию читателя совсем незначительного и бесцветного героя, у которого только и есть что сердечная доброта да идеал, на первый взгляд смехотворный. Таким образом, каждый получает свое: истина — то, что ей положено по праву, два, умноженные на два, — свою вечную четверку, а героизм — второстепенное и от века полагающееся ему место, как раз «за» и никогда не «перед» требованием всеобщего счастья. Да и нашей хронике благо-

даря этому придается вполне определенный характер, какой и должен быть у любого рассказа о подлинных фактах, предпринятого с добрыми чувствами, то есть с чувствами, которые ни слишком явно плохи, ни слишком экзальтированы в дурном театральном смысле этого слова.

Таково по крайней мере было мнение доктора Риэ, когда он читал газеты или слушал по радио слова призыва и ободрения, которые слал зачумленному городу мир, лежащий вовне. Одновременно с помощью, посылаемой по суше или по воздуху, радиоволны или печатное слово каждый божий день обрушивали на город, отныне такой одинокий, потоки трогательных или восторженных комментариев. И всякий раз самый стиль и тон их, эпический или риторический, выводил доктора из себя. Конечно, он понимал, что эти знаки внимания вовсе не притворство. Но они могли выражать себя только на том условном языке, которым люди пытаются выразить то, что связывает их с человечеством. И язык этот не мог быть применим к незначительным каждодневным трудам, скажем, того же Грана, поскольку не мог дать представления о том, что значил Гран в разгар эпидемии.

Иной раз в полночь, среди великого молча-

ния опустевшего ныне города, доктор, ложась в постель для короткого сна, настраивал радиоприемник. И из дальних уголков земли, через тысячи километров незнакомые братские голоса пытались неуклюже выразить свою солидарность, говорили о ней, но в то же самое время в них чувствовалось трагическое бессилие, так как не может человек по-настоящему разделить чужое горе, которое не видит собственными глазами. «Оран! Оран!» Напрасно призыв этот перелетал через моря, напрасно настораживался Риэ, вскоре волна красноречия разбухала и еще ярче подчеркивала главное различие, превращавшее Грана и оратора в двух посторонних друг другу людей. «Оран! Да, Оран!» «Но нет, — думал доктор, — есть только одно средство — это любить или умереть вместе. А они чересчур далеко».

Прежде чем перейти к рассказу о кульминации чумы, когда бедствие, собрав в кулак все свои силы, бросило их на город и окончательно им завладело, нам осталось еще рассказать о тех отчаянных, бесконечных и однообразных попытках, которые предпринимали отдельные люди, такие, как Рамбер, лишь бы вновь обрести свое счастье и отстоять от чумы ту часть самих себя, какую они упрямо защищали против всех

посягательств. Таков был их метод отвергать грозившее им порабощение, и, хотя это неприятие внешне было не столь действенное, как иное, рассказчик убежден, что в нем имелся свой смысл и оно свидетельствовало также при всей своей бесплодности и противоречиях о том, что в каждом из нас живет еще гордость.

Рамбер бился, не желая, чтобы чума захлестнула его с головой. Убедившись, что легальным путем покинуть город ему не удастся, он намеревался, о чем и сообщил Риэ, использовать иные каналы. Журналист начал с официантов из кафе. Официант кафе всегда в курсе всех дел. Но первый же, к кому он обратился, оказался как раз в курсе того, какая суровая кара полагается за подобные авантюры. А в одном кафе его приняли без дальних слов за провокатора. Только после случайной встречи с Коттаром у доктора Риэ дело сдвинулось с мертвой точки. В тот день Риэ с Рамбером говорили о бесплодных хлопотах, предпринятых журналистом в административных учреждениях. Через несколько дней Коттар столкнулся с Рамбером на улице и любезно поздоровался с ним, с недавних пор при общении со знакомыми он был особенно обходителен.

— Ну как, по-прежнему ничего? — осведомился

Коттар.

— Ничего.

— Да разве можно рассчитывать на чиновников? Не затем они сидят в канцеляриях, чтобы понимать людей.

— Совершенно верно. Но я пытаюсь найти какой-нибудь другой ход. А это трудно.

— Еще бы, — подтвердил Коттар.

Но оказалось, ему известны кое-какие обходные пути, и на недоуменный вопрос Рамбера он объяснил, что уже давным-давно считается своим в большинстве оранских кафе, что там у него повсюду друзья и что ему известно о существовании организации, занимающейся делами такого рода. Истина же заключалась в том, что Коттар, тративший больше, чем зарабатывал, был причастен к контрабанде нормированных товаров. Он перепродавал сигареты и плохонькие алкогольные напитки, цены на которые росли с каждым днем, и уже сколотил себе таким образом небольшое состояние.

— А вы в этом уверены? — спросил Рамбер.

— Да, мне самому предлагали.

— И вы не воспользовались?

— Грешно не доверять ближнему, — благодушно произнес Коттар, — я не воспользовался

потому, что я лично не хочу отсюда уезжать. У меня на то свои причины.

И после короткого молчания добавил:

— А вас не интересует, какие именно причины?

— По-моему, это меня не касается, — ответил Рамбер.

— В каком-то смысле правильно, не касается. А с другой стороны... Ну, словом, для меня одно ясно: с тех пор как у нас чума, мне как-то вольготнее стало.

Выслушав слова Коттара, Рамбер спросил:

— А как связаться с этой организацией?

— Дело трудное, — вздохнул Коттар, — идите со мной.

Было уже четыре часа. Под тяжело нависшим раскаленным небом город пекся, как на медленном огне. Витрины магазинов были прикрыты шторами. На улицах ни души. Коттар с Рамбером свернули под аркады и долго шагали молча. Был тот час, когда чума превращалась в невидимку. Эта тишина, эта мертвенность красок и движений в равной мере могли быть приметой и оранского лета, и чумы. Попробуй угадай, чем насыщен неподвижный воздух — угрозами или пылью и зноем. Чтобы постичь чуму, надо было

наблюдать, раздумывать. Ведь она проявляла себя лишь, так сказать, негативными признаками. Так, Коттар, у которого были с нею особые контакты, обратил внимание Рамбера на отсутствие собак — в обычное время они валялись бы у порога, судорожно ловя раскрытой пастью горячий воздух, в поисках несуществующей прохлады.

Они прошли Пальмовым бульваром, пересекли Оружейную площадь и очутились во Флотском квартале. Налево кафе, выкрашенное в зеленую краску, пыталось укрыться под косыми шторами из плотной желтой ткани. Очутившись в помещении, оба одинаковым жестом утерли взмокшие лбы. Потом уселись на складных садовых стульчиках перед столиком, крытым железным листом, тоже выкрашенным зеленой краской. В зале не было ни души. Под потолком гудели мухи. Облезлый попугай, сидевший в желтой клетке, водруженной на колченогий прилавок, уныло цеплялся за жердочку. По стенам висели старые картины на батальные сюжеты, и все вокруг было покрыто налетом грязи и густо оплетено паутиной. На всех столиках и даже под самым носом Рамбера лежали кучки куриного помета, и журналист никак не мог понять, откуда бы взяться тут помету, но вдруг в темном углу

что-то зашевелилось, завозилось и, подрагивая на голенастых лапах, в середину зала вышел роскошный петух.

С его появлением зной, казалось, еще усилился. Коттар снял пиджак и постучал по столику. Какой-то коротышка, путаясь в длинном не по росту синем переднике, вышел из заднего помещения, заметив Коттара, поклонился еще издали и направился к их столику, по пути отшвырнув петуха свирепым пинком ноги, и под негодующий клекот кочета спросил у господ, чем может им служить. Коттар заказал себе стакан белого и осведомился о каком-то Гарсиа. По словам официанта-карлика, Гарсиа уже несколько дней в их кафе не появлялся.

— А вечером он, по-вашему, придет?

— Поди знай, — ответил официант. — Вам же известно, в какие часы он бывает.

— Да, но, в сущности, дело терпит. Я только хотел познакомить его с моим приятелем.

Официант вытер взмокшие ладони о передник.

— Мсье тоже делами занимается?

— Ясно, — ответил Коттар.

Карлик шумно втянул воздух:

— Тогда приходите вечером. Я мальчика за ним

пошлю.

На улице Рамбер спросил, о каких делах шла речь.

— Понятно, о контрабанде. Они провозят товары через городские ворота. И продают их по высоким ценам.

— Чудесно, — сказал Рамбер. — Значит, у них есть сообщники?

— А как же!

Вечером штора кафе оказалась поднятой, попугай без умолку трещал что-то в своей клетке, а вокруг железных столиков, сняв пиджаки, сидели посетители. Один из них, лет тридцати, в сбитом на затылок соломенном канотье, в белой рубашке, распахнутой на бурой груди, поднялся с места при появлении Коттара. Лицо у него было с правильными чертами, сильно загорелое, глаза черные, маленькие, на пальцах сидело несколько перстней, белые зубы поблескивали.

— Привет, — сказал он, — пойдем к стойке, выпьем.

Они молча выпили, угощали по очереди все трое.

— А что, если выйдем? — предложил Гарсиа.

Они направились к порту, и Гарсиа спросил, что от него требуется. Коттар сказал, что он хотел

познакомить с ним Рамбера не совсем по их делу, а по поводу того, что он деликатно назвал «вылазкой». Зажав сигарету в зубах, Гарсиа шагал, не глядя на своих спутников. Задавал вопросы, говорил о Рамбере «он» и, казалось, вообще не замечал его присутствия.

— А зачем? — спросил он.

— У него жена во Франции.

— А-а!

И после паузы:

— Чем он занимается?

— Журналист.

— При ихнем ремесле язык за зубами держать не умеют.

Рамбер промолчал.

— Он друг, — сказал Коттар.

Снова они зашагали в молчании. Наконец добрались до набережной, вход туда был перекрыт высокими воротами. Но они направились прямо к ларьку, где торговали жареными сардинками, далеко распространявшими аппетитный аромат.

— Вообще-то, — заключил Гарсиа, — это не по моей части, этим Рауль занимается. А его еще найти надо. Дело сложное.

— Значит, он скрывается? — взволнованно осведомился Коттар.

Гарсиа не ответил. У ларька он остановился и впервые поглядел в лицо Рамберу.

— Послезавтра в одиннадцать часов на углу, у таможенной казармы в верхней части города.

Он сделал вид, что уходит, но вдруг повернулся к своим собеседникам.

— Расходы будут, — сказал он.

Прозвучало это как нечто само собой разумеющееся.

— Ясно, — поспешил согласиться Рамбер.

Когда несколько минут спустя журналист поблагодарил Коттара, тот весело ответил:

— Да не за что. Мне просто приятно оказать вам услугу. И к тому же вы журналист, при случае сквитаемся.

А еще через день Рамбер с Коттаром шли по широким улицам, не знавшим зелени и тени, к верхней части города. Одно крыло казармы превратили в лазарет, и перед воротами стояла толпа: кто надеялся, что его пропустят внутрь, хотя посещения были строжайше запрещены, кто хотел навести справку о состоянии больного, забывая, что сведения почти всегда запаздывают. Так или иначе, увидев эту толпу и беспрерывное хождение взад и вперед, Рамбер понял, что, назначая свидание, Гарсиа учел эту толчею.

— Странно все-таки, — начал Коттар, — почему вам так приспичило уехать? Ведь сейчас в городе творятся интересные вещи.

— Только не для меня, — ответил Рамбер.

— Ну ясно, все-таки известный риск есть. Но в конце концов и до чумы риск был, попробуйте-ка перейти бойкий перекресток.

В эту минуту рядом с ними остановился автомобиль Риэ. За рулем сидел Тарру, а доктор, казалось, дремлет. Однако он проснулся и представил журналиста Тарру.

— Мы уже знакомы, — сказал Тарру, — в одном отеле живем.

Он предложил Рамберу довезти его до центра.

— Нет, спасибо, у нас здесь назначено свидание.

Риэ взглянул на Рамбера.

— Да, — подтвердил тот.

— Ого, — удивился Коттар, — значит, доктор тоже в курсе дела?

— А вот и следователь идет, — заметил Тарру и посмотрел на Коттара.

Коттар даже побледнел. И верно, по улице шествовал господин Отон, шагал он энергично, но размеренно. Поравнявшись с машиной, он приподнял шляпу.

— Добрый день, господин следователь! — сказал Тарру.

Следователь, в свою очередь, пожелал доброго дня сидящим в машине и, оглядев стоявших поодаль Коттара и Рамбера, важно наклонил голову. Тарру представил ему рантье и журналиста. Следователь вскинул на миг глаза к небу и, вздохнув, заявил, что настали печальные времена.

— Мне сообщили, господин Тарру, что вы взялись за внедрение профилактических мер. Не могу не выразить своего восхищения. Как по-вашему, доктор, эпидемия еще распространится?

Риэ выразил надежду, что нет, и следователь повторил, что никогда не нужно терять надежды, ибо пути Господни неисповедимы. Тарру осведомился, не повлияли ли последние события на объем работы.

— Напротив, дел, которые мы называем уголовными, стало меньше. В основном приходится рассматривать дела о серьезном нарушении последних распоряжений. Никогда еще так не чтили старых законов.

— А это значит, — улыбнулся Тарру, — что по сравнению с новыми они оказались хороши.

Со следователя мигом слетел подчеркнуто мечтательный вид, даже отрешенный взор оторвался

от созерцания небес. И он холодно посмотрел на Тарру.

— Ну и что ж из этого? — сказал он. — Важен не закон, а наказание. Следствие здесь ни при чем.

— Вот вам враг номер один, — проговорил Коттар, когда следователь скрылся в толпе.

Машина отъехала от тротуара.

Через несколько минут Рамбер и Коттар увидели направляющегося к ним Гарсиа. Он подошел вплотную и вместо приветствия бросил: «Придется подождать».

Вокруг них толпа, состоявшая главным образом из женщин, ждала в полном молчании. Почти все принесли с собой корзиночки, питая несбыточную надежду как-нибудь передать их своим больным и еще более безумную мысль, что тому нужна эта передача. Вход охраняли часовые при оружии; время от времени со двора, отделявшего здание казармы от улицы, долетал странный крик. И сразу же вся толпа поворачивала к лазарету встревоженные лица.

Трое мужчин молча глядели на это зрелище, когда за их спиной вдруг раздалось отрывистое и важное «здрасьте», и они, как по команде, обернулись. Несмотря на жару, Рауль был одет, как будто собрался на прием. Двубортный темный костюм

ладно облегал его высокую, сильную фигуру, а на голове красовалась фетровая шляпа с загнутыми кверху полями. Лицо у него было бледное, глаза темные, губы плотно сжаты, говорил он быстро и четко.

— Идите по направлению к центру, — приказал он, — а ты, Гарсиа, можешь уйти.

Гарсиа закурил сигарету и остался стоять на месте. Все трое шли быстро, и Рамбер с Коттаром старались приноровиться к шагу Рауля, который шествовал в середине.

— Гарсиа мне сказал, — проговорил Рауль. — Сделать можно. Во всяком случае, потянет десять тысяч франков.

Рамбер сказал, что согласен.

— Позавтракаем завтра в испанском ресторане на Флотской.

Рамбер снова сказал, что согласен, и Рауль, пожав ему руку, впервые улыбнулся. После его ухода Коттар извинился, завтра он занят, впрочем, Рамбер обойдется и без его содействия.

Когда на следующий день журналист вошел в испанский ресторан, все головы повернулись в его сторону. Этот тенистый погребок, куда приходилось спускаться по нескольким ступеням, был расположен на желтой, иссушенной зноем улоч-

ке, и посещали его только мужчины, в основном испанского типа. Но когда Рауль, сидевший за дальним столиком, махнул журналисту, приглашая его подойти, и Рамбер направился к нему, все присутствующие сразу утратили к нему интерес и уткнулись в тарелки. За столиком рядом с Раулем восседал какой-то длинный небритый субъект с неестественно широкими при такой худобе плечами, с лошадиной физиономией и сильно поредевшей шевелюрой. Рукава рубашки были засучены и открывали длинные тонкие руки, густо обросшие черной шерстью. Рауль представил ему журналиста, и незнакомец трижды мотнул головой. Имя его Рамберу не назвали, и Рауль, говоря с ним, называл его просто «наш друг».

— Наш друг надеется, что сможет вам помочь. Он вас…

Рауль замолчал потому, что к Рамберу подошла официантка принять заказ.

— Он вас сейчас сведет с двумя нашими друзьями, а те, в свою очередь, познакомят со стражниками, с которыми мы связаны. Но это еще не все. Стражники сами должны выбрать наиболее удобное время. Самое, по-моему, простое — это переночевать две-три ночи у кого-нибудь из стражников, живущих поблизости от ворот.

Но предварительно наш друг обеспечит вам несколько необходимых контактов. Когда все будет улажено, деньги передадите ему.

«Наш друг» снова качнул своей лошадиной головой, не переставая жевать салат из помидоров и сладкого перца, на который он особенно налегал. Потом он заговорил с легким испанским акцентом. Он предложил Рамберу встретиться послезавтра в восемь утра на паперти собора.

— Еще два дня, — протянул Рамбер.

— Дело нелегкое, — сказал Рауль. — Надо ведь людей найти.

«Наш друг» Конь энергично подтвердил эти слова кивком головы, и Рамбер вяло согласился. Завтрак проходил в непрерывных поисках темы для разговора. Но когда Рамберу удалось обнаружить, что Конь еще и футболист, все чрезвычайно упростилось. В свое время и он сам усердно занимался футболом. Разговор, естественно, перешел на чемпионат Франции, на достоинства английских профессиональных команд и тактику «дубль ве». К концу завтрака Конь совсем разошелся, обращался к Рамберу уже на ты, старался убедить его, что в любой команде «выгоднее всего играть в полузащите». «Пойми ты, — твердил он, — ведь как раз полузащита определяет игру. А

это в футболе главное». Рамбер соглашался, хотя сам всегда играл в нападении. Но тут их спору положило конец радио, несколько раз подряд повторившее под сурдинку позывные — какую-то сентиментальную мелодию, — вслед за чем было сообщено, что вчера чума унесла сто тридцать семь жертв. Никто из присутствующих даже не оглянулся. Конь пожал плечами и встал. Рауль с Рамбером последовали его примеру.

На прощание полузащитник энергично потряс руку Рамберу и заявил:

— Меня зовут Гонсалес.

Два последующих дня показались Рамберу нескончаемо долгими. Он отправился к Риэ и во всех подробностях рассказал ему о предпринятых шагах. Потом увязался за доктором и распрощался с ним у дверей дома, где лежал больной с подозрением на чуму. В коридоре слышался топот ног и голоса: это соседи пришли предупредить семью больного о прибытии врача.

— Только бы Тарру не запоздал, — пробормотал Риэ. Вид у него был усталый.

— Эпидемия, видно, набирает темпы, — сказал Рамбер.

Риэ ответил, что не в этом главное, что кривая заболеваний даже медленнее, чем раньше, ползет

вверх. Просто нет еще достаточно эффективных средств борьбы с чумой.

— Нам не хватает материалов, — пояснил он. — В любой армии мира недостаток материальной части обычно восполним людьми. А у нас и людей тоже не хватает.

— Но ведь в город прибыли врачи и санитары.

— Верно, прибыли, — согласился Риэ. — Десять врачей и примерно сотня санитаров. На первый взгляд вроде как бы и много. Но этого едва хватает на данной стадии эпидемии. А если эпидемия усилится, тогда совсем уж не хватит.

Риэ прислушался к суматохе в доме и затем улыбнулся Рамберу.

— Да, — проговорил он, — советую вам не мешкать на пути к удаче.

По лицу Рамбера прошла тень.

— Ну вы же знаете, — глухо произнес он, — я вовсе не потому стремлюсь отсюда вырваться.

Риэ подтвердил, что знает, но Рамбер не дал ему договорить:

— Полагаю, что я не трус, во всяком случае, трушу редко. У меня было достаточно случаев проверить это. Но есть мысли, для меня непереносимые.

Доктор взглянул ему прямо в лицо.

— Вы с ней встретитесь, — сказал он.

— Возможно, но я физически не могу переносить мысль, что все это затянется и что она тем временем будет стариться. В тридцать лет человек уже начинает стариться, и поэтому надо пользоваться каждой минутой… Не знаю, поймете ли вы меня?

Риэ пробормотал, что поймет, но тут появился весьма оживленный Тарру.

— Только что говорил с отцом Панлю, предложил ему вступить в дружину.

— Ну и что же он? — спросил доктор.

— Сначала подумал, потом согласился.

— Очень рад, — сказал доктор. — Рад, что он лучше, чем его проповеди.

— Все люди таковы, — заявил Тарру. — Надо только дать им подходящий случай. — Он улыбнулся и подмигнул Риэ: — Видно, у меня такая специальность — давать людям подходящие случаи.

— Простите меня, — сказал Рамбер, — но мне пора.

В назначенный четверг Рамбер явился на паперть собора без пяти восемь. Было еще довольно свежо. По небу расплывались белые круглые облачка, но скоро нарождающийся зной погло-

тит их без остатка. Волна влажных запахов еще долетала с лужаек, уже порядком выжженных зноем. Солнце, скрывавшееся за домами восточной части города, успело коснуться только каски Жанны д'Арк, ее позолоченная с головы до ног статуя была главным украшением площади. Часы пробили восемь. Рамбер прошелся взад и вперед под сводами пустынной паперти. Из собора долетали обрывки песнопений вместе с застарелым запахом ладана и подвальной сырости. Вдруг песнопения прекратились. Дюжина маленьких человечков в черном высыпала из храма и затопала по улицам. Рамбера взяло нетерпение. Тут новые черные фигурки поднялись по высоким ступеням и направились к паперти. Он зажег было сигарету, но тут же спохватился: место для курения выбрано не совсем удачно.

В восемь пятнадцать потихоньку, под сурдинку, заиграл соборный орган. Рамбер вошел под темные своды. Сначала он различил только маленькие черные фигурки, которые прошли мимо него к нефу. Они сгрудились в углу перед импровизированным алтарем, где недавно водрузили статую святого Роха, выполненную по срочному заказу в одной из скульптурных мастерских нашего города. Теперь коленопреклоненные

фигурки, казалось, совсем сжались и здесь, среди этой извечной серости, были словно комочки сгустившейся тени, разве что чуть-чуть плотнее и подвижнее, чем поглощавшая их дымка. А над их головами орган без передышки играл все одну и ту же тему с вариациями.

Когда Рамбер вышел, Гонсалес уже спускался с лестницы, очевидно, направляясь к центру.

— А я думал, ты уже ушел, — сказал он журналисту. — И правильно бы сделал.

В пояснение своих слов он сообщил, что ждал друзей, с которыми у него было назначено свидание неподалеку отсюда в семь пятьдесят пять. Но только зря прождал целых двадцать минут.

— Что-то им помешало, это ясно. В нашем деле не все идет гладко.

Он предложил встретиться завтра в то же время у памятника павшим. Рамбер со вздохом сдвинул фетровую шляпу на затылок.

— Ничего, ничего, — смеясь, проговорил Гонсалес. — Сам знаешь, сколько приходится делать пасов, комбинаций, финтов, прежде чем забьешь гол.

— Разумеется, — согласился Рамбер. — Но ведь матч длится всего полтора часа.

Памятник павшим стоит как раз на том един-

ственном в Оране месте, откуда видно море, на коротком променаде, идущем вдоль отрогов гор над портом. На следующий день Рамбер — на свидание он опять явился первым — внимательно прочитал список погибших на поле брани.

Через несколько минут появились еще какие-то двое, равнодушно взглянули на Рамбера, отошли, оперлись о балюстраду, огораживавшую променад, и, казалось, погрузились в созерцание пустых и безлюдных набережных. Оба были одинакового роста, оба одеты в одинаковые синие брюки и морские тельняшки с короткими рукавами. Журналист отошел от памятника, присел на скамью и от нечего делать стал разглядывать незнакомцев. Тут только он заметил, что с виду им было не больше чем по двадцати. Но в эту минуту он увидел Гонсалеса, который еще на ходу извинялся за опоздание.

— Вот они, наши друзья, — сказал он, подведя Рамбера к молодым людям, и представил их — одного под именем Марсель, а другого под именем Луи. Они и лицом оказались похожи, и Рамбер решил, что это родные братья. — Ну вот, — сказал Гонсалес. — Теперь вы познакомились. Осталось только обговорить дело.

Марсель, а может, Луи, сказал, что их смена в

карауле начинается через два дня, что продлится она неделю и важно выбрать наиболее подходящий день. Их пост из четырех человек охраняет западные ворота, и двое из постовых — кадровые военные. И речи быть не может о том, чтобы посвятить их в операцию. Во-первых, это народ ненадежный, а во-вторых, в таком случае вырастут расходы. Но иногда их коллеги проводят часть ночи в заднем помещении одного знакомого им бара. Марсель, а может, Луи, предложил поэтому Рамберу поселиться у них — это рядом с воротами — и ждать, когда за ним придут. Тогда выбраться из города будет несложно. Но следует поторопиться, потому что поговаривают, будто в ближайшие дни установят усиленные наряды с наружной стороны.

Рамбер одобрил план действий и угостил братьев своими последними сигаретами. Тот из двух, который пока еще не раскрывал рта, вдруг спросил Гонсалеса, улажен ли вопрос с вознаграждением и нельзя ли получить аванс.

— Не надо, — ответил Гонсалес, — это свой парень. Когда все будет сделано, тогда и заплатит.

Договорились о новой встрече. Гонсалес предложил послезавтра пообедать в испанском ресторане. А оттуда можно будет отправиться

домой к братьям-стражникам.

— Первую ночь, хочешь, я тоже там переночую, — предложил он Рамберу.

На следующий день Рамбер, поднимавшийся в свой номер, столкнулся на лестнице с Тарру.

— Иду к Риэ, — сообщил Тарру. — Хотите со мной?

— Знаете, мне всегда почему-то кажется, будто я ему мешаю, — нерешительно отозвался Рамбер.

— Не думаю, он мне часто о вас говорил.

Журналист задумался.

— Послушайте-ка, — сказал он. — Если у вас к вечеру, пусть даже совсем поздно, выпадет свободная минутка, лучше приходите оба в бар, сюда, в отель.

— Ну, это уж будет зависеть от него и от чумы, — ответил Тарру.

Однако в одиннадцать часов оба — и Риэ и Тарру — входили в узкий, тесный бар отеля. Человек тридцать посетителей толклись в маленьком помещении, слышался громкий гул голосов. Оба невольно остановились на пороге — после гробовой тишины зачумленного города их даже ошеломил этот шум. Но они сразу догадались о причине такого веселья — здесь еще подавали алкогольные напитки. Рамбер, сидевший на

высоком табурете в дальнем углу перед стойкой, помахал им рукой. Они подошли, и Тарру хладнокровно отодвинул в сторону какого-то не в меру расшумевшегося соседа.

— Алкоголь вас не пугает?

— Нет, напротив, — ответил Тарру.

Риэ втягивал ноздрями горьковатый запах трав, идущий из стакана. Разговор в таком шуме не клеился, да и Рамбер, казалось, интересуется не ими, а алкоголем. Доктор так и не мог решить, пьян журналист или еще нет. За одним из двух столиков, занимавших все свободное пространство тесного бара, сидел морской офицер с двумя дамами — по правую и левую руку — и рассказывал какому-то краснолицему толстяку, четвертому в их компании, об эпидемии тифа в Каире.

— Лагеря! — твердил он. — Там устроили для туземцев специальные лагеря, разбили палатки и вокруг выставили военный кордон, которому был дан приказ стрелять в родных, когда они пытались тайком передать больному снадобье от знахарки. Конечно, мера, может, суровая, но справедливая.

О чем говорили за другим столиком чересчур элегантные молодые люди, разобрать было

нельзя — и без того непонятные отдельные фразы терялись в рубленом ритме «Saint James Infirmary»*, рвавшемся из проигрывателя, вознесенного над головами посетителей.

— Ну как, рады? — спросил Риэ, повысив голос.

— Теперь уже скоро, — ответил Рамбер. — Возможно, даже на этой неделе.

— Жаль! — крикнул Тарру.

— Почему жаль?

Тарру оглянулся на Риэ.

— Ну, знаете, — сказал доктор. — Тарру считает, что вы могли бы быть полезным здесь, и потому так говорит, но я лично вполне понимаю ваше желание уехать.

Тарру заказал еще по стакану. Рамбер спрыгнул с табуретки и впервые за этот вечер посмотрел прямо в глаза Тарру:

— А чем я могу быть полезен?

— Как это чем? — ответил Тарру, неторопливо беря стакан. — Ну хотя бы в наших санитарных дружинах.

Рамбер задумался и молча взобрался на табуретку, лицо его приняло обычное для него упрямое и хмурое выражение.

— Значит, по-вашему, наши дружины не приносят пользы? — спросил Тарру, ставя пустой

стакан и пристально глядя на Рамбера.

— Конечно, приносят, и немалую, — ответил журналист и тоже выпил.

Риэ заметил, что рука у него дрожит. И решил про себя: да, действительно, Рамбер сильно на взводе.

На следующий день, когда Рамбер во второй раз подошел к испанскому ресторану, ему пришлось пробираться среди стульев, стоявших прямо на улице у входа, их вытащили из помещения посетители, чтобы насладиться золотисто-зеленым вечером, уже приглушавшим дневную жару. Курили они какой-то особенно едкий табак. В самом ресторане было почти пусто. Рамбер выбрал тот самый дальний столик, за которым они впервые встретились с Гонсалесом. Официантке он сказал, что ждет знакомого. Было уже семь тридцать. Мало-помалу сидевшие снаружи возвращались в зал и устраивались за столиками. Официантки разносили еду, и под низкими сводами ресторана гулко отдавался стук посуды и приглушенный говор. А Рамбер все ждал, хотя было восемь. Наконец дали свет. Новые посетители уселись за его столик. Рамбер тоже заказал себе обед. И кончил обедать в половине девятого, так и не увидев ни Гонсалеса, ни братьев-стражников. Он

закурил. Ресторан постепенно обезлюдел. Там, за его стенами, стремительно сгущалась тьма. Теплый ветерок с моря ласково вздувал занавески на окнах. В девять часов Рамбер заметил, что зал совсем опустел и официантка с удивлением поглядывает на него. Он расплатился и вышел. Напротив ресторана еще было открыто какое-то кафе. Рамбер устроился у стойки, откуда можно было видеть вход в ресторан. В девять тридцать он отправился к себе в отель, стараясь сообразить, как бы найти Гонсалеса, не оставившего ему адреса, и сердце его щемило при мысли, что придется начинать все заново.

Как раз в эту минуту во мраке, исполосованном фарами санитарных машин, Рамбер вдруг отдал себе отчет — и впоследствии сам признался в этом доктору Риэ, — что за все это время ни разу не вспомнил о своей жене, поглощенный поисками щелки в глухих городских стенах, отделявших их друг от друга. Но в ту же самую минуту, когда все пути снова были ему заказаны, он вдруг ощутил, что именно она была средоточием всех его желаний, и такая внезапная боль пронзила его, что он сломя голову бросился в отель, лишь бы скрыться от этого жестокого ожога, от которого нельзя было убежать и от которого ломило виски.

Однако на следующий день он с самого утра зашел к Риэ спросить, как увидеться с Коттаром.

— Единственное, что мне остается, — признался он, — это начать все заново.

— Приходите завтра вечерком, — посоветовал Риэ. — Тарру попросил меня зачем-то позвать Коттара. Он придет часам к десяти. А вы загляните в половине одиннадцатого.

Когда на следующий день Коттар явился к доктору, Тарру и Риэ как раз говорили о неожиданном случае выздоровления, происшедшем в лазарете Риэ.

— Один из десяти. Повезло человеку, — заметил Тарру.

— Значит, у него не чума была, — объявил Коттар.

Его поспешили заверить, что была как раз чума.

— Да какая там чума, раз он выздоровел. Вы не хуже меня знаете, что чума пощады не дает.

— В общем-то вы правы, — согласился Риэ. — Но если очень налечь, могут быть и неожиданности.

Коттар хихикнул:

— Ну это как сказать. Последнюю вечернюю сводку слышали?

Тарру, благожелательно поглядывавший на Коттара, ответил, что слышал, что положение действительно очень серьезное, но что это, в сущности, доказывает? Доказывает лишь то, что необходимо принимать сверхмеры.

— Э-э! Вы же их принимаете!

— Принимать-то принимаем, но пусть каждый тоже принимает.

Коттар тупо уставился на Тарру. А Тарру сказал, что большинство людей сидит сложа руки, что эпидемия — дело каждого и каждый обязан выполнять свой долг. В санитарные дружины принимают всех желающих.

— Что ж, это правильно, — согласился Коттар, — только все равно зря. Чума сильнее.

— Когда мы испробуем все, тогда увидим, — терпеливо договорил Тарру.

Во время этой беседы Риэ сидел за столом и переписывал набело карточки. А Тарру по-прежнему в упор смотрел на Коттара, беспокойно ерзавшего на стуле.

— Почему бы вам не поработать с нами, мсье Коттар?

Коттар с оскорбленной миной вскочил со стула, взял шляпу.

— Это не по моей части.

И добавил вызывающим тоном:

— Впрочем, мне чума как раз на руку. И с какой это стати я буду помогать людям, которые с ней борются.

Тарру хлопнул себя ладонью по лбу, будто его внезапно осенила истина:

— Ах да, я забыл: не будь чумы, вас бы арестовали.

Коттар даже подскочил и схватился за спинку стула, будто боялся рухнуть на пол. Риэ отложил ручку и кинул на него внимательный, серьезный взгляд.

— Кто это вам сказал? — крикнул Коттар.

Тарру удивленно поднял брови и ответил:

— Да вы сами. Или, вернее, мы с доктором так вас поняли.

И пока Коттар в приступе неодолимой ярости лопотал что-то невнятное, Тарру добавил:

— Да не нервничайте вы так. Уж во всяком случае, мы с доктором на вас доносить не пойдем. Ваши дела нас не касаются. И к тому же мы сами не большие любители полиции. А ну, присядьте-ка.

Коттар недоверчиво покосился на стул и не сразу решился сесть. Он помолчал, потом глубоко вздохнул.

— Это уже старые дела, — признался он, — но они вытащили их на свет божий. А я надеялся, что все уже забыто. Но кто-то, видать, постарался. Они меня вызвали и велели никуда не уезжать до конца следствия. Тут я понял, что рано или поздно они меня зацапают.

— Дело-то серьезное? — спросил Тарру.

— Все зависит от того, что понимать под словом «серьезное». Во всяком случае, не убийство…

— Тюрьма или каторжные работы?

Коттар совсем приуныл:

— Если повезет — тюрьма…

Но после короткой паузы он живо добавил:

— Ошибка вышла. Все ошибаются. Только я не могу примириться с мыслью, что меня схватят, все у меня отнимут: и дом, и привычки, и всех, кого я знаю.

— А-а, — протянул Тарру, — значит, поэтому вы и решили повеситься?..

— Да, поэтому. Глупо, конечно, все это.

Тут поднял голос молчавший до сих пор Риэ и сказал, что он вполне понимает тревогу Коттара, но, возможно, все еще образуется.

— Знаю, знаю, в данный момент мне бояться нечего.

— Итак, я вижу, вы в дружину поступать не

собираетесь, — заметил Тарру.

Коттар судорожно мял в руках шляпу и вскинул на Тарру боязливый взгляд:

— Только вы на меня не сердитесь…

— Господь с вами, — улыбнулся Тарру. — Но хотя бы постарайтесь не распространять ради вашей же пользы чумного микроба.

Коттар запротестовал: вовсе он чумы не хотел, она сама пришла, и не его вина, если чума его устраивает. И когда на пороге появился Рамбер, Коттар энергично добавил:

— Впрочем, я убежден, все равно ничего вы не добьетесь.

От Коттара Рамбер узнал, что тому тоже не известен адрес Гонсалеса, но можно попытаться снова сходить в первое кафе, то, маленькое. Решили встретиться завтра. И так как Риэ выразил желание узнать результаты переговоров, Рамбер пригласил их с Тарру зайти в конце недели прямо к нему в номер в любой час ночи.

Наутро Коттар и Рамбер отправились в маленькое кафе и велели передать Гарсиа, что будут ждать его нынче вечером, а в случае какой-либо помехи завтра… Весь вечер они прождали зря. Зато на следующий день Гарсиа явился. Он молча выслушал рассказ о злоключениях Рамбера.

Лично он не в курсе дел, но слыхал, что недавно оцепили несколько кварталов и в течение суток прочесывали там все дома подряд. Очень возможно, что Гонсалесу и братьям не удалось выбраться из оцепления. Все, что он может сделать, — это снова свести их с Раулем. Ясно, на встречу раньше, чем через день-другой, рассчитывать не приходится.

— Видно, надо начинать все сначала, — заметил Рамбер.

Когда Рамбер встретился с Раулем на условленном месте, на перекрестке, тот подтвердил предположения Гарсиа — все нижние кварталы города действительно оцеплены. Надо бы попытаться восстановить связь с Гонсалесом. А через два дня Рамбер уже завтракал с футболистом.

— Вот ведь глупость какая, — твердил Гонсалес. — Мы должны были договориться, как найти друг друга.

Того же мнения придерживался и Рамбер.

— Завтра утром пойдем к мальчикам, попытаемся что-нибудь устроить.

На следующий день мальчиков не оказалось дома. Им назначили свидание назавтра в полдень на Лицейской площади. И Тарру, встретивший после обеда Рамбера, был поражен убитым выра-

жением его лица.

— Не ладится? — спросил Тарру.

— Да. Вот тебе и начали сначала, — ответил Рамбер.

И он повторил свое приглашение:

— Заходите сегодня вечером.

Вечером, когда гости вошли в номер Рамбера, хозяин лежал на постели. Он поднялся и сразу же налил приготовленные заранее стаканы. Риэ, взяв свой стакан, осведомился, как идут дела. Журналист ответил, что он уже заново проделал весь круг, что опять вернулся к исходной позиции и что скоро у него будет еще одна встреча, последняя. Выпив, он добавил:

— Только опять они не придут.

— Не следует обобщать, — сказал Тарру.

— Вы ее еще не раскусили, — ответил Рамбер, пожимая плечами.

— Кого ее?

— Чуму.

— А-а, — протянул Риэ.

— Нет, вы не поняли, что чума — это значит начинать все сначала.

Рамбер отошел в угол номера и завел небольшой патефон.

— Что это за пластинка? — спросил Тарру. —

Что-то знакомое.

Рамбер сказал, что это «Saint James Infirmary».

Пластинка еще продолжала вертеться, когда вдали послышалось два выстрела.

— По собаке или по беглецу бьют, — заметил Тарру.

Через минуту патефон замолчал, и совсем рядом прогудел клаксон санитарной машины, звук окреп, пробежал под окнами номера, ослаб и наконец затих вдали.

— Занудная пластинка, — сказал Рамбер. — И к тому же я прослушал ее сегодня раз десять.

— Она вам так нравится?

— Да нет, просто другой нету.

И добавил, помолчав:

— Говорю же вам, что это значит начинать все сначала…

Он осведомился у Риэ, как работают санитарные дружины. Сейчас насчитывается уже пять дружин. Есть надежда сформировать еще несколько. Журналист присел на край кровати и с подчеркнутым вниманием стал рассматривать свои ногти. Риэ приглядывался к коренастой сильной фигуре Рамбера и вдруг заметил, что Рамбер тоже смотрит на него.

— А знаете, доктор, — проговорил журна-

лист, — я много думал о ваших дружинах. И если я не с вами, то у меня на то есть особые причины. Не будь их, думаю, я охотно рискнул бы своей шкурой — я ведь в Испании воевал.

— На чьей стороне? — спросил Тарру.

— На стороне побежденных. Но с тех пор я много размышлял.

— О чем? — осведомился Тарру.

— О мужестве. Теперь я знаю, человек способен на великие деяния. Но если при этом он не способен на великие чувства, он для меня не существует.

— Похоже, что человек способен на все, — заметил Тарру.

— Нет-нет, он не способен долго страдать или долго быть счастливым. Значит, он не способен ни на что дельное.

Рамбер посмотрел поочередно на своих гостей и спросил:

— А вот вы, Тарру, способны вы умереть ради любви?

— Не знаю, но думаю, что сейчас нет, не способен...

— Вот видите. А ведь вы способны умереть за идею, это невооруженным глазом видно. Ну а с меня хватит людей, умирающих за идею. Я не

верю в героизм, я знаю, что быть героем легко, и я знаю теперь, что этот героизм губителен. Единственное, что для меня ценно, — это умереть или жить тем, что любишь.

Риэ внимательно слушал журналиста. Не отводя от него глаз, он мягко проговорил:

— Человек — это не идея, Рамбер.

Рамбер подскочил на кровати, он даже покраснел от волнения.

— Нет, идея, и идея не бог весть какая, как только человек отворачивается от любви. А мы-то как раз не способны любить. Примиримся же с этим, доктор. Будем ждать, пока не станем способны, и, если и впрямь это невозможно, подождем всеобщего освобождения, не играя в героев. Дальше этого я не иду.

Риэ поднялся со стула, лицо его вдруг приняло усталое выражение.

— Вы правы, Рамбер, совершенно правы, и ни за какие блага мира я не стал бы вас отговаривать сделать то, что вы собираетесь сделать, раз я считаю, что это и справедливо, и хорошо. Однако я обязан вам вот что сказать: при чем тут, в сущности, героизм? Это не героизм, а обыкновенная честность. Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против

чумы — это честность.

— А что такое честность? — спросил Рамбер совсем иным, серьезным тоном.

— Что вообще она такое, я и сам не знаю. Но в моем случае знаю: быть честным — значит делать свое дело.

— А вот я не знаю, в чем мое дело, — яростно выдохнул Рамбер. — Возможно, я не прав, выбрав любовь.

Риэ обернулся к нему.

— Нет, не думайте так, — с силой произнес он, — вы правы!

Рамбер поднял на них задумчивый взгляд:

— По-моему, вы оба ничего в данных обстоятельствах не теряете. Легко быть на стороне благого дела.

Риэ допил вино.

— Пойдем, — сказал он Тарру, — у нас еще много работы.

Он первым вышел из номера.

Тарру последовал за ним до порога, но, видимо, спохватился, обернулся к журналисту и сказал:

— А вы знаете, что жена Риэ находится в санатории в нескольких сотнях километров отсюда?

Рамбер удивленно развел руками, но Тарру уже вышел из номера.

Назавтра рано утром Рамбер позвонил доктору:

— Вы не будете возражать, если я поработаю с вами, пока мне не представится случай покинуть город?

На том конце провода помолчали, а затем:

— Конечно, Рамбер. Спасибо вам.

Часть третья

Так в течение долгих недель пленники чумы бились как умели и как могли. А ведь кое-кто из них воображал, как, например, Рамбер, в чем мы имели возможность убедиться выше, что они еще действовали как люди свободные, что им еще дано было право выбора. Но тем не менее в этот момент, к середине августа, можно было смело утверждать, что чума пересилила всех и вся. Теперь уже не стало отдельных, индивидуальных судеб — была только наша коллективная история, точнее, чума и порожденные ею чувства разделялись всеми. Самым важным сейчас были разлука и ссылка со всеми вытекающими отсюда последствиями — страхом и возмущением. Вот почему рассказчик считает уместным именно сейчас, в разгар зноя и эпидемии, описать хотя бы в общих чертах и в качестве примера ярость наших оставшихся в живых сограждан, похороны мертвых и страдания влюбленных в разлуке.

Как раз в этом году, посредине лета, поднялся ветер и несколько дней подряд хлестал по зачумленному городу. Жители Орана вообще имели все

основания недолюбливать ветер: на плато, где возведен город, ветер не встречает естественных препятствий и без помех, как оголтелый, прорывается за городские стены. Ни одна капля влаги не освежила Оран, и после месяцев засухи он весь оброс серым налетом, лупившимся под порывами ветра. Ветер подымал тучи пыли и бумажек, с размаху льнувших к ногам прохожих, которых становилось все меньше. Те немногие, кого гнала из дома нужда, торопливо шагали, согнувшись чуть ли не вдвое, прикрыв рот ладонью или носовым платком. Теперь вечерами на улицах уже не толпился народ, стараясь продлить прожитый день, который мог оказаться последним, теперь чаще попадались лишь отдельные группки людей, люди торопились вернуться домой или заглянуть в кафе, так что в течение недели с наступлением рано спускавшихся сумерек в городе стало совсем пусто, и только ветер протяжно и жалобно завывал вдоль стен. От беспокойного и невидимого отсюда моря шел запах соли и водорослей. И наш пустынный город, весь побелевший от пыли, перенасыщенный запахами моря, весь гулкий от вскриков ветра, стенал, как проклятый Богом остров.

До сих пор чума косила людей чаще всего не

в центре, а в более населенных и не столь комфортабельных окраинных районах. Но вдруг оказалось, что она одним скачком приблизилась к деловым кварталам и прочно там воцарилась. Жители уверяли, что это ветер разносит семена инфекции. «Все карты смешал», — жаловался директор отеля. Но что бы там ни было, центральные кварталы поняли, что наступил их час, ибо теперь все чаще и чаще раздавался в ночи прерывистый гудок машин «скорой помощи», бросавших под самые окна унылый и бесстрастный зов чумы.

Кто-то додумался оцепить даже в самом городе несколько особенно пораженных чумой кварталов и выпускать оттуда только тех, кому это необходимо по соображениям работы. Те, кто попали в оцепление, естественно, рассматривали эту меру как выпад лично против них; во всяком случае, они в силу контраста считали жителей других кварталов свободными людьми. А эти свободные, в свою очередь, находили в трудную минуту некое утешение в сознании, что другие еще менее свободны, чем они. «Они еще покрепче под замком сидят» — вот в этой-то фразе выражалась тогда единственно доступная нам надежда.

Приблизительно в это же время началась се-

рия пожаров, особенно в веселых кварталах у западных ворот Орана. Расследования показали, что по большей части это было делом рук людей, вернувшихся из карантина и потерявших голову от утрат и бед; они поджигали свои собственные дома, вообразив, будто в огне чума умрет. Приходилось вести нелегкую борьбу с этой усилившейся манией поджогов, представлявших серьезную опасность для целых кварталов, особенно при теперешнем шквальном ветре. После многочисленных, но, увы, бесполезных разъяснений, что дезинфекция, мол, произведенная по приказу городских властей, исключает всякую возможность заражения, пришлось прибегнуть к более крутым мерам в отношении этих без вины виноватых поджигателей. И без сомнения, не сама мысль попасть за решетку испугала этих горемык, а общая для всех жителей города уверенность, что приговоренный к тюремному заключению фактически приговаривается к смертной казни, так как в городской тюрьме смертность достигала неслыханных размеров. Безусловно, убеждение это имело кое-какие основания. По вполне понятным причинам чума особенно бушевала среди тех, кто в силу привычки или необходимости жил кучно, то есть среди

солдат, монахов и арестантов. Ибо, несмотря на то что некоторые заключенные были изолированы, тюрьма все же является своеобразной общиной, и доказать это нетрудно — в нашей городской тюрьме стражники платили дань эпидемии наравне с арестованными. С точки зрения самой чумы, с ее олимпийской точки зрения, все без изъятия, начиная с начальника тюрьмы и кончая последним заключенным, были равно обречены на смерть, и, возможно, впервые за долгие годы в узилище царила подлинная справедливость.

И напрасно городские власти пытались ввести некие иерархические различия в это всеобщее уравнительство, возымев мысль награждать стражников, погибших от чумы при выполнении служебных обязанностей. Так как город был объявлен на осадном положении, можно было считать с известной точки зрения, что стражники мобилизованы, поэтому их посмертно награждали воинской медалью. Но если арестанты безропотно примирились с таким положением, то военные власти, напротив, взглянули на дело иначе и объявили не без основания, что эта мера способна внести прискорбную путаницу в умы оранцев. Просьбу военачальников уважили и решили было, что проще всего награждать по-

гибших от чумы стражников медалью за борьбу с эпидемией. Но зло уже совершилось — нечего было и думать о том, чтобы отбирать воинские медали у стражников, погибших первыми, а военные власти продолжали отстаивать свою точку зрения. С другой стороны, медаль за борьбу с эпидемией имела существенный недостаток: она не производила столь впечатляющего морального эффекта, как присвоение воинской награды, коль скоро в годину эпидемии получить медаль за борьбу с ней — дело довольно-таки обычное. Словом, все оказались недовольны.

К тому же тюремное начальство не могло действовать наподобие духовных властей и тем более военных. Монахи обоих имеющихся в городе монастырей были и в самом деле временно расселены по благочестивым семьям. И точно так же при первой возможности из казармы небольшими соединениями выводили солдат и ставили их на постой в школы или другие общественные здания. Получилось, что эпидемия, которая, казалось бы, должна была сплотить жителей города, как сплачиваются они во время осады, разрушала традиционные сообщества и вновь обрекала людей на одиночество. Все это вносило замешательство.

Мы не ошибемся, если скажем, что все эти обстоятельства плюс шквальный ветер и в иных умах тоже раздули пламя пожара. Снова ночью на городские ворота было совершено несколько налетов, но на сей раз небольшие группки атакующих были вооружены. С обеих сторон поднялась перестрелка, были раненые, и несколько человек сумели вырваться на свободу. Но караульные посты были усилены, и все попытки к бегству вскоре прекратились. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы по городу пронесся мятежный вихрь, в результате чего то там, то здесь разыгрывались бурные сцены. Люди бросались грабить горящие или закрытые по санитарным соображениям дома. Откровенно говоря, трудно предположить, что делалось это с заранее обдуманным намерением. По большей части люди, причем люди до того вполне почтенные, силою непредвиденных обстоятельств совершали неблаговидные поступки, тут же вызывавшие подражание. Так, находились одержимые, которые врывались в охваченное пламенем здание на глазах оцепеневшего от горя владельца. Именно полное его безразличие побуждало зевак следовать примеру зачинщиков, и тогда можно было видеть, как по темной улице, освещенной лишь

отблесками пожарища, разбегаются во все стороны какие-то тени, неузнаваемо искаженные последними вспышками пожара, горбатые от взваленного на плечи кресла или тюка с одеждой. Именно из-за этих инцидентов городские власти вынуждены были приравнять состояние чумы к состоянию осады и прибегать к вытекающим отсюда мерам. Двух мародеров расстреляли, но сомнительно, произвела ли эта расправа впечатление на остальных, так как среди стольких смертей какие-то две казни прошли незамеченными — вот уж воистину капля в море. И, по правде говоря, подобные сцены стали повторяться вновь, а власти делали вид, что ничего не замечают. Единственной мерой, которая, по-видимому, произвела впечатление на всех наших сограждан, было введение комендантского часа. После одиннадцати наш город, погруженный в полный мрак, словно окаменевал.

Под лунным небом он выставлял напоказ свои белесые стены и свои прямые улицы, нигде не перечеркнутые темной тенью дерева, и ни разу тишину не нарушили шаги прохожего или лай собаки. Огромный безмолвствующий город в такие ночи становился просто скоплением массивных и безжизненных кубов, а среди них лишь одни

немотствующие статуи давно забытых благодетелей рода человеческого или навек загнанные в бронзу бывшие великие мира сего пытались своими лицами-масками, выполненными в камне или металле, воссоздать искаженный образ того, что было в свое время человеком. Эти кумиры средней руки красовались под густым августовским небом на обезлюдевших перекрестках, эти бесчувственные чурбаны достаточно полно олицетворяли собой то царство неподвижности, куда мы попали все скопом, или в крайнем случае — последний его образ, образ некрополя, где чума, камень и мрак, казалось, наконец-то задушили живой человеческий голос.

Но мрак царил также во всех сердцах; и легенды, и правда насчет практикуемой церемонии похорон вряд ли вселяли особую бодрость в наших сограждан. Ибо хочешь не хочешь, а надо рассказать о похоронах, и рассказчик заранее просит за это прощение. Он безропотно готов принять вполне законные упреки, но единственное его оправдание в том, что были же в течение всего этого периода похороны и что в какой-то мере он вынужден был, как и все наши сограждане, заниматься похоронами. Во всяком случае, он вовсе не такой уж любитель подобных це-

ремоний, напротив, он предпочитает общество живых, к примеру, пляж, морские купания. Но морские купания были запрещены, и общество живых с утра до ночи пребывало в страхе, как бы их не вытеснило общество мертвецов. Такова очевидность. Разумеется, можно было бы попытаться не видеть ее, закрыть глаза и начисто ее отринуть, но очевидность обладает чудовищной силой и всегда в конце концов восторжествует. Ну скажите сами, как можно отринуть похороны в тот день, когда те, которых вы любите, должны быть похоронены.

Так вот, самой характерной чертой нашего погребального обряда была поначалу быстрота. Все формальности упростились, и траурная церемония как таковая была отменена. Больные умирали не дома, не на глазах у близких, традиционные ночные бдения были запрещены, так что тот, кто, скажем, умирал к вечеру, проводил ночь в полном одиночестве, а того, кто умирал днем, старались поскорее зарыть. Семью, понятно, извещали, но в большинстве случаев родные не могли свободно передвигаться по городу, так как сидели в карантине, если они находились в контакте с больным. В тех же случаях, если покойный жил отдельно от родных, они являлись

в указанный час, то есть к моменту отъезда на кладбище, когда тело было уже обмыто и положено в гроб.

Предположим, что подобная церемония происходила во вспомогательном лазарете, которым ведал доктор Риэ. Вход в школу находился позади главного здания. В большом подсобном помещении, выходившем в коридор, хранились гробы. В коридоре же семья обнаруживала один уже заколоченный гроб. И тут же переходили к основной части обряда, другими словами, давали главе семьи подписать нужные бумаги. Затем гроб ставили в закрытый автомобиль, иной раз это был самый обыкновенный фургон, иной раз специально оборудованная машина «скорой помощи». Родные рассаживались в такси, тогда еще не упраздненные, и весь кортеж галопом несся к кладбищу по окраинным улицам. У городских ворот жандармы останавливали кортеж, шлепали печать на официальный пропуск, без чего отныне не стало доступа к «последнему месту упокоения», как выражались наши сограждане, пропускали машины, и они останавливались у четырехугольной площадки, изрытой многочисленными рвами, ожидавшими загрузки. Священник выходил встречать покойника, так

как отпевание в церкви было отменено. Под чтение молитв из машины вытаскивали гроб, обвязывали его веревками, волокли волоком, и он, скользнув в ров, стукался о дно; священник размахивал кадилом, и вот уже первые комья земли начинали барабанить по крышке. Фургон уезжал сразу же, так как ему полагалось пройти дезинфекцию; комья глины, падавшие с лопаты, звучали все глуше, а родственники тем временем уже рассаживались в такси. И через четверть часа они были дома.

Таким образом, все происходило поистине с максимальной быстротой и минимальным риском. И разумеется, по крайней мере в начале эпидемии, родные бывали оскорблены в своих самых естественных чувствах. Но во время чумы такие соображения в расчет не принимаются: жертвуют всем ради пользы дела. Впрочем, если поначалу дух нашего населения пострадал от подобной практики, поскольку желание быть похороненным прилично распространено гораздо шире, чем принято считать, то вскоре, к счастью, начались затруднения с продуктами питания, и жителей отвлекли более насущные заботы… Нас настолько поглощало многочасовое стояние в очередях, различные хлопоты и различные

формальности, которые приходилось выполнять, ежели ты хочешь кушать, что у людей просто не оставалось времени размышлять о том, как умирают вокруг них и как сам ты умрешь, когда наступит твой час. Таким образом, материальные трудности, которые вообще-то сами по себе зло, обернулись, как это ни странно, благом. И все было бы к лучшему, если бы, как мы уже видели, эпидемия не распространилась столь широко.

Ибо гробы становились редкостью, для саванов не хватало полотна, на кладбище не хватало мест. Приходилось что-то предпринимать. Самое простое — все по тем же соображениям пользы — было объединять несколько похоронных церемоний в одну и, раз уж возникла такая необходимость, участить рейсы между лазаретом и погостом. Так, в распоряжении лазарета, руководимого доктором Риэ, в наличии имелось к этому времени всего пять гробов. Когда все они бывали заполнены, их грузили в машину. На кладбище гробы опорожняли, трупы цвета ржавого железа клали на носилки и ставили в специально оборудованный сарай. Затем гробы обливали дезинфицирующим раствором, отвозили обратно в лазарет, и вся операция повторялась столько раз, сколько требовалось. Так что дело

было поставлено образцово, и префект неоднократно выказывал свое удовлетворение. Он даже сказал Риэ, что видел в старинных летописях, посвященных чуме, рисунки, изображающие негров, которые отвозят на погост груды трупов в простых тележках, и что наша организация похорон куда совершеннее.

— Верно, — согласился Риэ, — похороны такие же, только нам-то еще приходится заполнять карточки. Так что прогресс налицо.

Несмотря на все достижения администрации в этой области, префектуре пришлось запретить родственникам присутствовать при погребении, так как со временем похоронный обряд превратился в довольно-таки неприглядную формальность. Родным разрешалось доходить только до кладбищенских ворот, да и то неофициально. И произошло это потому, что перемена коснулась в основном заключительной части погребения. В дальнем конце кладбища, на пустом еще пространстве, поросшем мастиковым деревом, вырыли два огромных рва. Один ров предназначался для мужчин, второй для женщин. Администрация в данном вопросе старалась еще придерживаться правил приличия и только уже значительно позже, силою обстоятельств,

отказалась от последней попытки соблюдать благопристойность, и мертвецов стали хоронить кучно, вповалку, не разбирая мужчин и женщин, отбросив все заботы о целомудрии. К счастью, этот апокалипсический хаос был характерен только для последних этапов бедствия. В тот период, о котором идет речь, еще существовали раздельные могильные рвы, и префектура очень гордилась этим обстоятельством. На дне каждого из рвов булькала и шипела негашеная известь, налитая толстым слоем. На краю рвов лежали кучки такой же извести, и вздувавшиеся на них пузырьки лопались под воздействием свежего воздуха. Когда рейсы заканчивались, из сарая выносили носилки, выстраивали их бок о бок, потом сбрасывали в ров почти вплотную друг к другу голые, чуть скрюченные тела и тут же заливали их новым слоем извести; потом довольно скупо засыпали ров землей, чтобы оставить место для будущих гостей. На следующий день вызывали родственников и предлагали им расписаться в книге регистрации, что подчеркивало разницу, существующую между людьми, которых всегда можно было контролировать, и, скажем, собаками.

Для всех этих операций требовался персонал,

и каждый день возникала опасность, что его вот-вот не хватит. Большинство санитаров и могильщиков, в первое время профессионалов, а потом взятых со стороны, погибали от чумы. Зараза все равно брала свое, какие бы меры предосторожности ни принимались. Но если хорошенько вдуматься, самое удивительное было то, что во время всей эпидемии охотники все-таки находились. Критический период наступил незадолго до того, как кривая заболеваний достигла потолка, и тревога доктора Риэ была тогда вполне законной. Рук не хватало ни для квалифицированной работы, ни, как он выражался, для черной. Но с той поры, когда чума по-хозяйски расположилась в городе, даже ее крайности в конечном счете пошли на пользу — из-за эпидемии разладилась вся экономическая жизнь Орана, а это, естественно, увеличило число безработных. Пополнять ими ряды специалистов в большинстве случаев не удавалось, но для черной работы они вполне годились. И в самом деле, именно в эти дни нищета оказалась сильнее страха, тем более что труд оплачивался в зависимости от степени риска. Санитарные службы располагали списками, куда были занесены ждущие работы, и, как только освобождалась вакансия, извещали

первых, стоявших на очереди, и они неукоснительно являлись на вызов, если только за это время не исчезали из списка живых. Поэтому-то префекту, долго не решавшемуся использовать на подсобных работах заключенных пожизненно или на срок, удалось обойтись без этой крайней меры. Он считал, что, пока есть и будут безработные, вполне можно ждать.

Худо ли, хорошо ли, но до конца августа наши сограждане отходили в свое последнее жилище если не совсем как положено, зато в атмосфере образцового порядка, и власти, таким образом, пребывали в убеждении, что свой долг они выполняют. Но тут уместно немного опередить события и рассказать, к каким мерам вынуждена была прибегать под занавес служба, ведающая похоронами. Начиная с августа при тогдашнем взлете эпидемии количество жертв значительно превосходило возможности нашего скромного по размерам кладбища. И хотя часть ограды сняли, отдав в распоряжение мертвецов прилегающие участки, пришлось срочно изыскивать какие-то иные выходы. Поначалу решено было устраивать похороны ночью, что на первых порах избавляло персонал от излишней щепетильности — можно было набивать машины до отказа. И кое-кто из

замешкавшихся горожан, после наступления комендантского часа находившихся на окраине вопреки запрету (или же вынужденных передвигаться ночью по роду своих занятий), нередко становились свидетелями того, как длинные, выкрашенные в белый цвет машины мчатся во весь опор и глухие гудки их будят эхо в черных провалах улиц. Затем трупы наспех бросали в ров. Они еще подпрыгивали от толчка, а шлепки извести уже расплывались по их лицам; земля покрывала без разбора всех этих безымянных, и их навсегда поглощали рвы, которые теперь рыли как можно глубже.

Спустя некоторое время пришлось, однако, искать новые пути и выйти на новые рубежи. По приказу префектуры были потревожены старые захоронения и останки бывших владельцев свезены к печам. Вскоре начали сжигать и трупы погибших от чумы. Для этой цели приспособили мусоросжигательную печь, находившуюся в восточной части города, уже за воротами. Посты отнесли дальше, а какой-то служащий мэрии значительно облегчил задачу администрации, присоветовав использовать для перевозки трупов трамваи, которые ходили раньше по горной дороге над морем, а сейчас стояли без употреб-

ления. Для этой цели в прицепах и моторных вагонах сняли сиденья и пустили трамваи до мусоросжигательной станции, которая и стала конечной остановкой на этой линии.

И в конце лета, и в самый разгар осенних ливней ежедневно можно было видеть, как глубокой ночью катит по горной дороге страшный кортеж трамваев без пассажиров и побрякивает, позвякивает себе над морем. В конце концов жители пронюхали, в чем тут дело. И несмотря на то что патрули запрещали приближаться к карнизу, отдельным группам лиц все же удавалось, и удавалось часто, пробраться по скалам, о которые бились волны, и бросить цветы в прицепной вагон проходившего мимо трамвая. Тогда летними ночами до нас докатывалось лязганье трамвайных вагонов, груженных трупами и цветами.

А к утру, во всяком случае, в первое время, густой тошнотворный дым окутывал восточные кварталы города. По единодушному утверждению врачей, эти испарения, пусть даже весьма неприятные, не приносили никакого вреда. Но обитатели этих кварталов немедленно объявили, что покидают насиженные места, так как верили, будто чума валится на них с неба; пришлось поэтому воздвигнуть сложную систему дымо-

уловителей, и люди тогда успокоились. Только в дни шквальных ветров зловонная волна, идущая с востока, напоминала нам, что теперь все мы живем при новом порядке и что пламя чумы ежевечерне требует своей дани.

Таковы были последствия чумы в ее апогее. Но к счастью, эпидемия стабилизовалась, ибо, надо думать, фантазия отцов города, изобретательность префектуры, издающей приказы, и даже пропускная способность печи уже истощились. Риэ слышал, что выдвигаются еще новые проекты, продиктованные отчаянием, например, кто-то предложил бросать трупы в море, и воображение доктора без труда нарисовало страшную пену, вскипавшую на синих водах. Знал он также, что если число смертных случаев будет расти, любая, даже самая безупречная организация окажется бессильной, люди станут умирать кучно, а трупы вопреки всем ухищрениям префектуры будут разлагаться прямо на улицах, и город увидит еще, как на площадях и бульварах умирающие будут цепляться за живых, движимые вполне объяснимой ненавистью и глупейшей надеждой.

Во всяком случае, вот эта-то очевидность или опасения поддерживали в наших согражданах ощущение изгнания и отъединения. С этой точки

зрения очень прискорбно — и рассказчик сам прекрасно это понимает, — что ему не удалось украсить свою хронику достаточно эффектными страницами, например, нарисовать вселяющий бодрость образ героя или какой-нибудь из ряда вон выходящий поступок вроде тех, что встречаются в старинных хрониках. Ибо нет ничего менее эффектного, чем картина бедствия, и самые великие беды монотонны именно в силу своей протяженности. В памяти тех, кто пережил страшные дни чумы, они остались не в образе грозного и беспощадного пожара, а скорее уж как нескончаемое топтание на месте, все подминающее под себя.

Нет, чума не имела ничего общего с теми впечатляющими картинами, которые преследовали доктора Риэ в самом начале эпидемии. Прежде всего чума была неким административным механизмом, осмотрительным, безупречным, во всяком случае, функционирующим безукоризненно. Рассказчик, заметим в скобках, боясь погрешить против истины, а главное — погрешить против самого себя, стремился в первую очередь к объективности. Почти ничем не поступился он ради красот стиля, если, конечно, не считать примитивных требований связности

изложения. И как раз объективность велит ему сейчас сказать, что если самым великим страданием этой эпохи, самым общим для всех и самым глубоким была разлука, если необходимо дать с полной чистосердечностью новое описание этой стадии чумы, то все же не надо скрывать, что страдания эти уже теряли свой первоначальный пафос.

Уж не начали ли привыкать наши сограждане, хотя бы те, что сильнее всего страдали от этой беды, к своему положению? Было бы несправедливо утверждать это со всей категоричностью. Куда точнее будет сказать, что не только в физическом, но и моральном смысле они страдали в первую очередь от бесплотности своих представлений. В начале эпидемии воображение четко рисовало себе близкое существо, с которым они расстались и о котором тосковали. Но если они ясно помнили любимое лицо, знакомый смех, тот или иной день, впоследствии осознанный как день счастья, то они с трудом представляли себе, что могут любимые делать там, в таком далеком краю, как раз в ту минуту, когда о них думают. В общем, в этот период у них работала память, но сдавало воображение. А на второй стадии чумы угасла и память. Не то чтобы они забыли

дорогое лицо, нет, но образ стал бесплотным, что, в сущности, одно и то же, и они уже не находили его в глубинах своей души. В первые недели эпидемии они жаловались, что их любовь со всем ее многообразием обращена к теням, а потом вдруг убедились, что и тени-то могут, оказывается, стать еще более бесплотными, что тускнеет все, вплоть до мельчайших оттенков, свято хранимых памятью. Так что к концу этой бесконечной разлуки они уже не в силах были представить себе ни былой близости, ни того, как они жили раньше подле милого существа, которого в любую минуту можно было коснуться рукой.

Если смотреть на дело с этой точки зрения, они включились в распорядок чумы, вполне будничный и поэтому особенно действенный. Ни у кого из нас уже не сохранилось великих чувств. Зато все в равной мере испытывали чувства бесцветные. «Скорее бы все это кончилось», — говорили наши сограждане, потому что в период бедствий вполне естественно желать конца общих страданий, а еще и потому, что они действительно хотели, чтобы это кончилось. А говорилось это без прежнего пыла и без прежней горечи, и обосновывалось это мотивами, уже малоубедительными, но пока еще понятными. На

смену яростному порыву первых недель пришло тупое оцепенение, которое не следует путать с покорностью, хотя оно все же было чем-то вроде временного приятия.

Наши сограждане подчинились или, как принято говорить, приспособились, потому что иного выхода не было. Понятно, внешне они выглядели людьми, сраженными горем и страданиями, но уже не чувствовали первоначальной их остроты. Впрочем, доктор Риэ, например, считал, что именно это-то и есть главная беда и что привычка к отчаянию куда хуже, чем само отчаяние. Раньше жившие в разлуке были несчастны не до конца, в их муках было какое-то озарение, ныне уже угасшее. А теперь где бы их ни встречали: на перекрестке, у друзей или в кафе, невозмутимых и немного рассеянных — взгляд у них был такой скучающий, что весь наш город казался сплошным залом ожидания. Те, у которых были какие-то занятия, выполняли их в ритме самой чумы — тщательно и без блеска. Все стали скромниками. Впервые разлученные без всякого неприятного осадка беседовали со знакомыми о своем отсутствующем, пользовались стертыми словами, оценивали свою разлуку под тем же углом, что и цифры смертности. Даже те, кто до

сих пор яростно старался не смешивать своих страданий с общим горем, даже те шли теперь на это уравнительство. Лишенные памяти и надежды, они укоренялись в настоящем, в сегодняшнем дне. По правде говоря, все в их глазах становилось сегодняшним. Надо сказать, что чума лишила всех без исключения способности любви и даже дружбы. Ибо любовь требует хоть капельки будущего, а для нас существовало только данное мгновение.

Само собой разумеется, все это несколько огрублено. Ибо если верно, что все тоскующие в разлуке дошли до этого состояния, то справедливости ради добавим, что дошли не все в одно и то же время, что, хотя они сжились со своим новым положением, порой внезапные озарения, неожиданные возвраты, случайные просветления вновь и вновь возрождали всю свежесть и ранимость чувств. Им необходимы были эти минуты, когда, отвлекшись от злобы дня, они строили планы так, словно чума уже прекратилась. Необходимы были внезапные уколы беспредметной ревности, и это было благодеянием. Да и другие тоже переживали эту неожиданную полосу возрождения, скидывали с себя оцепенелость, хотя бы в известные дни недели, конечно, в первую

очередь в воскресенье и в субботний вечер, потому что дни эти во времена отсутствующего были связаны с каким-нибудь семейным ритуалом. Или, случалось, тоска, которая охватывала их к вечеру, давала им надежду, впрочем не всегда оправдывавшуюся, что к ним вернется память. Тот вечерний час, когда верующие католики придирчиво вопрошают свою совесть, этот вечерний час тяжел для узника или изгнанника, которым некого вопрошать, кроме пустоты. На какой-то миг они воспряли, но затем они снова впадали в состояние бесчувственности, замыкались в чуме.

Читатель, очевидно, уже догадался, что это означало полный отказ от самого личного. Тогда, в первые дни эпидемии, их уязвляли какие-нибудь пустяки, не имевшие для других никакого смысла, и именно благодаря сумме этих пустяков, столь важных для них, они накапливали опыт личной жизни, а теперь, напротив, их интересовало лишь то, что интересовало всех прочих, они вращались в круге общих идей и даже сама любовь приобретала абстрактное обличье. Они до такой степени предали себя в руки чумы, что подчас, случалось, надеялись только на даруемый ею сон и ловили себя на мысли: «Пусть бубоны, только бы все кончилось». Но они уже и так спали,

и весь этот долгий этап был фактически долгим сном. Город был заселен полупроснувшимися сонями, которым удавалось вырываться из пут судьбы лишь изредка, обычно ночью, когда их с виду затянувшиеся раны вдруг открывались. И грубо пробужденные, они как-то рассеянно касались воспаленных губ, обнаруживая, словно при вспышке молнии, свое омоложенное страдание, а вместе с ним растревоженный лик своей любви. А поутру они покорно подставляли шею бедствию, то есть рутине.

Но, спросит читатель, как выглядели эти мученики разлуки? Да очень просто — никак. Или, если угодно, как и все, приобрели некий общий для нас вид. Они, как и весь город, жили в состоянии ребячливого благодушия и суеты. Они утратили видимость критического чувства, приобретя при этом видимость хладнокровия. Например, нередко можно было наблюдать, как самые, казалось бы, светлые головы притворялись, будто по примеру всех прочих ищут в газетах или в радиопередачах обнадеживающие намеки на близкое окончание эпидемии, загорались химерическими надеждами или же, напротив, испытывали ни на чем не основанный страх, читая рассуждения какого-нибудь досуже-

го журналиста, написанные просто так, с зевком на губах. А во всем остальном они пили свое пиво или выхаживали своих больных, ленились или лезли вон из кожи, составляя статистические таблицы, или ставили пластинки и только этим отличались друг от друга. Иными словами, они уже ничего не выбирали. Чума лишила их способности оценочных суждений. И это было видно хотя бы по тому, что никто уже не интересовался качеством покупаемой одежды или пищи. Принимали все без разбора.

Чтобы покончить с этим вопросом, добавим, что мученики разлуки лишились любопытной привилегии, поначалу служившей им защитой. Они утратили эгоизм любви и все вытекающие отсюда преимущества. Зато теперь положение стало ясным, бедствие касалось всех без изъятия. Все мы под стрельбу, раздававшуюся у городских ворот, под хлопанье штемпелей, определяющих ритм нашей жизни и наших похорон, среди пожаров и регистрационных карточек, ужаса и формальностей, осужденные на постыдную, однако зарегистрированную по всей форме кончину, среди зловещих клубов дыма и невозмутимых сирен «скорой помощи», — все мы в равной степени вкушали хлеб изгнания, ожидая неведомо

для себя потрясающего душу воссоединения и умиротворения. Понятно, наша любовь была по-прежнему с нами, только она была ни к чему не приложима, давила всех нас тяжелым бременем, вяло гнездилась в наших душах, бесплодная, как преступление или смертный приговор. Наша любовь была долготерпением без будущего и упрямым ожиданием. И с этой точки зрения поведение кое-кого из наших сограждан приводило на память длинные очереди, собиравшиеся во всех концах города перед продовольственными магазинами. И тут и там — та же способность смиряться и терпеть, одновременно беспредельная и лишенная иллюзий. Надо только умножить это чувство в тысячу раз, ибо здесь речь идет о разлуке, об ином голоде, способном пожрать все.

Во всяком случае, если кто-нибудь захочет иметь точную картину умонастроения наших мучеников разлуки, проще всего вновь вызвать в воображении эти пыльно-золотые нескончаемые вечера, спускавшиеся на лишенный зелени город, меж тем как мужчины и женщины растекались по всем улицам. Ибо, как это ни странно, но из-за отсутствия городского транспорта и автомобилей вечерами к еще позлащенным солнцем террасам подымался уже не прежний шорох шин

и металлическое треньканье — обычная мелодия городов, — а равномерный, нескончаемый шорох шагов и приглушенный гул голосов, скорбное шарканье тысяч подошв в ритм свисту бича в душном небе, непрерывное, хватающее за горло топтание, которое мало-помалу заполняло весь Оран и которое вечер за вечером становилось голосом, точным и унылым голосом слепого упорства, заменившего в наших сердцах любовь.

Часть четвертая

В течение сентября и октября чума по-прежнему подминала под себя город. Поскольку мы уже упоминали о топтании, следует заметить, что многие сотни тысяч людей топтались так в течение бесконечно долгих недель. Небо слало то туман, то жару, а то дождевые тучи. Безмолвные стаи дроздов и скворцов, летевших с юга, проносились где-то высоко-высоко, но упорно обходили стороной наш город, словно тот самый бич, о котором говорил отец Панлю, это деревянное копье, со свистом крутящееся над крышами домов, держало их на почтительном расстоянии от Орана. В начале октября ливневые дожди начисто смыли пыль с улиц. И в течение всего этого периода ничего существенного не произошло, если не считать тупого, неутихающего топтания.

Тут только обнаружилось, до какой степени устали Риэ и его друзья. И в самом деле, члены санитарных дружин уже не в силах были справиться с этой усталостью. Доктор Риэ заметил это, наблюдая, как прогрессирует в нем самом, да и во всех его друзьях, какое-то странное безразли-

чие. Так, к примеру, эти люди, которые раньше с живейшим интересом прислушивались ко всем новостям касательно чумы, вовсе перестали интересоваться этим. Рамбер — ему временно поручили один из карантинов, расположенный в их отеле, — с закрытыми глазами мог назвать число своих подопечных. Мог он также в мельчайших подробностях рассказать о системе экстренной перевозки, организованной им для тех, у кого внезапно обнаруживались симптомы заболевания. Статистические данные о действии сыворотки на людей, содержащихся в карантине, казалось, навсегда врезались в его память. Но он не был способен назвать ежедневную цифру жертв, унесенных чумой, он действительно не имел представления, идет ли болезнь на убыль или нет. И вопреки всему этому он лелеял надежду на побег из города в самые ближайшие дни.

Что касается других, отдававших работе и дни и ночи, то они уже не читали газет, не включали радио. И если им сообщали очередные статистические данные, они притворялись, что слушают с интересом, на самом же деле принимали эти сведения с рассеянным безразличием, какое мы обычно числим за участниками великих войн, изнуренных бранными трудами, старающихся

только не ослабеть духом при выполнении своего ежедневного долга и уже не надеющихся ни на решающую операцию, ни на скорое перемирие.

Гран, продолжавший вести столь важные во время чумы подсчеты, был явно не способен назвать общие итоги. В отличие от Тарру, Рамбера и Риэ, еще не окончательно поддавшихся усталости, здоровьем Гран никогда похвастаться не мог. А ведь он совмещал свои функции в мэрии с должностью секретаря у Риэ да еще трудился ночью для себя самого. Поэтому он находился в состоянии полного упадка сил, и поддерживали его две-три почти маниакальные идеи, в частности, он решил дать себе после окончания эпидемии полный отдых хотя бы на неделю и трудиться только ради своего «шапки долой» — по его словам, дело уже идет на лад. Временами на него накатывало необузданное умиление, и в этих случаях он долго и много говорил с доктором Риэ о своей Жанне, старался догадаться, где она может находиться сейчас и думает ли она о нем, читая газеты. Именно беседуя с ним, доктор Риэ поймал себя на том, что и сам говорит о своей жене какими-то удивительно пошлыми словами, чего за ним до сих пор не водилось… Не слишком доверяя успокоительным телеграммам жены,

он решил протелеграфировать непосредственно главному врачу санатория, где она находилась на излечении. В ответ он получил извещение, что состояние больной ухудшилось, и одновременно главный врач заверял супруга, что будут приняты все меры, могущие приостановить развитие болезни. Риэ хранил эту весть про себя и только состоянием крайней усталости мог объяснить то, что решился рассказать о телеграмме Грану. Сначала Гран многословно говорил о своей Жанне, потом спросил Риэ о его жене, и тот ответил. «Знаете, — сказал Гран, — в наше время такие болезни прекрасно лечат». И Риэ подтвердил, что лечат действительно прекрасно, и добавил, что разлука, по его мнению, слишком затянулась и что его присутствие, возможно, помогло бы жене успешнее бороться с недугом, а что теперь она, должно быть, чувствует себя ужасно одинокой. Потом он замолк и уклончиво отвечал на дальнейшие расспросы Грана.

Другие находились примерно в таком же состоянии. Тарру держался более стойко, чем остальные, но его записные книжки доказывают, что если его любознательность и не потеряла своей остроты, то, во всяком случае, круг наблюдений сузился. Так, в течение всего этого периода он

интересовался, пожалуй, одним лишь Коттаром. Вечерами у доктора — Тарру пришлось переселиться к Риэ после того, как их отель отвели под карантин, — только из вежливости он слушал Грана или доктора, сообщающих о результатах своей работы. И старался поскорее перевести разговор на незначительные факты оранской жизни, которые обычно его интересовали.

В тот день, когда Кастель пришел к Риэ объявить, что сыворотка готова, и они после обсуждения решили испробовать ее впервые на сынишке следователя Отона, только что доставленном в лазарет, — хотя Риэ лично считал, что случай безнадежный, хозяин дома, сообщая своему престарелому другу последние статистические данные, вдруг заметил, что его собеседник забылся глубоким сном, привалившись к спинке кресла. И, вглядываясь в эти черты, вдруг утратившие обычное выражение легкой иронии, отчего Кастель казался не по возрасту молодым, заметив, что из полуоткрытого рта стекает струйка слюны, так что на этом сразу обмякшем лице стали видны пометы времени, старость, Риэ почувствовал, как болезненно сжалось его горло.

Именно такие проявления слабости показывали Риэ, до чего он сам устал. Чувства выходили

из повиновения. Туго стянутые, зачерствевшие и иссохшие, они временами давали трещину, и он оказывался во власти эмоций, над которыми уже не был хозяином. Надежным способом защиты было укрыться за этой броней очерствелости и потуже стянуть этот давящий где-то внутри узел. Он отлично понимал, что это единственная возможность продолжать. А что касается всего прочего, то у него уже почти не оставалось иллюзий, и усталость разрушала те, что еще сохранялись. Ибо он сознавал, что на данном этапе, границ которого и сам не сумел бы установить, он покончил с функцией целителя. Теперь его функцией стала диагностика. Определять, видеть, описывать, регистрировать, потом обрекать на смерть — вот какое у него было сейчас занятие. Жены хватали его за руки, вопили: «Доктор, спасите его!» Но он приходил к больному не затем, чтобы спасать его жизнь, а чтобы распорядиться о его изоляции. И ненависть, которую он читал на лицах, ничего не могла изменить. «У вас нет сердца!» — однажды сказали ему. Да нет же, сердце у него как раз было. И билось оно затем, чтобы помогать ему в течение двадцати часов в сутки видеть, как умирают люди, созданные для жизни, и назавтра начинать все сначала. Отныне сердца

только на это и хватало. Как же могло его хватить на спасение чьей-то жизни?

Нет, в течение дня не помощь он давал, а справки. Разумеется, трудно назвать такое занятие ремеслом человека. Но кому в конце концов среди этой запуганной, изрядно поредевшей толпы дана была роскошь заниматься своим человеческим ремеслом? Счастье еще, что существовала усталость. Будь Риэ не так замотан, этот запах смерти, разлитый повсюду, возможно, способен был пробудить в нем сентиментальность. Но когда спишь по четыре часа в сутки, тут уж не до сантиментов. Тогда видишь вещи в их истинном свете, иными словами, в свете справедливости, этой мерзкой и нелепой справедливости. И те, другие, обреченные, те тоже хорошо это чувствовали. До чумы люди встречали его как спасителя. Сейчас он даст пяток пилюль, сделает укол — и все будет в порядке, и, провожая доктора до дверей, ему благодарно жали руку. Это было лестно, однако чревато опасностями. А теперь, напротив, он являлся в сопровождении солдат, и приходилось стучать в двери прикладом, чтобы родные больного решились наконец отпереть. Им хотелось бы его, да и все человечество, утащить с собой в могилу. Ох! Совершенно верно, не могут

люди обходиться без людей, верно, что Риэ был так же беспомощен, как эти несчастные, и что он вполне заслуживал того же трепета жалости, который беспрепятственно рос в нем после ухода от больных.

Таковы, по крайней мере в течение этих бесконечно долгих недель, были мысли, которым предавался доктор Риэ, перемежая их другими, порожденными состоянием разлуки. Отблески тех же мыслей он читал на лицах своих друзей. Однако самым роковым следствием истощения и усталости, завладевшей постепенно всеми, кто боролся против бедствия, было даже не безразличие к событиям внешнего мира и к эмоциям других, а общее для всех небрежение, какому они поддавались. Ибо все они в равной степени старались не делать ничего лишнего, а только самое необходимое и считали, что даже это выше их сил. Поэтому-то борцы с чумой все чаще и чаще пренебрегали правилами гигиены, которую сами же ввели, по забывчивости манкировали дезинфицирующими средствами, подчас мчались, не приняв мер предосторожности против инфекции, к больным легочной чумой, только потому, что их предупредили в последнюю минуту, а им казалось утомительным заворачивать по дороге

еще и на медицинский пункт, где бы им сделали необходимое вливание. Именно здесь таилась подлинная опасность, так как сама борьба с чумой делала борцов особенно уязвимыми для заражения. В сущности, они ставили ставку на случай, а случай он и есть случай.

И все же в городе оставался один человек, который не выглядел ни усталым, ни унылым и скорее даже являл собой олицетворенный образ довольства. И человеком этим был Коттар. Он по-прежнему держался в стороне, но отношений с людьми не порывал. Особенно он привязался к Тарру и при первой же возможности, когда тот бывал свободен от своих обязанностей, старался его повидать, потому что, с одной стороны, Тарру находился в курсе всех его дел и, с другой, потому что Тарру умел приветить комиссионера своей неистощимой сердечностью. Пожалуй, это было чудо, и чудо не кончавшееся, но Тарру, несмотря на свой адов труд, был, как всегда, доброжелателен и внимателен к собеседнику. Если даже иной раз к вечеру он буквально валился с ног от усталости, то утрами просыпался с новым запасом энергии. «С ним, — уверял Коттар Рамбера, — можно говорить, потому что он настоящий человек. Все всегда понимает».

Вот почему в этот период в записных книжках Тарру все чаще и чаще возвращается к Коттару. Тарру пытался воспроизвести полную картину переживаний и размышлений Коттара в том виде, как Коттар ему их поведал, или так, как сам Тарру их воспринял. Под заголовком «Заметки о Коттаре и о чуме» эти описания заняли несколько страниц записной книжки, и рассказчик считает небесполезным привести их здесь в выдержках. Свое общее мнение о Коттаре Тарру сформулировал так: «Вот человек, который растет». Впрочем, рос не столько он, сколько его бодрость духа. Он был даже доволен поворотом событий. Нередко он выражал перед Тарру свои заветные мысли в следующих словах: «Конечно, не все идет гладко. Но зато хоть все мы в одной яме сидим».

«Разумеется, — добавлял Тарру, — ему грозит та же опасность, что и другим, но, подчеркиваю, именно что и другим. И к тому же он вполне серьезно считает, что зараза его не возьмет. По-видимому, он, что называется, живет идеей, впрочем не такой уж глупой, что человек, больной какой-нибудь опасной болезнью или находящийся в состоянии глубокого страха, в силу этого защищен от других недугов или от страхов. «А вы заметили, — как-то сказал он, — что

болезни вместе не уживаются? Предположим, у вас серьезный или неизлечимый недуг, ну рак, что ли, или хорошенький туберкулез, так вот, вы никогда не подцепите чумы или тифа — это исключено. Впрочем, можно пойти еще дальше: видели ли вы хоть раз в жизни, чтобы больной раком погибал в автомобильной катастрофе!» Ложная эта идея или верная, но она неизменно поддерживает в Коттаре бодрое расположение духа. Единственное, чего он хочет, — это не отделяться от людей. Он предпочитает жить в осаде вместе со всеми, чем стать арестантом в единственном числе. Во время чумы не до секретных расследований, досье, тайных инструкций и неизбежных арестов. Собственно говоря, полиции больше не существует, нет старых или новых преступлений, нет виновных, а есть только осужденные на смерть, неизвестно почему ожидающие помилования, в том числе сами полицейские». Таким образом, по словам Тарру, Коттар склонен смотреть на симптомы страха и растерянности, пример коих являли наши сограждане, с каким-то снисходительным пониманием и удовлетворением, которое можно бы выразить следующей формулой: «Что ни говори, а я еще до вас все эти удовольствия имел».

«Напрасно я ему твердил, что единственный способ не отделяться от людей — это прежде всего иметь чистую совесть. Он злобно взглянул на меня и ответил: «Ну, знаете, если так, то люди всегда врозь». И добавил: «Говорите что хотите, но я вам вот что скажу: единственный способ объединить людей — это наслать на них чуму. Да вы оглянитесь вокруг себя!» И, откровенно говоря, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду и какой, должно быть, удобной кажется ему наша теперешняя жизнь. Он на каждом шагу видит, что реакция других на события вполне совпадает с тем, что пережил он сам; так, каждому хочется, чтобы все были с ним заодно; отсюда любезность, с какой подчас объясняешь дорогу заблудившемуся прохожему, и неприязнь, какую проявляешь к нему в других случаях, и толпы, спешащие попасть в роскошные рестораны, и удовольствие сидеть и сидеть себе за столиком; беспорядочный наплыв публики в кино, бесконечные очереди за билетами, переполненные залы театров и даже дансингов. Одним словом, девятый вал во всех увеселительных заведениях; боязнь любых контактов и жажда человеческого тепла, толкающая людей друг к другу, локоть к локтю, один пол к другому. Ясно, Коттар испы-

тал все это раньше прочих. За исключением, пожалуй, женщин, потому что с таким лицом, как у него… Я подозреваю даже, что ему не раз приходила охота отправиться к девочкам, но он отказывал себе в этом удовольствии потому, что все это, мол, неблаговидно и может сослужить ему впоследствии плохую службу.

Короче, чума ему на руку. Человека одинокого и в то же время тяготящегося своим одиночеством она превращает в сообщника. Ибо он явный сообщник, сообщник, упивающийся своим положением. Он соучастник всего, что попадает в поле его зрения: суеверий, непозволительных страхов, болезненной уязвимости встревоженных душ, их маниакального нежелания говорить о чуме и тем не менее говорить только о ней, их почти панического ужаса и бледности при пустяковой мигрени, потому что всем уже известно, что чума начинается с головной боли, и, наконец, их повышенной чувствительности, раздражительной, переменчивой, истолковывающей забывчивость как кровную обиду, а потерю пуговицы от брюк чуть ли не как катастрофу».

Теперь Тарру часто случалось проводить вечера с Коттаром. Потом он записывал, как они вдвоем ныряли в толпу, обесцвеченную сумер-

ками или мраком, зажатые чужими плечами, погружались в эту бело-черную массу, лишь кое-где прорезанную светом фонарей, и шли вслед за человеческим стадом к жгучим развлечениям, защищающим от могильного холода чумы. Те мечты, которые лелеял Коттар всего несколько месяцев назад и не мог их удовлетворить, то, чего он искал в общественных местах, а именно роскошь и широкую жизнь, возможность предаваться необузданным наслаждениям, — как раз к этому и стремился сейчас целый город. И хотя теперь цены буквально на все неудержимо росли, у нас никогда еще так не швыряли деньгами, и, хотя большинству не хватало предметов первой необходимости, никто не жалел средств на различные ненужности и пустяки. Широко распространились азартные игры, на которые так падка праздность. Однако в нашем случае праздность была просто безработицей. Иной раз Тарру с Коттаром долго шагали за какой-нибудь парочкой, которая раньше пыталась бы скрыть свои чувства, а теперь и он и она упорно шли через весь город, тесно прижавшись друг к другу, не видя окружающей толпы, с чуточку маниакальной рассеянностью, свойственной великим страстям. Коттар умилялся. «Ну и штукари!» —

говорил он. Он повышал голос, весь расцветал среди этой всеобщей лихорадки, королевских чаевых, звенящих вокруг, и интрижек, завязывающихся на глазах у всех.

Между тем Тарру отмечал, что в поведении Коттара никакой особой злобности не чувствовалось. Его «Я все это еще до них знал» — свидетельствует скорее о несчастье, чем о торжестве. «Думаю даже, — писал Тарру, — что он постепенно начинает любить этих людей, заточенных между небом и стенами их родного города. К примеру, он бы охотно объяснил им, конечно, если бы мог, что вовсе это не так уж страшно. «Нет, вы только их послушайте, — говорил он мне, — после чумы я, мол, то-то и то-то сделаю… Сидели бы спокойно, не отравляли бы себе жизнь. Своей выгоды не понимают. Вот я, разве я говорил: «После ареста сделаю то-то и то-то»? Арест — это самое начало, а не конец. Зато чума… Хотите знать мое мнение? Они несчастливы потому, что не умеют плыть по течению. Я-то знаю, что говорю».

И в самом деле, он знает, добавлял Тарру. Он совершенно правильно оценивает противоречия, раздирающие наших оранцев, которые ощущают глубочайшую потребность в человеческом тепле, сближающем людей, и в то же самое время не

могут довериться этому чувству из-за недоверия, отдаляющего их друг от друга. Слишком нам хорошо известно, что не следует чересчур полагаться на соседа, который, того гляди, наградит вас чумой, воспользуется минутой вашей доверчивости и заразит вас. Если проводить время так, как проводил его Коттар, то есть видеть потенциальных осведомителей во всех тех людях, общества которых ты сам добивался, то можно понять это состояние. Нельзя не сочувствовать людям, живущим мыслью, что чума не сегодня завтра положит руку тебе на плечо и что, может, как раз в эту самую минуту она готовится к прыжку, а ты вот радуешься, что пока еще цел и невредим. В той мере, в какой это возможно, он чувствует себя вполне уютненько среди всеобщего ужаса. Но так как все это он перечувствовал задолго до нас, думаю, он не способен в полной мере осознать вместе с нами всю жестокость этой неуверенности. Короче, в обществе всех нас, пока еще не умерших от чумы, он прекрасно ощущает, что его победа и жизнь ежедневно находятся накануне гибели. Но коль скоро он сам прошел через это состояние ужаса, он считает вполне естественным, чтобы и другие тоже узнали его. Или, точнее, если бы он был один в таком поло-

жении, переносить это состояние ужаса ему было бы куда мучительнее. Тут он, конечно, не прав, и понять его труднее, чем прочих. Но именно в этом пункте он больше, чем прочие, заслуживает труда быть понятым».

Записи Тарру оканчиваются рассказом, ярко иллюстрирующим это особое умонастроение, которое возникало одновременно и у Коттара, и у зачумленных. Рассказ этот в какой-то мере воссоздает тяжкую атмосферу этого периода, и вот почему рассказчик считает его важным.

Оба они отправились в городской оперный театр, где давали глюковского «Орфея». Коттар пригласил с собой Тарру. Дело в том, что весной, перед самым началом эпидемии, в наш город приехала оперная труппа, рассчитывавшая дать несколько спектаклей. Отрезанная чумой от мира, труппа, по согласованию с дирекцией нашей оперы, вынуждена была давать спектакль раз в неделю. Таким образом, в течение нескольких месяцев каждую пятницу наш городской театр оглашали мелодичные жалобы Орфея и бессильные призывы Эвридики. Однако спектакль неизменно пользовался успехом у зрителей и давал полные сборы. Усевшись на самые дорогие места в бенуаре, Тарру с Коттаром могли сверху

любоваться переполненным партером, где собрались наиболее элегантные наши сограждане. Входящие явно старались как можно эффектнее обставить свое появление. В ослепительном свете рампы, пока музыканты под сурдинку настраивали свои инструменты, четко вырисовывались силуэты, двигающиеся от ряда к ряду, грациозно раскланивающиеся со знакомыми. Под легкий гул светских разговоров мужчины разом обретали уверенность, какой им так не хватало всего час назад на темных улицах города. Чума отступала перед фраком.

Все первое действие Орфей легко, не форсируя голоса, жаловался на свой удел, несколько девиц в античных туниках изящными жестами комментировали его злосчастье, и любовь воспевалась в ариеттах. Зал реагировал тепло, но сдержанно. Вряд ли публика заметила, что в арию второго действия Орфей вводит не предусмотренное композитором тремоло и с чуть повышенным пафосом молит владыку Аида тронуться его слезами. Кое-какие чересчур судорожные жесты знатоки сочли данью стилизации, что, по их мнению, обогащало интерпретацию певца.

Только во время знаменитого дуэта Орфея с Эвридикой в третьем акте (когда Эвридика

ускользает от своего возлюбленного) легкий трепет удивления прошел по залу. И словно певец специально ждал этого тревожного шевеления в публике, или, вернее, невнятный рокот голосов, дошедший из партера до сцены, внезапно подтвердил то, что он смутно чувствовал, только выбрал этот момент, чтобы нелепейшим образом шагнуть к рампе, растопырив под своей античной туникой руки и ноги, и рухнуть среди пасторальных декораций, которые и всегда-то казались анахронизмом, но сейчас в глазах зрителей впервые стали по-настоящему зловеще анахроничными. Ибо в то же самое время оркестр вдруг смолк, зрители партера, поднявшись с мест, стали медленно и молча выходить из зала, как выходят после мессы из церкви или из комнаты, где лежит покойник, к которому приходят отдать последний долг: дамы — подобрав юбки, опустив головы, а кавалеры — поддерживая своих спутниц за локоть, чтобы уберечь их от толчков откидных стульев. Но мало-помалу движение ускорилось, шепот перешел в крик, и толпа хлынула к запасным выходам. У дверей началась давка, послышались вопли. Коттар и Тарру только поднялись и стояли теперь лицом к лицу с тем, что было одним из аспектов нашей тепереш-

ней жизни: чума на сцене в облике бившегося в судорогах лицедея, а в зале вся ненужная теперь роскошь в образе забытых вееров и кружевных косынок, цеплявшихся за алый бархат кресел.

В течение первой недели сентября Рамбер всерьез впрягся в работу и помогал Риэ. Он только попросил доктора дать ему выходной в тот день, на который была назначена встреча у здания мужского лицея с Гонсалесом и братьями.

В полдень Гонсалес и журналист еще издали увидели братьев, чему-то на ходу смеявшихся. Братья заявили, что в прошлый раз им ничего не удалось сделать, что, впрочем, не было неожиданным. Так или иначе, на этой неделе они не дежурят. Придется подождать следующей. Тогда и начнем все сначала. Рамбер сказал, что вот именно сначала. Тут Гонсалес предложил встретиться в будущий понедельник. Но тогда уж Рамбера поселят у Марселя и Луи. «Мы с тобой только вдвоем встретимся. Если я почему-либо не приду, топай прямо к ним. Сейчас тебе объяснят, куда идти». Но Марсель, а может, Луи, сказал, что проще всего отвести сейчас же их приятеля к ним. Если Рамбер не слишком переборчивый, его там и накормят, еды хватит на четверых. А он таким образом войдет в курс дела. Гонсалес

подтвердил: мысль и в самом деле блестящая, и все четверо двинулись к порту.

Марсель и Луи жили в самом конце Флотского квартала, возле ворот, выходивших на приморское шоссе. Домик у них был низенький, в испанском стиле, с толстыми стенами, с ярко раскрашенными деревянными ставнями, а в комнатах было пусто и прохладно. Мать мальчиков, старуха испанка, с улыбчатым, сплошь морщинистым лицом, подала им вареный рис. Гонсалес удивился: в городе рис уже давно пропал. «У ворот всегда чего-нибудь добудешь», — пояснил Марсель. Рамбер ел и пил. Гонсалес твердил, что это свой парень, а свой парень слушал и думал только о том, что ему придется торчать здесь еще целую неделю.

На самом же деле пришлось ждать не одну, а две недели, так как теперь сократили число караулов и стражники сменялись раз в полмесяца. И в течение этих двух недель Рамбер работал не щадя сил, работал как заведенный, с зари до ночи, закрыв на все глаза. Ложился он поздно и сразу забывался тяжелым сном. Резкий переход от безделья к изнурительной работе почти лишал его сновидений и сил. О своем скором освобождении он не распространялся. Примечательный факт:

к концу первой недели он признался доктору, что впервые за долгий срок прошлой ночью здорово напился. Когда он вышел из бара, ему вдруг померещилось, будто железы у него в паху распухли и что-то под мышками мешает свободно двигать руками. Он решил, что это чума. И единственной его реакцией — он сам согласился с Риэ, весьма безрассудной реакцией, — было то, что он бросился бежать к возвышенной части города, и там, стоя на маленькой площади, откуда и моря-то не было видно, разве что небо казалось пошире, он громко крикнул, призывая свою жену через стены зачумленного города. Вернувшись домой и не обнаружив ни одного симптома заражения, он устыдился своего внезапного порыва. Риэ сказал, что он отлично понимает такой поступок. «Во всяком случае, — добавил доктор, — желание так поступить вполне объяснимо».

— Кстати, сегодня утром мсье Отон говорил со мной о вас, — вдруг добавил Риэ, когда Рамбер с ним прощался. — Спросил, знаю ли я вас. «А раз знаете, — это он мне сказал, — так посоветуйте ему не болтаться среди контрабандистской братии. Его засекли».

— Что все это значит?

— Значит, что вам следует поторопиться.

— Спасибо, — сказал Рамбер, пожимая доктору руку.

Уже стоя на пороге, он неожиданно обернулся. Риэ отметил про себя, что впервые с начала эпидемии Рамбер улыбается.

— А почему бы вам не помешать моему отъезду? У вас же есть такая возможность.

Риэ характерным своим движением покачал головой и сказал, что это дело его, Рамбера, что он, Рамбер, выбрал счастье и что он, Риэ, в сущности, не имеет в своем распоряжении никаких веских аргументов против этого выбора. В таких делах он чувствует себя не способным решать, что худо и что хорошо.

— Почему же в таком случае вы советуете мне поторопиться?

Тут улыбнулся Риэ:

— Возможно, потому, что и мне тоже хочется сделать что-нибудь для счастья.

На другой день они уже не возвращались к этой теме, хотя работали вместе. На следующей неделе Рамбер перебрался наконец в испанский домик. Ему устроили ложе в общей комнате. Так как мальчики не приходили домой обедать и так как Рамбера просили не выходить без крайней нужды, он целыми днями сидел один или болтал

со старухой испанкой, матерью Марселя и Луи. Эта худенькая старушка, вся в черном, со смуглым морщинистым лицом под белоснежными, до блеска промытыми седыми волосами, была на редкость деятельна и подвижна. Она обычно молчала, и, только когда она смотрела на Рамбера, в глазах ее расцветала улыбка.

Иногда она спрашивала его, не боится ли он занести заразу жене, Рамбер отвечал, что имеется, конечно, некоторый риск, но он не так уж велик, а если ему оставаться в городе, они, чего доброго, вообще никогда не увидятся.

— А она милая? — улыбаясь, спросила старуха.

— Очень.

— Хорошенькая?

— По-моему, да.

— Ага, значит, поэтому, — сказала старуха.

Рамбер задумался. Конечно, и поэтому, но невозможно же, чтобы только поэтому.

— Вы в Господа Бога не верите? — спросила старуха, она каждое утро аккуратно ходила к мессе.

Рамбер признался, что не верит, и старуха добавила, что и поэтому тоже.

— Тогда вы правы, поезжайте к ней. Иначе что же вам остается?

Целыми днями Рамбер кружил среди голых

стен, побеленных известкой. Трогал по дороге прибитые к стене веера или же считал помпоны на шерстяном коврике, покрывавшем стол. Вечером возвращались мальчики. Разговорчивостью они не отличались, сообщали только, что еще не время. После обеда Марсель играл на гитаре и все пили анисовый ликер. Казалось, Рамбер все время о чем-то думает.

В среду Марсель, вернувшись, сказал: «Завтра в полночь, будь готов заранее». Один из двух постовых, дежуривших с ними, заболел чумой, а другого, который жил с заболевшим в одной комнате, взяли в карантин. Таким образом, дня два-три Марсель и Луи будут дежурить одни. Нынче ночью они сделают последние приготовления. Видимо, завтра удобнее всего. Рамбер поблагодарил. «Рады?» — спросила старушка. Он сказал — да, рад, но сам думал о другом.

На следующий день с тяжко нависавшего неба лился душный влажный зной. Сведения о чуме были неутешительны. Только одна старушка испанка не теряла ясности духа. «Нагрешили мы, — говорила она. — Чего ж тут удивляться». Рамбер по примеру Марселя и Луи скинул рубашку. Но это не помогало, между лопатками и по голой груди струйками стекал пот. В полу-

мраке комнаты с плотно закрытыми ставнями их обнаженные торсы казались коричневыми, словно отлакированными. Рамбер молча кружил по комнате. Вдруг в четыре часа пополудни он оделся и заявил, что уходит.

— Только смотри — ровно в полночь, — сказал Марсель. — Все уже готово.

Рамбер направился к Риэ. Мать доктора сообщила Рамберу, что тот в лазарете в верхнем городе. Перед лазаретом у караулки все по-прежнему топтались люди. «А ну, проходи», — твердил сержант с глазами навыкате. Люди проходили, но, описав круг, возвращались обратно. «Нечего тут ждать!» — говорил сержант в пропотевшей от пота куртке. Такого же мнения придерживалась и толпа, но все же не расходилась, несмотря на убийственный зной. Рамбер предъявил сержанту пропуск, и тот направил его в кабинет Тарру. В кабинет попадали прямо со двора. Рамбер столкнулся с отцом Панлю, который как раз выходил из кабинета.

В тесной грязной комнатенке с побеленными стенами, пропахшей аптекой и волглым бельем, сидел за черным деревянным столом Тарру; он засучил рукава сорочки и вытирал скомканным носовым платком пот, стекавший в углубление

на сгибе локтя.

— Еще здесь? — удивился он.

— Да. Мне хотелось бы поговорить с Риэ.

— Он в палате. Но если дело можно уладить без него, лучше его не трогать.

— Почему?

— Он еле на ногах держится. Я стараюсь избавить его от лишних хлопот.

Рамбер взглянул на Тарру. Он тоже исхудал. В глазах, в чертах лица читалась усталость. Его широкие сильные плечи ссутулились. В дверь постучали, и вошел санитар в белой маске. Он положил на письменный стол перед Тарру пачку карточек, сказал только «шесть» глухим из-за марлевой повязки голосом и удалился. Тарру поднял глаза на журналиста и указал ему на карточки, которые веером держал в руке.

— Миленькие карточки, а? Да нет, я шучу — это умершие. Умерли за ночь.

Лоб его прорезала морщина. Он сложил карточки в пачку.

— Единственное, что нам осталось, — это отчетность.

Тарру поднялся, оперся ладонями о край стола.

— Скоро уезжаете?

— Сегодня в полночь.

Тарру сказал, что он сердечно этому рад и что Рамберу следует быть поосторожнее.

— Вы это искренне?

Тарру пожал плечами:

— В мои годы хочешь не хочешь приходится быть искренним. Лгать слишком утомительно.

— Тарру, — произнес журналист, — мне хотелось бы повидаться с доктором. Простите меня, пожалуйста.

— Знаю, знаю. Он человечнее меня. Ну пойдем.

— Да нет, не поэтому, — с трудом сказал Рамбер. И замолчал.

Тарру посмотрел на него и вдруг улыбнулся.

Они прошли узеньким коридорчиком, стены которого были выкрашены в светло-зеленый цвет, и поэтому казалось, будто они идут по дну аквариума. У двойных застекленных дверей, за которыми нелепо суетились какие-то тени, Тарру повернул и ввел Рамбера в крохотную комнату, сплошь в стенных шкафах. Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тарру ответил: нет, зато действует на других успокоительно.

Они открыли стеклянную дверь. И попали в

огромную палату, где, несмотря на жару, все окна были наглухо закрыты. На стенах под самым потолком жужжали вентиляторы, и их скошенные лопасти месили горячий жирный воздух, гоня его над стоявшими в два ряда серыми койками. Из всех углов шли приглушенные стоны, иногда прерываемые пронзительным вскриком, и все эти звуки сливались в одну нескончаемую однообразную жалобу. Люди в белых халатах медленно двигались по палате под ярким до резкости светом, лившимся в высокие окна, забранные решеткой. Рамберу стало не по себе в этой душной до одури палате, и он с трудом узнал Риэ, который склонился над распластавшейся на постели и стонущей фигурой. Доктор вскрывал бубоны в паху больного, а две санитарки, стоя по бокам койки, держали того в позе человека, подвергающегося четвертованию. Выпрямившись, Риэ бросил инструменты на поднос, который подставил фельдшер, с минуту постоял не шевелясь и глядя на больного, которому делали перевязку.

— Что новенького? — спросил он подошедшего к нему Тарру.

— Панлю согласился замещать Рамбера в карантине. Он уже многое сделал. Теперь надо только организовать третью дружину, инспекционную,

раз Рамбер уезжает.

Риэ молча кивнул.

— Кастель уже приготовил первые препараты. Предлагает испытать.

— Ого, вот это славно! — сказал Риэ.

— И наконец, здесь Рамбер.

Риэ обернулся. Разглядывая журналиста, он прищурил глаза, не закрытые маской.

— А вы почему здесь? — спросил он. — Вам полагается быть далеко отсюда.

Тарру сказал, что нынче вечером Рамбер будет далеко, а сам Рамбер добавил: «Теоретически».

Всякий раз при разговоре маска пучилась, промокала у рта. Разговор поэтому получался какой-то нереальный, как диалог статуй.

— Мне хотелось бы поговорить с вами, — сказал Рамбер.

— Если угодно, давайте вместе выйдем. Подождите меня в комнате у Тарру.

Через несколько минут Рамбер и Риэ уже сидели на заднем сиденье докторского автомобиля. Вел машину Тарру.

— Бензин кончается, — сказал он, включая скорость. — Завтра придется топать на своих двоих.

— Доктор, — проговорил Рамбер, — я не еду, я хочу остаться здесь, с вами.

Тарру даже не шелохнулся. Он по-прежнему вел машину. А Риэ, казалось, уже был не в силах вынырнуть из недр усталости.

— А как же она? — глухо спросил он.

Рамбер ответил, что он еще и еще думал, что он по-прежнему верит в то, во что верил, но, если он уедет, ему будет стыдно. Ну, короче, это помешает ему любить ту, которую он оставил. Но тут Риэ вдруг выпрямился и твердо сказал, что это глупо и что ничуть не стыдно отдать предпочтение счастью.

— Верно, — согласился Рамбер. — Но все-таки стыдно быть счастливым одному.

Молчавший до этого Тарру сказал, не поворачивая головы, что, если Рамберу угодно разделять людское горе, ему никогда не урвать свободной минуты для счастья. Надо выбирать что-нибудь одно.

— Тут другое, — проговорил Рамбер. — Я раньше считал, что чужой в этом городе и что мне здесь у вас нечего делать. Но теперь, когда я видел то, что видел, я чувствую, что я тоже здешний, хочу я того или нет. Эта история касается равно всех нас.

Никто ему не ответил, и Рамбер нетерпеливо шевельнулся.

— И вы ведь сами это отлично знаете! Иначе что бы вы делали в вашем лазарете? Или вы тоже сделали выбор и отказались от счастья?

Ни Тарру, ни Риэ не ответили на этот вопрос. Молчание затянулось и длилось почти до самого дома Риэ. И тут Рамбер снова повторил свой вопрос, но уже более настойчиво. И опять только один Риэ повернулся к нему. Чувствовалось, что даже этот жест дался ему с трудом.

— Простите меня, Рамбер, — проговорил он, — но я сам не знаю. Оставайтесь с нами, раз вы хотите.

Он замолчал, так как машина резко свернула в сторону. Потом снова заговорил, глядя в ветровое стекло:

— Разве есть на свете хоть что-нибудь, ради чего можно отказаться от того, что любишь? Однако я тоже отказался, сам не знаю почему.

Он снова откинулся на спинку сиденья.

— Просто я констатирую факт, вот и все, — устало произнес он. — Примем это к сведению и сделаем выводы.

— Какие выводы? — спросил Рамбер.

— Эх, нельзя одновременно лечить и знать, — ответил Риэ. — Поэтому будем стараться излечивать как можно скорее. Это самое неотложное.

В полночь Тарру и Риэ вручили Рамберу план квартала, который ему предстояло инспектировать, и вдруг Тарру поглядел на часы. Подняв голову, он встретил взгляд Рамбера.

— Вы предупредили?

Журналист отвел глаза.

— Послал записку, — с трудом проговорил он, — еще прежде, чем прийти сюда, к вам.

Сыворотку Кастеля испробовали только в конце октября. Практически эта сыворотка была последней надеждой Риэ. Доктор был твердо убежден, что в случае новой неудачи город окончательно попадет под власть капризов чумы независимо от того, будет ли хозяйничать эпидемия еще долгие месяцы или вдруг ни с того ни с сего пойдет на убыль.

Накануне того дня, когда Кастель зашел к Риэ, заболел сын мсье Отона, и всю семью полагалось отправить в карантин. Мать, сама только что вышедшая из карантина, вынуждена была возвратиться туда снова. Свято чтя приказы властей, следователь вызвал доктора Риэ, как только обнаружил на теле ребенка первые пометы болезни. Когда Риэ явился, родители стояли у изножья постели. Девочку удалили из дома. Мальчик находился в первой стадии болезни,

характеризующейся полным упадком сил, и покорно дал себя осмотреть. Когда доктор поднял голову, он встретил взгляд отца, увидел бледное лицо матери, стоявшей чуть поодаль; прижимая к губам носовой платок, она широко открытыми глазами следила за манипуляциями врача.

— То самое, не так ли? — холодно спросил следователь.

— Да, — ответил Риэ, снова посмотрев на ребенка.

Глаза матери расширились от ужаса, но она ничего не сказала. Следователь тоже молчал, потом вполголоса произнес:

— Что ж, доктор, мы обязаны сделать то, что предписывается в таких случаях.

Риэ старался не смотреть на мать, которая по-прежнему стояла поодаль, зажимая рот платком.

— Если я сейчас позвоню, все сделают быстро, — нерешительно проговорил он.

Мсье Отон вызвался проводить его к телефону. Но доктор повернулся к его жене:

— Я очень огорчен. Вам придется собрать кое-какие вещи. Ведь вы знаете, как все это делается.

Мадам Отон в каком-то оцепенении выслушала его. Глаз она не подняла.

— Да, знаю, — сказала она, кивнув головой. —

Сейчас соберу.

Прежде чем уйти от них, Риэ, не удержавшись, спросил, не нужно ли им чего-нибудь. Мать по-прежнему молча смотрела на него. Но на сей раз отвел глаза следователь.

— Нет, спасибо, — сказал он, с трудом проглотив слюну, — только спасите моего ребенка.

Вначале карантин был простой формальностью, но, когда за дело взялись Риэ с Рамбером, все правила изоляции стали соблюдаться неукоснительно. В частности, они потребовали, чтобы члены семьи больного помещались непременно раздельно. Если один из них уже заразился, сам того не подозревая, то не следует увеличивать риск. Риэ изложил эти соображения следователю, который признал их весьма разумными. Однако они с женой переглянулись, и, поймав их взгляд, доктор понял, как убиты оба предстоящей разлукой. Мадам Отон с дочкой решено было устроить в отеле, отведенном под карантин, которым руководил Рамбер. Но мест там было в обрез, и на долю следователя остался только так называемый лагерь для изолируемых, этот лагерь устроила на городском стадионе префектура, взяв заимообразно для этой цели палатки у дорожного ведомства. Риэ извинился за несовершенство лагеря, но мсье

Отон сказал, что правила существуют для всех, и вполне справедливо, что все им подчиняются.

А мальчика перевезли во вспомогательный лазарет, который устроили в бывшей классной комнате, поставив десять коек. После двадцатичасовой борьбы Риэ понял, что случай безнадежен. Маленькое тельце без сопротивления отдалось во власть пожиравших его микробов. На хрупких суставах набухли совсем небольшие, но болезненные бубоны, сковывавшие движения. Мальчик был заранее побежден недугом. Вот почему Риэ решил испробовать на нем сыворотку Кастеля. В тот же день под вечер они сделали ему капельное вливание. Но ребенок даже не реагировал. А на заре следующего дня все собрались у постели ребенка, чтобы проверить результаты решающего опыта.

Выйдя из состояния первоначального оцепенения, мальчик судорожно ворочался под одеялом. С четырех часов утра доктор Кастель и Тарру не отходили от его постели, ежеминутно следя за усилением или ослаблением болезни. Тарру стоял в головах, чуть нагнув над постелью свой могучий торс. Риэ тоже стоял, но в изножье, а рядом сидел Кастель и с видом полнейшего спокойствия читал какой-то старый медицин-

ский труд. Но когда начало светать, в бывшем школьном классе постепенно собрались и другие. Первым пришел Панлю, он встал напротив Тарру и прислонился к стене. На лице его застыло страдальческое выражение, а многодневная усталость, связанная с постоянной угрозой заражения, прочертила морщины на его багровом лбу. Пришел и Жозеф Гран. Было уже семь часов, и Гран попросил извинения, что еще не отдышался. Он только на минутку, просто забежал узнать, нет ли каких новостей. Риэ молча указал ему на ребенка, который, зажмурив веки, сжав зубы, насколько позволяли ему силенки, неподвижно лежал с искаженным болью лицом и только все перекатывал голову справа налево по валику подушки без наволочки. А когда уже стало совсем светло и на черной классной доске, которую так и не удосужились снять, можно было различить нестертые столбики уравнения, явился Рамбер. Он прислонился к стене в изножье соседней койки и вытащил было из кармана пачку сигарет. Но, посмотрев на мальчика, сунул ее обратно.

Кастель, не вставая с места, бросил поверх очков взгляд на Риэ.

— Об отце что-нибудь известно?

— Нет, — ответил Риэ, — он в карантине, в

лагере.

Доктор изо всех сил сжал перекладину кровати, на которой стонал мальчик. Он не спускал глаз с больного ребенка, который внезапно весь напрягся и, снова сжав зубки, как-то странно прогнулся в талии и медленно раскинул руки и ноги. От маленького голенького тела, прикрытого грубым солдатским одеялом, шел острый запах пота и взмокшей шерсти. Мало-помалу тело мальчика обмякло, он свел руки и ноги и, по-прежнему ничего не видевший, ничего не говоривший, как будто задышал быстрее. Риэ поймал взгляд Тарру, но тот сразу же отвел глаза.

Они уже не раз видели смерть детей, коль скоро ужас, бушевавший в городе в течение нескольких месяцев, не выбирал своих жертв, но впервые им пришлось наблюдать мучения ребенка минута за минутой, как нынче утром. И разумеется, недуг, поражавший невинные создания, они воспринимали именно так, как оно и было на самом деле, — как нечто постыдное. Но до сих пор стыд этот был в какой-то мере отвлеченный, потому что еще ни разу не следили они так долго за агонией невинного младенца, не смотрели ей прямо в лицо.

Но тут мальчик, словно его укусили в живот,

снова скорчился, тоненько пискнув. Так он, скорчившись, пролежал несколько долгих секунд, его била дрожь, его сотрясали конвульсии, как будто маленький хрупкий костяк гнулся под яростным шквалом чумы, трещал под налетающими порывами лихорадки. Когда шквал прошел, тело его чуть обмякло, казалось, лихорадка отступилась и бросила его, задыхающегося на этом влажном от пота, зараженном микробами одре, где даже эта короткая передышка уже походила на смерть. Когда в третий раз его накрыла жгучая волна, приподняла с постели, мальчик скрючился, забился в уголок, напуганный сжигавшим его жаром, и яростно затряс головой, отбрасывая одеяло. Крупные слезы брызнули из-под его воспаленных век, поползли по свинцовому личику, а когда приступ кончился, он, обессилев, развел костлявые ножонки и ручки, которые за двое суток превратились в палочки, обтянутые кожей, и улегся в нелепой позе распятого.

Тарру нагнулся и отер своей тяжелой ладонью пот и слезы с маленького личика. Кастель захлопнул книгу и с минуту смотрел на больного. Он заговорил было, но в середине фразы ему пришлось откашляться, так как голос сорвался и прозвучал неестественно.

— Утренней ремиссии не было, Риэ?

Риэ сказал, что не было, однако ребенок сопротивляется болезни много дольше обычного. Панлю, устало привалившийся к стене, произнес глухим голосом:

— Если ему суждено умереть, он будет страдать много дольше обычного.

Доктор резко повернулся к нему, открыл было рот, но заставил себя промолчать, что, видимо, стоило ему немалого труда, и снова устремил взгляд на мальчика.

По палате все шире разливался дневной свет. Стоны, которые шли с пяти соседних коек, где беспокойно ворочались человеческие фигуры, свидетельствовали о какой-то сознательной сдержанности. Только из дальнего угла неслась крик, который через равные промежутки сменялся короткими охами, в них было больше удивления, чем страдания. Казалось даже, сами больные уже притерпелись и не испытывают страха, как в начале эпидемии. В их теперешнем отношении к болезни чувствовалось что-то вроде ее приятия. Один только ребенок бился с недугом изо всех своих сил. Риэ время от времени щупал ему пульс, впрочем без особой надобности, а скорее чтобы выйти из состояния одолевавшего его

цепенящего бессилия, и когда он закрывал глаза, то чувствовал, как ему самому передается чужой трепет, стучит в его жилах вместе с собственной его кровью. В такие мгновения он как бы отождествлял себя с истязуемым болезнью ребенком и старался поддержать его всеми своими еще не сдавшими силами. Но проходила минута — и два этих сердца бились уже не в унисон, ребенок ускользал от Риэ, и усилия врача рушились в пустоту. Тогда он отпускал тоненькое запястье и отходил на место.

Розоватый свет, падавший из окон на стены, выбеленные известкой, постепенно принимал желтый оттенок. Там, за оконными стеклами, уже потрескивало знойное утро. Вряд ли они, собравшиеся у постели, слышали, как ушел Гран, пообещав заглянуть еще. Они ждали. Ребенок, лежавший с закрытыми глазами, казалось, стал чуть поспокойнее. Пальцы его, похожие на коготки птицы, осторожно перебирали край койки. Потом они всползли кверху, поцарапали одеяло на уровне колен, и внезапно мальчик скрючил ноги, подтянул их к животу и застыл в неподвижности. Тут он впервые открыл глаза и посмотрел прямо на Риэ, стоявшего рядом. На лицо его, изглоданное болезнью, как бы легла маска из серой

глины, рот приоткрылся, и почти сразу же с губ сорвался крик, один-единственный, протяжный, чуть замиравший во время вздохов и заполнивший всю палату монотонной надтреснутой жалобой, протестом до того нечеловеческим, что казалось, исходит он ото всех людей разом. Риэ стиснул зубы, Тарру отвернулся. Рамбер шагнул вперед и стал рядом с Кастелем, который закрыл лежавшую у него на коленях книгу. Отец Панлю посмотрел на этот обметанный болезнью рот, из которого рвался не детский крик, а крик вне возраста. Он опустился на колени, и все остальные сочли вполне естественными слова, что он произнес отчетливо, но сдавленным голосом, не заглушаемым этим никому не принадлежавшим жалобным стоном: «Господи, спаси этого ребенка!»

Но ребенок не замолкал, и больные в палате заволновались. Тот, в дальнем углу, по-прежнему вскрикивавший время от времени, вскрикивал теперь в ином, учащенном ритме, и скоро отдельные его возгласы тоже превратились в настоящий вопль, сопровождаемый все усиливавшимся стоном других больных. Со всех углов палаты к ним подступала волна рыданий, заглушая молитву отца Панлю, и Риэ, судорожно вцепившись паль-

цами в спинку кровати, закрыл глаза, он словно опьянел от усталости и отвращения.

Когда он поднял веки, рядом с ним стоял Тарру.

— Придется мне уйти, — сказал Риэ. — Не могу этого выносить.

Но вдруг больные, как по команде, замолчали. И тут только доктор понял, что крики мальчика слабеют, слабеют с каждым мгновением и вдруг совсем прекратились. Вокруг снова послышались стоны, но глухие, будто отдаленное эхо той борьбы, которая только что завершилась. Ибо она завершилась. Кастель обошел койку и сказал, что это конец. Не закрыв молчавшего уже теперь рта, ребенок тихо покоился среди сбитых одеял, он вдруг стал совсем крохотный, а на щеках его так и не высохли слезы.

Отец Панлю приблизился к постели и перекрестил покойника. Потом, подобрав полы сутаны, побрел по главному проходу.

— Значит, опять все начнем сызнова? — обратился к Кастелю Тарру.

Старик доктор покачал головой.

— Возможно, — криво улыбнулся он. — В конце концов мальчик боролся долго.

Тем временем Риэ уже вышел из палаты; шагал

он так быстро и с таким странным лицом, что отец Панлю, которого он перегнал в коридоре, схватил доктора за локоть и удержал.

— Ну-ну, доктор, — сказал он.

Все так же запальчиво Риэ обернулся и яростно бросил в лицо Панлю:

— У этого-то, надеюсь, не было грехов — вы сами это отлично знаете!

Потом он отвернулся, обогнал отца Панлю и направился в глубь школьного сада. Там он уселся на скамейку, стоявшую среди пыльных деревцев, и стер ладонью пот, стекавший со лба на веки. Ему хотелось кричать, вопить, лишь бы лопнул наконец этот проклятый узел, перерезавший ему надвое сердце. Зной медленно просачивался сквозь листья фикусов. Бирюзовое утреннее небо быстро заволакивало, как бельмом, белесой пленкой, и воздух стал еще душнее. Риэ тупо сидел на скамье. Он глядел на ветки, на небо, и постепенно дыхание его налаживалось, уходила усталость.

— Почему вы говорили со мной так гневно? — раздался за его спиной чей-то голос. — Я тоже с трудом вынес это зрелище.

Риэ обернулся к отцу Панлю.

— Вы правы, простите меня, — сказал он. — Но усталость — это то же сумасшествие, и в иные ча-

сы для меня в этом городе не существует ничего, кроме моего протеста.

— Понимаю, — пробормотал отец Панлю. — Это действительно вызывает протест, ибо превосходит все наши человеческие мерки. Но быть может, мы обязаны любить то, чего не можем объять умом.

Риэ резко выпрямился. Он посмотрел на отца Панлю, вложив в свой взгляд всю силу и страсть, отпущенные ему природой, и тряхнул головой.

— Нет, отец мой, — сказал он. — У меня лично иное представление о любви. И даже на смертном одре я не приму этот мир Божий, где истязают детей.

Лицо Панлю болезненно сжалось, словно по нему прошла тень.

— Теперь, доктор, — грустно произнес он, — я понял, что зовется благодатью.

Но Риэ уже снова обмяк на своей скамейке. Вновь поднялась из самых глубин усталость, и он проговорил более мягко:

— У меня ее нет, я знаю. Но я не хочу вступать с вами в такие споры. Мы вместе трудимся ради того, что объединяет нас, и это за пределами богохульства и молитвы! Только одно это и важно.

Отец Панлю опустился рядом с Риэ. Вид у него

был взволнованный.

— Да, — сказал он, — и вы, вы тоже трудитесь ради спасения человека.

Риэ вымученно улыбнулся:

— Ну, знаете ли, для меня такие слова, как спасение человека, звучат слишком громко. Так далеко я не заглядываю. Меня интересует здоровье человека, в первую очередь здоровье.

Отец Панлю нерешительно молчал.

— Доктор, — наконец проговорил он.

Но сразу осекся. По его лбу тоже каплями стекал пот. Он буркнул: «До свидания», поднялся со скамьи, глаза его блестели. Он уже шагнул было прочь, но тут Риэ, сидевший в задумчивости, тоже встал и подошел к нему.

— Еще раз простите меня, пожалуйста, — сказал он. — Поверьте, эта вспышка не повторится.

Отец Панлю протянул доктору руку и печально произнес:

— И однако, я вас не переубедил!

— А что бы это дало? — возразил Риэ. — Вы сами знаете, что я ненавижу зло и смерть. И хотите ли вы или нет, мы здесь вместе для того, чтобы страдать от этого и с этим бороться.

Риэ задержал руку отца Панлю в своей.

— Вот видите, — добавил он, избегая глядеть

на него, — теперь и сам Господь Бог не может нас разлучить.

С того самого дня, как отец Панлю вступил в санитарную дружину, он не вылезал из лазаретов и пораженных чумой кварталов. Среди членов дружины он занял место, которое, на его взгляд, больше всего подходило ему по рангу, то есть первое. Смертей он нагляделся с избытком. И хотя теоретически он был защищен от заражения предохранительными прививками, мысль о собственной смерти не была ему чуждой. Внешне он при всех обстоятельствах сохранял спокойствие. Но с того дня, когда он в течение нескольких часов смотрел на умирающего ребенка, что-то в нем надломилось. На лице все явственнее читалось внутреннее напряжение. И когда он как-то с улыбкой сказал Риэ, что как раз готовит небольшую работу — трактат на тему «Должен ли священнослужитель обращаться к врачу?», доктору почудилось, будто за этими словами скрывается нечто большее, чем хотел сказать святой отец. Риэ выразил желание ознакомиться с этим трудом, но Панлю заявил, что вскоре он произнесет во время мессы проповедь и постарается изложить в ней хотя бы отдельные свои соображения.

— Буду очень рад, доктор, если вы тоже придете; уверен, что вас это заинтересует.

Вторая проповедь отца Панлю пришлась на ветреный день. Откровенно говоря, ряды присутствующих по сравнению с первым разом значительно поредели. Главное потому, что подобные зрелища уже потеряли для наших сограждан прелесть новизны. Да и слово «новизна» тоже утратило свой первоначальный смысл в те трудные дни, какие переживал наш город. К тому же большинство наших сограждан, если даже они еще не окончательно отвернулись от выполнения религиозных обязанностей или не сочетали их слишком открыто со своей личной, глубоко безнравственной жизнью, восполняли обычные посещения церкви довольно-таки нелепыми суевериями. Они предпочитали не ходить к мессе, зато носили на шее медальоны, обладающие свойством предохранять от недугов, или амулеты с изображением святого Роха.

В качестве иллюстрации можно привести неумеренное увлечение наших сограждан различными пророчествами. Так, весной все мы с минуты на минуту дружно ждали прекращения чумы и никому не приходило в голову выспрашивать соседа его мнение о сроках эпидемии,

поскольку все старались себя убедить, что она вот-вот затухнет. Но шли дни, и люди начали бояться, что беда вообще никогда не кончится, и тогда-то прекращение эпидемии стало объектом всеобщих чаяний. Тут-то и стали ходить по рукам различные прорицания, почерпнутые из высказываний католических святых или пророков. Владельцы городских типографий быстренько смекнули, какую выгоду можно извлечь из этого поголовного увлечения, и отпечатали во множестве экземпляров тексты, циркулировавшие по всему Орану. Но, заметив, что это не насытило жадного любопытства публики, дельцы предприняли розыски, перерыли все городские библиотеки и, обнаружив подходящие свидетельства такого рода, рассыпанные по местным летописям, распространяли их по городу. Но поскольку летопись скупа на подобные прорицания, их стали заказывать журналистам, которые, по крайней мере в этом пункте, выказали себя столь же сведущими, как их учителя в минувших веках.

Некоторые из этих пророчеств печатались подвалами в газетах. Читатели набрасывались на них с такой же жадностью, как на сентиментальные историйки, помещавшиеся на последней

странице в благословенные времена здоровья. Некоторые из этих прорицаний базировались на весьма причудливых подсчетах, где все было вперемешку: и непременно цифра тысяча, и количество смертей, и подсчет месяцев, прошедших под властью чумы. Другие проводили сравнения с великими чумными морами, именуемыми в предсказаниях константными, и из своих более или менее причудливых подсчетов извлекали данные о нашем теперешнем испытании. Но особенно высоко ценила публика прорицания, составленные в стиле пророчеств Апокалипсиса и возвещавшие о череде событий, каждое из которых можно было без труда применить к нашему городу и до того путаных, что любой мог толковать их сообразно своему личному вкусу. Каждый день ворошили творения Нострадамуса и святой Одилии и всякий раз собирали обильную жатву. Все эти пророчества объединяла общая черта — утешительность их итогов. И только одна чума не обладала этим свойством.

Итак, суеверия прочно заменили нашим согражданам религию, и именно по этой причине церковь, где читал свою проповедь отец Панлю, была заполнена всего на три четверти. Когда вечером Риэ зашел в собор, ветер со свистом

просачивался между створками входных дверей, свободно разгуливал среди присутствующих. И в этом промозглом, скованном тишиной храме, где собрались одни лишь мужчины, Риэ присел на скамью и увидел, как на кафедру поднялся преподобный отец. Заговорил он более кротким и более раздумчивым тоном, чем в первый раз, и молящиеся отмечали про себя, что он не без некоторого колебания приступил к делу. И еще одна любопытная деталь: теперь он говорил не «вы», а «мы».

Но мало-помалу голос его окреп. Для начала он напомнил о том, что чума царит в нашем городе вот уже несколько долгих месяцев и что теперь мы узнали ее лучше, ибо множество раз видели, как присаживалась она к нашему столу или к изголовью постели близкого нам человека, как шагала рядом с нами, поджидала нашего выхода с работы; итак, теперь мы, возможно, способны лучше внимать тому, что говорит она нам беспрестанно и к чему мы в первые минуты растерянности прислушивались, видимо, недостаточно. То, о чем уже вещал отец Панлю с этой самой кафедры, остается верным — или по крайней мере таково было тогда его убеждение. Но возможно, как и все мы — тут отец Панлю со-

крушенно ударил себя в грудь, — быть может, он и думал и говорил об этом без должного сострадания. Но все же в речи его было и зерно истины: из всего и всегда можно извлечь поучение. Самое жестокое испытание — и оно благо для христианина. А христианин как раз в данном случае и должен стремиться к этому благу, искать его, понимать, в чем оно и как его найти.

В эту минуту люди, сидевшие вокруг Риэ, откинулись на спинки скамеек и расположились со всеми возможными в церкви удобствами. Одна из створок обитой войлоком двери тихонько хлопала от ветра. Кто-то из присутствующих поднялся с места и придержал ее. И Риэ, отвлеченный этим движением, почти не слышал того, о чем заговорил после паузы отец Панлю. А тот говорил примерно так: не следует пытаться объяснять являемое чумой зрелище, а следует пытаться усвоить то, что можно усвоить. Короче, по словам проповедника, так по крайней мере истолковал их про себя рассеянно слушавший Риэ, выходило, что объяснять здесь нечего. Но он стал слушать с большим интересом, когда проповедник неожиданно громко возгласил, что многое объяснимо перед лицом Господа Бога, а иное так и не объяснится. Конечно, существуют

добро и зло, и обычно каждый без труда видит различие между ними. Но когда мы доходим до внутренней сущности зла, здесь-то и подстерегают нас трудности. Существует, к примеру, зло, внешне необходимое, и зло, внешне бесполезное. Имеется Дон Жуан, ввергнутый в преисподнюю, и кончина невинного ребенка. Ибо если вполне справедливо, что распутник сражен десницей Божьей, то трудно понять страдания дитяти. И впрямь, нет на свете ничего более значимого, чем страдание дитяти и ужас, который влекут за собой эти страдания, и причины этого страдания, кои необходимо обнаружить. Вообще-то Бог все облегчает нам, и с этой точки зрения наша вера не заслуживает похвалы — она естественна. А тут он, Бог, напротив, припирает нас к стене. Таким образом, мы находимся под стенами чумы и именно из ее зловещей сени обязаны извлечь для себя благо. Отец Панлю отказывался даже от тех льгот и поблажек, что позволили бы перемахнуть через эту стену. Ему ничего не стоило сказать, что вечное блаженство, ожидающее ребенка, может сторицей вознаградить его за земные муки, но, по правде говоря, он и сам не знает, так ли это. И впрямь, кто возьмется утверждать, что века райского блаженства могут оплатить хотя бы

миг человеческих страданий? Утверждающий так не был бы, конечно, христианином, ибо наш Учитель познал страдания плотью своей и духом своим. Нет, отец Панлю останется у подножия стены, верный образу четвертования, символом коего является крест, и пребудет лицом к лицу с муками младенца. И безбоязненно скажет он тем, кто слушает его ныне: «Братия, пришел час. Или надо во все верить, или все отрицать… А кто среди вас осмелится отрицать все?..»

У Риэ на мгновение мелькнула мысль, что святой отец договорился до прямой ереси. Но тут оратор продолжал с новой силой доказывать, что это предписание свыше, это ясное требование идет на благо христианину. Оно же зачтется ему как добродетель. Он, Панлю, знает, что та добродетель, речь о коей пойдет ниже, возможно, содержит нечто чрезмерное и покоробит многие умы, привыкшие к более снисходительной и более классической морали. Но религия времен чумы не может остаться нашей каждодневной религией, и ежели Господь способен попустить, даже возжелать, чтобы душа покоилась и радовалась во времена счастья, то возжелал он также, чтобы религия в годину испытания стала неистовой. Ныне Бог проявил милость к творениям

своим, наслав на них неслыханные беды, дабы могли они обрести и взять на рамена свои высшую добродетель, каковая есть Все или Ничего.

Много веков назад некий светский мыслитель утверждал, что ему-де открыта тайна церкви, заключавшаяся в том, что чистилища не существует. Под этими словами он разумел, что полумеры исключены, что есть только рай и ад и что человеку, согласно собственному его выбору, уготовано райское блаженство или вечные муки. По словам отца Панлю, это было чистейшей ересью, каковая могла родиться лишь в душе вольнодумца. Ибо чистилище существует. Но разумеется, бывают эпохи, когда нельзя говорить о мелких грехах. Всякий грех смертен, и всяческое равнодушие преступно. Или все, или ничего.

Отец Панлю замолк, и до слуха Риэ отчетливее донеслись жалобные стоны разгулявшегося ветра, со свистом просачивающегося в щель под дверью. Но святой отец тут же заговорил снова и сказал, что добродетель безоговорочного приятия, о коей он упомянул выше, не может быть понята в рамках того узкого смысла, какой придается ей обычно, что речь шла не о банальной покорности и даже не о труднодостигаемом уничижении. Да, он имел в виду уничижение,

но то уничижение, на какое добровольно идет уничижаемый. Безусловно, муки ребенка уничижительны для ума и сердца. Но именно поэтому необходимо через них пройти. Именно поэтому — и тут отец Панлю заверил свою аудиторию, что ему нелегко будет произнести эти слова, поэтому нужно желать их, раз их возжелал Господь. Только так христианин идет на то, чтобы ничего не щадить, и раз все выходы для него заказаны, дойдет до главного, главенствующего выбора. И выберет он безоговорочную веру, дабы не быть вынужденным к безоговорочному отрицанию. И, подобно тем славным женщинам, которые, узнав, что набухающие бубоны свидетельствуют о том, что тело естественным путем изгоняет из себя заразу, молят сейчас в церквах: «Господи, пошли ему бубоны», так вот и христианин должен уметь отдать себя в распоряжение воли Божьей, пусть даже она неисповедима. Нельзя говорить: «Это я понимаю, а это для меня неприемлемо»; надо броситься в сердцевину этого неприемлемого, которое предложено нам именно для того, дабы совершили мы свой выбор. Страдания ребенка — это наш горький хлеб, но, не будь этого хлеба, душа наша зачахла бы от духовного голода.

Тут приглушенный шум, обычно сопровождав-

ший каждую паузу в проповеди отца Панлю, стал громче, но святой отец заговорил с внезапной силой и, словно поставив себя на место своих слушателей, вопрошал, как следует вести себя. Он уверен, что первой мыслью и первым словом будет страшное слово «фатализм». Так вот он не отступит перед этим словом, ежели ему дозволят добавить к слову «фатализм» эпитет «активный». Разумеется, он хочет напомнить еще раз, что не следует брать пример с абиссинцев христианского вероисповедания, о которых он уже говорил в предыдущей проповеди. И не следует даже в мыслях подражать персам, которые во время чумы кидали свое тряпье в христианские санитарные пикеты, громогласно призывая небеса ниспослать чуму на этих неверных, осмеливших-ся бороться против бича, посланного Богом. Но с другой стороны, не надо брать пример также и с каирских монахов, которые при чумной эпидемии, разразившейся в прошлом веке, брали во время причастия облатки щипчиками, дабы избежать соприкосновения с влажными горячечными устами, где могла притаиться зараза. И зачумленные персы и каирские монахи равно совершили грех. Ибо для первых страдания ребенка были ничто, а для вторых, напротив, вполне

человеческий страх перед муками заглушил все прочие чувства. В обоих случаях извращалась сама проблема. И те и другие остались глухи к гласу Божьему. Но есть и иные примеры, какие хотел бы напомнить собравшимся отец Панлю. Если верить старинной хронике, повествующей о великой марсельской чуме, то там говорится, что из восьмидесяти одного монаха обители Мерси только четверых пощадила злая лихорадка. И из этих четверых трое бежали куда глаза глядят. Так гласит летопись, а летопись, как известно, не обязана комментировать. Но, читая хронику, отец Панлю думал о том, что остался там один вопреки семидесяти семи смертям, вопреки примеру троих уцелевших братьев. И, ударив кулаком о край кафедры, преподобный отец воскликнул: «Братья мои, надо быть тем, который остается!»

Конечно, это не значит, что следует отказываться от мер предосторожности, от разумного порядка, который вводит общество, борясь с беспорядком стихийного бедствия. Не следует слушать тех моралистов, которые твердят, что надо-де пасть на колени и предоставить событиям идти своим чередом. Напротив, надо потихоньку пробираться в потемках, возможно даже вслепую, и пытаться делать добро. Но что касается

всего прочего, надо оставаться на месте, положиться со смирением на Господа даже в кончине малых детей и не искать для себя прибежища.

Здесь отец Панлю поведал собравшимся историю епископа Бельзенса во время марсельской чумы. Проповедник напомнил слушателям, что к концу эпидемии епископ, свершив все, что повелевал ему долг, и считая, что помочь уже ничем нельзя, заперся в своем доме, куда снес запасы продовольствия, и велел замуровать ворота; и вот марсельцы с непостоянством, вполне закономерным, когда чаша страданий бывает переполнена, возненавидели того, кого почитали ранее своим кумиром, обложили его дом трупами, желая распространить заразу, и даже перебрасывали мертвецов через стены, дабы чума сгубила его вернее. Итак, епископ, поддавшись последней слабости, надеялся найти убежище среди разгула смерти, а мертвые падали ему на голову с неба. Так и мы должны извлечь из этого примера урок: нет во время чумы и не может быть островка. Нет, середины не дано. Надо принять постыдное, ибо каждому надлежит сделать выбор между ненавистью к Богу и любовью к нему. А кто осмелится избрать ненависть к Богу?

«Братья мои, — продолжал Панлю, и по его ин-

тонациям прихожане догадались, что проповедь подходит к концу, — любовь к Богу — трудная любовь. Любовь к нему предполагает полное забвение самого себя, пренебрежение к своей личности. Но один лишь он может смыть ужас страдания и гибели детей, во всяком случае, лишь один он может превратить его в необходимость, ибо человек не способен это понять, он может лишь желать этого. Вот тот трудный урок, который я желал усвоить вместе с вами. Вот она, вера, жестокая в глазах человека и единственно ценная в глазах Господа, к которой мы и должны приблизиться. Пред лицом столь страшного зрелища все мы должны стать равными. На этой вершине все сольется и все сравняется, и воссияет истина из видимой несправедливости. Вот почему во многих церквах юга Франции погибшие от чумы покоятся под плитами церковных хоров и священнослужители обращаются к своей пастве с высоты этих могил, и истины, которые они проповедуют, воссияют из этого пепла, куда, увы, внесли свою лепту и малые дети».

Когда Риэ выходил из церкви, шквальный ветер ворвался в полуоткрытые двери, ударил в лицо расходившимся по домам прихожанам. Ветер нагнал в собор запахи дождя, мокрого

асфальта, и молящиеся, еще не достигнув паперти, уже знали, каким откроется перед их глазами город. Впереди доктора шли старичок священник с молодым диаконом, оба боролись с порывами ветра, норовившего унести их шляпы. Старичок даже во время этой неравной борьбы не переставал обсуждать проповедь. Он отдавал должное красноречию отца Панлю, но его задела смелость высказанных проповедником мыслей. Он находил, что в проповеди звучала не столько сила, сколько тревога и что священнослужитель в возрасте отца Панлю не имеет права тревожиться. Молодой диакон нагнул голову, надеясь уклониться от ударов ветра, и заверил, что он часто бывает у отца Панлю, что он в курсе происшедшей с ним эволюции, что трактат его будет еще более смелым и, возможно, даже не получит imprimatur*.

— Какая у него все-таки главная идея? — допытывался старичок священник.

Они вышли уже на паперть, ветер с воем накинулся на них, и диакон не сразу ответил. Воспользовавшись минутой затишья, он сказал только:

— Если священнослужитель обращается за помощью к врачу, тут явное противоречие.

Тарру, которому Риэ пересказал проповедь отца Панлю, заметил, что он сам лично знал священника, который во время войны потерял веру, увидев юношу, лишившегося глаз.

— Панлю прав, — добавил Тарру. — Когда невинное существо лишается глаз, христианин может только или потерять веру, или согласиться тоже остаться без глаз. Панлю не желает утратить веры, он пойдет до конца. Это-то он и хотел сказать.

Возможно, замечание Тарру прольет известный свет на последующие злосчастные события и на поведение самого отца Панлю, загадочное даже для близких ему людей. Пусть читатель судит об этом сам.

Так вот, через несколько дней после проповеди отец Панлю задумал перебраться на новую квартиру. Как раз в это время в связи с усилением эпидемии весь город, казалось, менял свои привычные жилища. И так же как Тарру пришлось выехать из отеля и поселиться у доктора Риэ, точно так же и отец Панлю вынужден был выехать из отведенной ему их орденом квартиры и перебраться к одной старушке, завзятой богомолке, пока еще пощаженной чумою. Отец Панлю перебирался на новое жилище с чувством

все возраставшей усталости и страха. И поэтому он сразу же потерял уважение своей квартирохозяйки. Ибо когда старушка стала горячо восхвалять чудесные прорицания святой Одилии, священник выказал легкое нетерпение, что объяснялось, конечно, его усталостью. И как ни старался он впоследствии добиться от старушки хотя бы благожелательного нейтралитета, ему это не удалось. Слишком плохое впечатление произвел он тогда, поначалу. И каждый вечер, удаляясь из гостиной в отведенную ему комнату, утопавшую в кружевах, собственноручно связанных хозяйкой, он видел только ее спину и уносил в памяти сухое: «Покойной ночи, отец мой», брошенное через плечо. И одним из таких вечеров, уже ложась в постель, он почувствовал, как в висках, в запястьях, в голове забушевали, заходили волны лихорадки, таившейся в нем уже несколько дней.

Все последующее удалось узнать только из рассказов его квартирохозяйки. Утром она, как обычно, поднялась очень рано. Напрасно прождав своего жильца, она, удивленная тем, что преподобный отец не выходил из спальни, решилась осторожненько постучать в дверь. Она обнаружила, что он не вставал после бессонной

ночи. Он тяжело дышал, и лицо у него было еще краснее, чем всегда. По ее словам, она вполне вежливо предложила ему вызвать врача, но предложение это было отвергнуто с прискорбной резкостью, как она выразилась. Ей осталось только одно — уйти прочь. А через некоторое время отец Панлю позвонил и попросил ее зайти к нему. Он извинился за свою невольную резкость и заявил, что о чуме не может быть и речи, что он не обнаружил у себя ни одного из симптомов, очевидно, все дело в чрезмерной усталости, но это пройдет. На что старая дама с достоинством возразила, что ежели она и предложила вызвать врача, то отнюдь не потому, что встревожилась за себя, что бояться ей нечего, коль скоро ее живот и смерть в руке Божьей, просто она обеспокоилась состоянием преподобного отца, так как считает себя в какой-то мере ответственной за него. Но так как он промолчал, она снова предложила вызвать врача, считая, что выполняет свой прямой долг. Святой отец снова отказался, но на сей раз присовокупил к своему отказу какие-то весьма туманные, по словам старой дамы, объяснения. Поняла она как раз то, что, на ее взгляд, было непонятным из всей его тирады, а именно: святой отец отказался призвать врача, потому что это,

мол, противоречит его принципам. Естественно, она сочла, что разум ее жильца несколько помутился от жара, и ограничилась тем, что принесла ему чашку лекарственного настоя.

Решившись как можно аккуратнее выполнять свои обязанности, раз уж так все получилось, квартирохозяйка заглядывала к жильцу регулярно каждые два часа. Больше всего ее поразило лихорадочное возбуждение, не оставлявшее больного в течение всего дня. Он то откидывал одеяло, то снова натягивал его, все время проводил ладонью по влажному лбу и, приподнявшись на подушках, пытался откашляться, кашель у него был какой-то странный, хриплый, сдавленный и в то же время влажный, словно все внутри у него отрывалось. Со стороны казалось, будто он старается выхаркнуть из гортани душившие его куски ваты. После этих приступов он падал на подушки, видимо, совсем обессилев. Потом он снова приподнимался и несколько секунд смотрел куда-то в стену, и смотрел с неестественной пристальностью, пожалуй, еще более лихорадочной, чем предшествующее возбуждение. Но старая дама все еще не решалась вызвать врача, боясь раздражить больного. Впрочем, эта действительно устрашающая на вид болезнь могла

оказаться приступами обычной лихорадки.

Однако к вечеру она набралась храбрости еще раз поговорить с отцом Панлю и получила весьма невразумительный ответ. Она повторила свое предложение, но тут святой отец приподнялся на постели и, хотя задыхался, вполне раздельно проговорил, что не желает показываться врачам. После этих слов хозяйка решила подождать утра и, если состояние отца Панлю не улучшится, позвонить по телефону в агентство Инфдок, благо соответствующий номер десятки раз на день повторяли по радио. Все так же неукоснительно выполняя свои обязанности, она решила заходить к больному ночью и присматривать за ним. Но вечером, дав ему чашку свежего настоя, она прилегла на минутку и проснулась только на заре. Первым делом она побежала к больному.

Отец Панлю лежал без движения. Вчерашняя багровость кожи сменилась мертвенной бледностью, тем более впечатляющей, что черты лица не потеряли своей округлости. Больной не отрываясь смотрел на лампочку с разноцветными хрустальными подвесками, висевшую над кроватью. При появлении квартирохозяйки он повернул к ней голову. По ее словам, вид у него был такой, будто всю ночь его били и к утру он

от слабости уже потерял способность реагировать на происходящее. Она осведомилась, как он себя чувствует. И он ответил с той же странной, поразившей старую даму отрешенностью, что чувствует себя плохо, но что врача звать нет надобности и пусть его просто отправят в лазарет, согласно существующим правилам. Старая дама в испуге бросилась к телефону.

Риэ прибыл в полдень. Выслушав рассказ старушки, он сказал только, что отец Панлю совершенно прав, но что, к сожалению, его позвали слишком поздно. Отец Панлю встретил его все так же безучастно. Риэ освидетельствовал больного и, к великому своему изумлению, не обнаружил никаких характерных симптомов бубонной или легочной чумы, кроме удушья и стеснения в груди. Но так или иначе, пульс был такой слабый, а общее состояние такое угрожающее, что надежды почти не оставалось.

— У вас нет никаких характерных симптомов этой болезни, — сказал Риэ отцу Панлю. — Но поскольку нет и полной ясности, я обязан вас изолировать.

Отец Панлю как-то странно улыбнулся, словно бы из любезности, и промолчал. Риэ вышел в соседнюю комнату позвонить по телефону и снова

вернулся в спальню. Он взглянул на отца Панлю.

— Я останусь при вас, — ласково проговорил он.

Больной, казалось, приободрился при этих словах и поднял на доктора чуть потеплевшие глаза. Потом он произнес, так мучительно выговаривая слова, что доктор не понял, звучит ли в его голосе печаль или нет.

— Спасибо, — сказал Панлю. — Но у священнослужителей не бывает друзей. Все свои чувства они вкладывают в свою веру.

Он попросил дать ему распятие, висевшее в головах кровати, и, когда просьба его была выполнена, отвернулся и стал смотреть на распятие.

В лазарете отец Панлю не открыл рта. Словно бесчувственная вещь, он подчинялся всем предписанным процедурам, но распятия из рук уже не выпускал. Однако случай его был неясен. Риэ терзался сомнениями. Это была чума, и это не было чумой. Впрочем, в течение последнего времени ей, казалось, доставляет удовольствие путать карты диагностики. Но в случае отца Панлю, как выяснилось в дальнейшем, эта неопределенность особого значения не имела.

Температура подскочила. Кашель стал еще более хриплым и мучил больного весь день. На-

конец к вечеру отцу Панлю удалось выхаркнуть душившую его вату. Мокрота была окрашена кровью. Как ни бушевала лихорадка, отец Панлю по-прежнему безучастно глядел вокруг, и, когда на следующее утро санитары обнаружили уже застывшее тело, наполовину сползшее с койки, взгляд его ничего не выражал. На карточке написали: «Случай сомнительный».

В том году День всех святых прошел совсем не так, как проходил он обычно. Конечно, сыграла тут свою роль и погода. Погода резко переменилась, и на смену запоздалой жаре неожиданно пришла осенняя прохлада. Как и в предыдущие годы, не переставая свистел холодный ветер. Через все небо бежали пухлые облака, погружая в тень попадавшиеся на их пути дома, но, стоило им проплыть, все снова заливал холодный золотистый свет ноябрьского солнца. На улицах появились первые непромокаемые плащи. Удивительное дело, вскоре весь город шуршал от прорезиненных блестящих тканей. Оказалось, газеты напечатали сообщение о том, что двести лет назад в годину великой чумы на юге Франции, врачи, стремясь уберечься от заразы, ходили в промасленной одежде. Владельцы магазинов сумели использовать это обстоятельство и вы-

бросили на прилавки всякую вышедшую из моды заваль, с помощью которой наши сограждане надеялись защитить себя от бацилл.

Но как ни очевидны были приметы осени, все мы помнили и знали, что кладбища в этот день покинуты. В прошлые годы трамваи были полны пресным запахом хризантем, и женщины группками направлялись туда, где покоились их близкие, чтобы украсить цветами родные могилы. Раньше в этот день живые пытались вознаградить покойного за то одиночество и забвение, в котором он пребывал столько месяцев подряд. Но в этом году никто не желал думать о мертвых. Ведь о них и без того думали слишком много. И странно было бы снова навещать родную могилу, платить дань легкому сожалению и тяжкой меланхолии. Теперь покойники не были, как прежде, просто чем-то забытым, к кому приходят раз в году ради очистки совести. Они стали непрошеными втирушами, которых хотелось поскорее забыть. Вот почему праздник всех святых в этом году получился какой-то неестественный. Коттар, который, по мнению Тарру, становился все ядовитее на язык, сказал, что теперь у нас каждый день праздник мертвых.

И действительно, все веселее в печи крема-

тория разгорался фейерверк чумы. Правда, смертность вроде бы стабилизовалась. Но казалось, будто чума уютненько расположилась на высшей точке и отныне вносит в свои ежедневные убийства старательность и аккуратность исправного чиновника. По мнению людей компетентных, это был, по сути дела, добрый знак. Так, например, доктор Ришар считал крайне обнадеживающим тот факт, что кривая смертности, резко поднявшись, пошла потом ровно. «Прекрасная, чудесная кривая», — твердил Ришар. Он уверял, что эпидемия уже достигла, как он выражался, потолка. И поэтому ей остается только падать. В этом он видел заслугу доктора Кастеля, вернее, его новой сыворотки, которая и на самом деле в некоторых случаях неожиданно давала прекрасные результаты. Старик Кастель не перечил, но, по его мнению, ничего предсказывать еще нельзя, так как из истории известно, что эпидемия неожиданно делает резкие скачки. Префектура, уже давно горевшая желанием внести успокоение в умы оранцев, что было весьма затруднительно, принимая во внимание чуму, предложила собрать врачей, с тем чтобы они составили соответствующий доклад, как вдруг чума унесла также и доктора Ришара, и именно

тогда, когда кривая достигла потолка.

Узнав об этом, безусловно, впечатляющем случае, впрочем, ровно ничего не доказывавшем, городские власти сразу же впали в пессимизм, столь же необоснованный, как и оптимизм, которому за неделю до того они предавались. Кастель же стал просто-напросто готовить свою сыворотку еще тщательнее, чем прежде. Так или иначе, не осталось ни одного общественного здания, не превращенного в больницу или в лазарет, и если до сих пор не посягнули на префектуру, то лишь потому, что надо было иметь какое-то место для различных сборищ. Но в общем-то и именно в силу относительной стабилизации эпидемии в этот период, санитарная служба, организованная Риэ, вполне справлялась со своими задачами. Врачи и санитары, трудившиеся на износ, могли надеяться, что уж больших усилий от них не потребуется. Им надо было только как можно аккуратнее, если уместно употребить здесь это слово, выполнять свой нечеловеческий долг. Легочная форма чумы — сначала было зарегистрировано лишь несколько ее случаев — теперь быстро распространилась по всему городу, так, словно ветер разжигал и поддерживал пожар в груди людей. Больные, которых мучила кровавая

рвота, погибали значительно скорее. При этой новой форме болезни следовало ждать более быстрого распространения заразы. Но мнения специалистов на сей счет расходились. В целях большей безопасности медицинский персонал продолжал работать в масках, пропитанных дезинфицирующим составом. На первый взгляд эпидемия должна была бы шириться. Но поскольку случаи заболевания бубонной чумой стали реже, итог сбалансировался.

Между прочим, городским властям и без того было о чем тревожиться — продовольственные затруднения все больше росли. Спекулянты, понятно, не остались в стороне и предлагали по баснословным ценам продукты первой необходимости, уже исчезнувшие с рынка. Бедные семьи попали в весьма тяжелое положение, тогда как богатые почти ни в чем не испытывали недостатка. Казалось бы, чума должна была укрепить узы равенства между нашими согражданами именно из-за той неумолимой беспристрастности, с какой она действовала по своему ведомству, а получилось наоборот — эпидемия в силу обычной игры эгоистических интересов еще больше обострила в сердцах людей чувство несправедливости. Разумеется, за нами сохранялось

совершеннейшее равенство смерти, но вот его-то никто не желал. Бедняки, страдавшие от голода, тоскливо мечтали о соседних городах и деревнях, где живут свободно и где хлеб не стоит таких бешеных денег. Раз их не могут досыта накормить, пусть тогда позволят уехать — таковы были их чувства, возможно не совсем разумные. Словом, кончилось тем, что на стенах домов стал появляться лозунг «Хлеба или воли», а иной раз его выкрикивали вслед проезжавшему префекту. Эта ироническая фраза послужила сигналом к манифестациям, и, хотя их быстро подавили, все понимали, насколько дело серьезно.

Естественно, газеты по приказу свыше действовали в духе оголтелого оптимизма. Если верить им, то наиболее характерным для годины бедствия было «исключительное спокойствие и хладнокровие, волнующий пример которого давало население». Но в наглухо закрытом городе, где ничто не оставалось в тайне, никто не обманывался насчет «примера», даваемого нашим сообществом. Чтобы составить себе верное представление о вышеуказанном спокойствии и хладнокровии, достаточно было заглянуть в карантин или в «лагерь изоляции», организованный нашими властями. Случилось так, что

рассказчик, занятый другими делами, сам в них не бывал. Потому-то он может лишь привести свидетельство Тарру.

Тарру и в самом деле рассказал в своем дневнике о посещении такого лагеря, устроенного на городском стадионе, куда он ходил вместе с Рамбером. Стадион расположен почти у самых городских ворот и одной стороной выходит на улицу, где бегают трамваи, а другой — на обширные пустыри, тянущиеся до границы плато, на котором возведен город. Он обнесен бетонной высокой оградой, и достаточно поэтому было поставить у всех четырех ворот часовых, чтобы затруднить побеги. Кроме того, отделенные высокой стеной от улицы, несчастные, угодившие в карантин, могли не бояться досужего любопытства прохожих. Зато в течение всего дня на стадионе слышно было, как совсем рядом проходят с грохотом невидимые отсюда трамваи, и по тому, как крепчал в определенные часы гул толпы, отрезанные от мира бедолаги догадывались, что народ идет с работы или на работу. Таким образом, они знали, что жизнь, куда им ныне заказан доступ, продолжается всего в нескольких метрах от них и что бетонные стены разделяют две вселенные, более чуждые друг другу, чем если

бы даже они помещались на двух различных планетах.

Тарру и Рамбер решили отправиться на стадион в воскресенье после обеда. С ними увязался Гонсалес, тот самый футболист; Рамбер разыскал его и уговорил взять на себя наблюдение за сменой караула у ворот стадиона. Рамбер обещал представить его начальнику лагеря. Встретившись со своими спутниками, Гонсалес сообщил, что как раз в этот час, ясно, до чумы, он начинал переодеваться, готовясь к матчу. Теперь, когда все стадионы реквизировали, податься было некуда, и Гонсалес чувствовал себя чуть ли не бездельником, даже вид у него был соответствующий. Именно по этой причине он и согласился взять на себя дежурство в лагере, но при условии, что работать будет только в последние дни недели. Небо затянуло облаками, и Гонсалес, задрав голову, печально заметил, что такая погодка — не дождливая и не солнечная — для футбола самое милое дело. В меру отпущенного ему природой красноречия он старался передать слушателям запах втираний, стоявший в раздевалке, давку на трибунах, яркие пятна маек на буром поле, вкус лимона или шипучки в перерыве, покалывающей пересохшую глотку тысячью ледяных

иголочек. Тарру отмечает, что во время всего пути по выбитым улочкам предместья футболист беспрерывно гнал перед собой первый попавшийся камешек. Он пытался послать его прямо в решетку водосточной канавы и, если это удавалось, громогласно возглашал: «Один — ноль в мою пользу». Докурив сигарету, он ловко выплевывал ее в воздух и старался на лету подшибить ногой. У самого стадиона игравшие в футбол ребятишки запустили в их сторону мяч, и Гонсалес не поленился сбегать за ним и вернул его обратно точнейшим ударом.

Наконец они вошли на стадион. Все трибуны были полны. Но на поле тесными рядами стояло несколько сотен красных палаток, внутри которых, они заметили еще издали, находились носилки и узлы с пожитками. Трибуны решено было не загромождать, чтобы интернированные могли посидеть там в укрытии от дождя или палящего солнца. Но с закатом им полагалось расходиться по палаткам. Под трибунами помещалось душевое отделение, его подремонтировали, а раздевалки переоборудовали под канцелярию и медпункты. Большинство интернированных облюбовали трибуны. Некоторые бродили по проходам. А кое-кто, присев на кор-

точки у входа в свою палатку, рассеянно озирался вокруг. У сидевших на трибунах был пришибленный вид, казалось, они все ждут чего-то.

— А что они делают целыми днями? — обратился Тарру к Рамберу.

— Ничего не делают.

И действительно, почти все сидели вяло, опустив руки, раскрыв пустые ладони. Странное впечатление производило это огромное скопище неестественно молчаливых людей.

— В первые дни здесь оглохнуть можно было, — пояснил Рамбер. — Ну а потом, со временем, почти перестали разговаривать.

Если верить записям Тарру, то он вполне понимал этих несчастных, он без труда представил себе, как в первые дни, набившись в палатки, они вслушиваются в нудное жужжание мух или скребут себя чуть не до крови, а когда попадается сочувствующая пара ушей, вопят о своем гневе или страхе… Но с тех пор как лагерь переполнился народом, таких сочувствующих попадалось все меньше. Поэтому приходилось молчать и подозрительно коситься на соседа. Казалось, что и в самом деле с серенького, но все же лучистого неба кто-то сеет на этот алый лагерь подозрительность и недоверие.

Да, вид у всех у них был недоверчивый. Раз их отделили от остального мира, значит, это неспроста, и лица у них всех стали одинаковые, как у людей, которые в чем-то пытаются оправдаться и мучатся страхом. На кого бы ни падал взгляд Тарру, каждый праздно озирался вокруг, видимо, страдая от все абстрагирующей разлуки с тем, что составляло смысл его жизни. И так как они не могли с утра до ночи думать о смерти, они вообще ни о чем не думали. Они были как бы в отпуску. «Но самое страшное, — записал Тарру, — что они, забытые, понимают это. Тот, кто их знал, забыл, потому что думал о другом, и это вполне естественно. А тот, кто их любит, тоже их забыл, потому что сбился с ног, хлопоча об их же освобождении и выискивая разные ходы. Думая, как бы поскорее освободить своих близких из пленения, он уже не думает о том, кого надо освободить. И это тоже вполне в порядке вещей. И в конце концов видишь, что никто не способен по-настоящему думать ни о ком, даже в часы самых горьких испытаний. Ибо думать по-настоящему о ком-то — значит думать о нем постоянно, минута за минутой, ничем от этих мыслей не отвлекаясь: ни хлопотами по хозяйству, ни пролетевшей мимо мухой, ни принятием пищи, ни зудом. Но

всегда были и будут мухи и зуд. Вот почему жизнь очень трудная штука. И вот они-то прекрасно знают это».

К ним подошел начальник лагеря и сказал, что их желает видеть некий мсье Отон. Усадив Гонсалеса в своем кабинете, начальник отвел остальных к трибуне, где в стороне сидел мсье Отон, поднявшийся при их приближении. Он был одет как и на воле, даже не расстался с туго накрахмаленным воротничком. Одну только перемену обнаружил в нем Тарру — пучки волос у висков нелепо взъерошились и шнурок на одном ботинке развязался. Вид у следователя был усталый, и ни разу он не поглядел собеседникам в лицо. Он сказал, что рад их видеть и что он просит передать свою благодарность доктору Риэ за все, что тот сделал.

Рамбер и Тарру промолчали.

— Надеюсь, — добавил следователь после короткой паузы, — надеюсь, что Жак не слишком страдал.

Впервые Тарру услышал, как мсье Отон произносит имя сына, и понял, что, значит, есть еще и другие перемены. Солнце катилось к горизонту, и лучи, прорвавшись в щелку между двух облачков, косо освещали трибуны и золотили лица

разговаривавших.

— Правда, правда, — ответил Тарру, — он совсем не мучился.

Когда они ушли, следователь так и остался стоять, глядя в сторону заходящего солнца.

Они заглянули в кабинет начальника попрощаться с Гонсалесом, который изучал график дежурств. Футболист пожал им руки и рассмеялся.

— Хоть в раздевалку-то попал, — сказал он, — и то ладно.

Начальник повел гостей к выходу, но вдруг над трибунами что-то оглушительно затрещало. Потом громкоговорители, те самые, что в лучшие времена сообщали публике результаты матча или знакомили ее с составом команд, гнусаво потребовали, чтобы интернированные расходились по палаткам, так как сейчас начнут раздавать ужин. Люди не спеша спускались с трибун и, еле волоча ноги, направлялись к палаткам. Когда все разбрелись, появились два небольших электрокара, такие бывают на вокзалах, и медленно поползли по проходу между палатками, неся на себе два больших котла. Люди протягивали навстречу им обе руки, два черпака ныряли в два котла и выплескивали содержимое в две

протянутые тарелки. Затем электрокар двигался дальше. У следующей палатки повторялась та же процедура.

— Научная постановка дела, — сказал Тарру начальнику.

— А как же, — самодовольно подтвердил начальник, пожимая посетителям на прощание руки, — конечно, по-научному.

Сумерки уже спустились, небо очистилось. На лагерь лился мягкий, ясный свет. В мирный вечерний воздух со всех сторон подымалось звяканье ложек и тарелок. Низко над палатками скользили летучие мыши и исчезали так же внезапно, как появлялись. По ту сторону ограды проскрежетал на стрелке трамвай.

— Бедняга следователь, — пробормотал Тарру, выходя за ворота. — Надо бы для него что-нибудь сделать. Да как помочь законнику?

Были в нашем городе еще и другие лагеря, и в немалом количестве, но рассказчик не будет о них говорить по вполне понятным соображениям добросовестности и за отсутствием точной информации. Единственное, что он может сказать, — так это то, что само существование таких лагерей, доносящийся оттуда запах людской плоти, оглушительный голос громкоговорителей

на закате, стены, скрывающие тайну и страх перед этим окаянным местом, — все это тяжелым грузом ложилось на души наших сограждан и еще больше увеличивало смятение, тяготило всех своим присутствием. Все чаще возникали стычки с начальством, происходили различные инциденты.

Тем временем, к концу ноября, уже начались холодные утренники. Ливневые дожди, не скупясь, обмыли плиты мостовой, чистенькие безоблачные небеса лежали над доведенными до блеска улицами. Солнце, уже потерявшее летнюю силу, каждое утро заливало наш город холодным ярким светом. А к вечеру, напротив, воздух снова теплел. Как-то в один из таких вечеров Тарру решил приоткрыть свою душу доктору Риэ.

Часов в десять вечера, после длинного утомительного дня, Тарру вызвался проводить Риэ, решившего навестить старика астматика. Над крышами старого квартала кротко поблескивало небо. Мягкий ветерок бесшумно пробегал вдоль темных перекрестков. Старик астматик встретил их болтовней, чуть не оглушившей гостей после тишины улиц. Старик сразу же заявил, что многие не согласны, что куски пожирнее всегда достаются одним и тем же, что повадился кув-

шин по воду ходить, тут ему и голову сломить, что, возможно, — и он от удовольствия даже руки потер — будет хорошенькая заваруха. Пока доктор осматривал его, он болтал без умолку, комментируя последние события.

Над головой у них послышались шаги. Поймав удивленный взгляд Тарру, старушка, жена астматика, объяснила, что, должно быть, это на крыше, то есть на террасе, сошлись соседки. И тут же им было сообщено, что оттуда, с крыши, очень красивый вид и что многие террасы примыкают вплотную друг к другу, так что местные женщины ходят к соседям в гости, не спускаясь в комнаты.

— Верно, — подхватил старик. — Если хотите, подымитесь. Воздух там свежий.

На террасе, где стояло три стула, было пусто. Справа, насколько хватал глаз, видны были сплошные террасы, примыкавшие вдалеке к чему-то темному, каменистому, в чем оба признали первый прибрежный холм. Слева, бегло скользнув по двум-трем улочкам и невидимому отсюда порту, взгляд упирался в линию горизонта, где в еле заметном трепетании море сливалось с небом. А над тем, что, как они знали, было грядой утесов, через ровные промежутки вспыхивал

свет, самого источника света отсюда не было видно: это еще с весны продолжали вращаться фары маяка, указывая путь судам, которые направлялись теперь в другие порты. В чистом после шквальных ветров, глянцевитом небе горели первозданным блеском звезды, и далекий свет маяка время от времени примешивал к ним свой преходящий пепельный луч. Ветер нес запахи пряностей и камня. Кругом стояла ничем не нарушаемая тишина.

— Хорошо, — сказал Риэ, усевшись на стул, — такое впечатление, будто чума никогда сюда не добиралась.

Тарру стоял, повернувшись к нему спиной, и смотрел на море.

— Да, — ответил он не сразу. — Хорошо.

Он шагнул, сел рядом с доктором и внимательно посмотрел ему в лицо. Трижды по небу пробежал луч маяка. Из глубокой щели улицы доносился грохот посуды. В соседнем доме тихонько скрипнула дверь.

— Риэ, — самым естественным тоном проговорил Тарру, — вы никогда не пытались узнать, что я такое? Надеюсь, вы мне друг?

— Да, — ответил доктор, — я вам друг. Только до сих пор нам обоим все как-то времени не

хватало.

— Прекрасно, теперь я спокоен. Не возражаете посвятить этот час дружбе?

Вместо ответа Риэ улыбнулся.

— Так вот, слушайте…

Где-то, не по их улице, проехала машина, и казалось, она слишком долго катится по мокрой мостовой. Наконец шорох шин стих, но воцарившуюся было тишину нарушили далекие невнятные крики. И только потом тишина всей тяжестью звезд и неба обрушилась на обоих мужчин. Тарру снова поднялся, подошел к перилам террасы, оперся о них как раз напротив Риэ, который сидел на стуле, устало привалившись к спинке. Он видел не фигуру Тарру, а что-то темное, большое, выделявшееся на фоне неба. Наконец Тарру заговорил, и вот приблизительный пересказ его исповеди.

«Для простоты начнем, Риэ, с того, что я был уже чумой поражен еще прежде, чем попал в ваш город в разгар эпидемии. Достаточно сказать, что я такой же, как и все. Но существуют люди, которые не знают этого, или люди, которые сумели сжиться с состоянием чумы, и существуют люди, которые знают и которым хотелось бы вырваться. Так вот, мне всегда хотелось вырваться.

В юности я жил с мыслью о своей невиновности, то есть без всяких мыслей. Я не принадлежу к разряду беспокойных, наоборот, вступил я в жизнь, как положено всем юношам. Все мне удавалось, науки давались легко, с женщинами я ладил прекрасно, и если накатывало на меня облачко беспокойства, оно быстро исчезало. Но в один прекрасный день я начал думать. И тогда…

Надо сказать, что в отличие от вас бедности я не знал. Мой отец был помощником прокурора, то есть занимал достаточно видный пост. Внешне это на нем не отражалось. Он от природы был человек благодушный, добряк. Мать моя была женщина простая, перед всеми тушевалась, я ее любил и люблю, но предпочитаю о ней не говорить. Отец много со мной возился, любил меня, думаю, даже пытался меня понять. У него на стороне — теперь-то я в этом уверен — были интрижки, и, представьте, я ничуть этим не возмущаюсь. Вел он себя именно так, как полагается себя вести в подобных случаях, никого не шокируя. Короче, человек он был не слишком оригинальный, и теперь, после его смерти, я понимаю, что прожил он жизнь не как святой, но и дурным человеком тоже не был. Просто придерживался середины, а к такому сорту людей

обычно испытывают разумную привязанность, и надолго.

Однако имелась у него одна слабость: его настольной книгой был большой железнодорожный справочник Шэкса. Он даже и не путешествовал, разве что проводил отпуск в Бретани, где у него было маленькое поместьице. Но он мог вам без запинки назвать часы прибытия и отбытия поезда Париж — Берлин, порекомендовать наиболее простой маршрут, скажем, из Лиона в Варшаву, не говоря уже о том, что наизусть знал расстояние с точностью до полукилометра между любыми столицами, какую бы вы ни назвали. Вот вы, например, доктор, можете вы сказать, как проехать из Бриансона в Шамоникс? Даже начальник вокзала и тот задумается. А отец не задумывался. Каждый свободный вечер он старался расширить свои знания в этой области и очень ими гордился. Меня это ужасно забавляло, и я нередко экзаменовал его, проверял ответы по справочнику и радовался, что он никогда не ошибается. Эти невинные занятия нас сблизили, так как он ценил во мне благодарного слушателя. А я считал, что его превосходство в области железнодорожных расписаний было ничуть не хуже всякого другого.

Но я увлекся и боюсь преувеличить значение этого честного человека. Ибо скажу вам, чтобы покончить с этим вопросом, прямого влияния на мое становление отец не имел. Самое большее — он дал мне окончательный толчок. Когда мне исполнилось семнадцать, отец позвал меня в суд послушать его. В суде присяжных разбиралось какое-то важное дело, и он, вероятно, считал, что покажется мне в самом выгодном свете. Думаю также, он надеялся, что эта церемония, способная поразить юное воображение, побудит меня избрать профессию, которую в свое время выбрал себе он. Я охотно согласился, во-первых, хотел сделать отцу удовольствие, а во-вторых, мне самому было любопытно посмотреть и послушать его в иной роли, не в той, какую он играл дома. Вот и все, ни о чем другом я не думал. Все, что происходит в суде, с самого раннего детства казалось мне вполне естественным и неизбежным, как, скажем, праздник 14 июля или выдача наград при переходе из класса в класс. Словом, представление о юстиции у меня было самое расплывчатое, отнюдь не мешавшее мне жить.

Однако от того дня моя память удержала лишь один образ — образ подсудимого. Думаю, что он и в самом деле был виновен, в чем — не важно.

Но этот человечек с рыжими редкими волосами, лет примерно тридцати, казалось, был готов признаться во всем, до того искренне страшило его то, что он сделал, и то, что сделают с ним самим, — так что через несколько минут я видел только его, только его одного. Он почему-то напоминал сову, испуганную чересчур ярким светом. Узел галстука сполз куда-то под воротничок. Он все время грыз ногти, только на одной руке, на правой… Короче, не буду размазывать, вы, должно быть, уже поняли, что я хочу сказать, — он был живой.

А я, я как-то вдруг заметил, что до сих пор думал о нем только под углом весьма удобной категории — только как об «обвиняемом». Не могу сказать, что я совсем забыл об отце, но что-то до такой степени сдавило мне нутро, что при всем желании я не мог отвести глаз от подсудимого. Я почти ничего не слушал, я чувствовал, что здесь хотят убить живого человека, и какой-то неодолимый инстинкт подобно волне влек меня к нему со слепым упрямством. Я очнулся, только когда отец начал обвинительную речь.

Непохожий на себя в красной прокурорской мантии, уже не тот добродушный и сердечный человек, которого я знал, он громоздил громкие

фразы, выползавшие из его уст, как змеи. И я понял, что он от имени общества требует смерти этого человека, больше того — просит, чтобы ему отрубили голову. Правда, сказал он только: «Эта голова должна упасть». Но в конце концов разница не так уж велика. И выходит одно на одно, раз он действительно получил эту голову. Просто не он сам выполнял последнюю работу. А я, следивший теперь за ходом судоговорения вплоть до заключительного слова, я чувствовал, как связывает меня с этим несчастным умопомрачительная близость, какой у меня никогда не было с отцом. А отец, согласно существующим обычаям, обязан был присутствовать при том, что вежливо именуется «последними минутами» преступника, но что следовало бы скорее назвать самым гнусным из убийств.

С этого дня я не мог видеть без дрожи отвращения справочник Шэкса. С этого дня я заинтересовался правосудием, испытывая при этом ужас, заинтересовался смертными приговорами, казнями и в каком-то умопомрачении твердил себе, что отец по обязанности множество раз присутствовал при убийстве и как раз в эти дни вставал до зари. Да-да, в таких случаях он специально заводил будильник. Я не посмел заговорить об этом

с матерью, но стал за ней исподтишка наблюдать и понял, что мои родители чужие друг другу и что жизнь ее была сплошным самоотречением. Поэтому я простил ее с легкой душой, как я говорил тогда. Позже я узнал, что и прощать-то ее не за что было, до замужества она всю жизнь прожила в бедности, и именно бедность приучила ее к покорности.

Вы, очевидно, надеетесь услышать от меня, что я, мол, сразу бросил родительский кров. Нет, я прожил дома еще долго, почти целый год. Но сердце у меня щемило. Как-то вечером отец попросил у матери будильник, потому что завтра ему надо рано вставать. Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день, когда он вернулся, я ушел из дому. Добавлю, что отец разыскал меня, что я виделся с ним, но никаких объяснений между нами не было: я спокойно сказал ему, что, если он вернет меня домой силой, я покончу с собой. В конце концов он уступил, так как нрава он был скорее мягкого, произнес целую речь, причем назвал блажью мое намерение жить своей жизнью (так он объяснял себе мой уход, и я, конечно, не стал его разубеждать), надавал мне тысячу советов и с трудом удержался от вполне искренних слез. После этой беседы я в течение довольно долгого

времени аккуратно ходил навещать мать и тогда встречал отца. Эти взаимоотношения вполне его устраивали, как мне кажется. Я лично против него зла не имел, только на сердце у меня было грустно. Когда он умер, я взял к себе мать, и она до сих пор жила бы со мной, если бы тоже не умерла.

Я затянул начало только потому, что и в самом деле это стало началом всего. Дальнейшее я изложу короче. В восемнадцать лет я, живший до того в достатке, узнал нищету. Чего только я не перепробовал, чтобы заработать себе на жизнь. И представьте, в значительной мере преуспел. Но единственное, что меня интересовало, — это смертные приговоры. Мне хотелось уплатить по счету той рыжей сове. И естественно, я стал, как принято говорить, заниматься политикой. Просто не хотел быть зачумленным, вот и все. Я думал, что то самое общество, где я живу, базируется на смертных приговорах и, борясь против него, я борюсь таким образом с убийством. Так я думал, так мне говорили другие, и, если хотите, это в достаточной степени справедливо. Таким образом, я встал в ряды тех, кого я любил и до сих пор люблю. Я оставался с ними долго, и не было в Европе такой страны, где бы я не участвовал в

борьбе. Ну да ладно…

Разумеется, я знал, что при случае и мы тоже выносили смертные приговоры. Но меня уверяли, что эти несколько смертей необходимы, дабы построить мир, где никого не будут убивать. До известной степени это было правдой, но я, должно быть, просто не способен держаться такого рода правды. Единственное, что бесспорно, — это то, что я колебался. Но я вспоминал сову и мог таким образом жить дальше. Вплоть до того дня, когда я лично присутствовал при смертной казни (было это в Венгрии) и то же самое умопомрачение, застлавшее глаза подростка, каким я был некогда, застлало глаза уже взрослого мужчины.

Вы никогда не видели, как расстреливают человека? Да нет, конечно, без особого приглашения туда не попадешь, да и публику подбирают заранее. И в результате все вы пробавляетесь в этом отношении картинками и книжными описаниями. Повязка на глазах, столб, и вдалеке несколько солдат. Как бы не так! А знаете, что как раз наоборот, взвод солдат выстраивают в полутора метрах от расстреливаемого? Знаете, что, если осужденный сделает хоть шаг, он упрется грудью в дула винтовок? Знаете, что с этой предельно близкой дистанции ведут прицельный огонь в область

сердца, а так как пули большие, получается отверстие, куда можно кулак засунуть? Нет, ничего вы этого не знаете, потому что о таких вот деталях не принято говорить. Сон человека куда более священная вещь, чем жизнь для зачумленных. Не следует портить сон честным людям. Это было бы дурным вкусом, а вкус как раз и заключается в том, чтобы ничего не пережевывать — это всем известно. Но с тех пор я стал плохо спать. Дурной вкус остался у меня во рту, и я не перестал пережевывать, другими словами, думать.

Вот тут я и понял, что я, по крайней мере в течение всех этих долгих лет, как был, так и остался зачумленным, а сам всеми силами души верил, будто как раз борюсь с чумой. Понял, что пусть косвенно, но я осудил на смерть тысячи людей, что я даже сам способствовал этим смертям, одобряя действия и принципы, неизбежно влекшие ее за собой. Прочих, казалось, ничуть не смущало это обстоятельство, или, во всяком случае, они никогда об этом по доброй воле не заговаривали. А я жил с таким ощущением, будто мне перехватило глотку. Я был с ними и в то же время был один. Когда мне случалось выражать свои сомнения, те говорили, что следует смотреть в корень, и подчас приводили достаточно впечатляющие

доводы, чтобы помочь мне проглотить то, что застряло у меня в глотке. Но я возражал, что главные зачумленные — это те, что напяливают на себя красные мантии, что и они тоже приводят в подобном случае весьма убедительные доводы, и, если я принимаю чрезвычайные и вызванные необходимостью доводы мелких зачумленных, я не вправе отбрасывать доводы главных. На это мне говорили, что лучший способ признать доводы красных мантий — это оставить за ними исключительное право на вынесение смертных приговоров. Но я думал про себя, что если уступить хоть раз, то где предел? Похоже, что история человечества подтвердила мою правоту, сейчас убивают наперегонки. Все они охвачены яростью убийства и иначе поступать не могут.

Не знаю, как другие, но я лично исходил не из рассуждений. Для меня все дело было в той рыжей сове, в той грязной истории, когда грязные, зачумленные уста объявили закованному в кандалы человеку, что он должен умереть, и действительно аккуратненько сделали все, чтобы он умер после бесконечно длинных ночей агонии, пока он с открытыми глазами ждал, что его убьют. Не знаю, как для других, но для меня все дело было в этой дыре, зиявшей в груди. И

я сказал себе, что, во всяком случае, лично я не соглашусь ни с одним, слышите, ни с одним доводом в пользу этой омерзительнейшей бойни. Да, я сознательно выбрал эту упрямую слепоту в ожидании того дня, когда буду видеть яснее.

С тех пор я не изменился. Уже давно мне стыдно, до смерти стыдно, что и я, хотя бы косвенно, хотя бы из самых лучших побуждений, тоже был убийцей. Со временем я не мог не заметить, что даже самые лучшие не способны нынче воздержаться от убийства своими или чужими руками, потому что такова логика их жизни, и в этом мире мы не можем сделать ни одного жеста, не рискуя принести смерть. Да, мне по-прежнему было стыдно, я понял, что все мы живем в чумной скверне, и я потерял покой. Даже теперь я все еще ищу покоя, пытаюсь понять их всех, пытаюсь не быть ничьим смертельным врагом. Я знаю только, что надо делать, чтобы перестать быть зачумленным, и лишь таким путем мы можем надеяться на воцарение мира или за невозможностью такового — хотя бы на славную кончину. Вот каким путем можно облегчить душу людям и если не спасти их, то хотя бы на худой конец причинять им как можно меньше зла, а порой даже приносить немножко добра. Вот почему

я решил отринуть все, что хотя бы отдаленно, по хорошим или по дурным доводам приносит смерть или оправдывает убийство.

Вот почему, кстати, эта эпидемия ничего нового мне не открыла, разве только одно — надо бороться против нее рука об руку с вами. Мне доподлинно известно (а вы сами видите, Риэ, что я знаю жизнь во всех ее проявлениях), что каждый носит ее, чуму, в себе, ибо не существует такого человека в мире, да-да, не существует, которого бы она не коснулась. И надо поэтому безостановочно следить за собой, чтобы, случайно забывшись, не дохнуть в лицо другому и не передать ему заразы. Потому что микроб — это нечто естественное. Все прочее: здоровье, неподкупность, если хотите даже чистота, — все это уже продукт воли, и воли, которая не должна давать себе передышки. Человек честный, никому не передающий заразы, — это как раз тот, который ни на миг не смеет расслабиться. А сколько требуется воли и напряжения, Риэ, чтобы не забыться! Да, Риэ, быть зачумленным весьма утомительно. Но еще более утомительно не желать им быть. Вот почему все явно устали, ведь нынче все немножко зачумленные. Но именно поэтому те немногие, что не хотят жить

в состоянии зачумленности, доходят до крайних пределов усталости, освободить от коей может их только смерть.

Теперь я знаю, что я ничего не стою для вот этого мира и что с того времени, как я отказался убивать, сам себя осудил на бесповоротное изгнанничество. Историю будут делать другие. И я знаю также, что, по-видимому, не годен судить этих других. Для того чтобы стать здравомыслящим убийцей, у меня просто не хватает какого-то качества. Следовательно, это не превосходство. Но теперь я примирился с тем, что я таков, каков есть, я научился скромности. Я только считаю, что на нашей планете существуют бедствия и жертвы и что надо по возможности стараться не встать на сторону бедствия. Боюсь, мои рассуждения покажутся вам несколько упрощенными, не знаю, так ли это просто, знаю только, что это правильно. Я столько наслушался разных рассуждений, что у меня самого чуть было не пошла голова кругом, а сколько эти рассуждения вскружили вообще голов, склоняя их принять убийство, так что в конце концов я понял одно — вся беда людей происходит оттого, что они не умеют пользоваться ясным языком. Тогда я решил во что бы то ни стало и говорить и действо-

вать ясно, чтобы выбраться на правильный путь. И вот я говорю: существуют бедствия и жертвы, и ничего больше. Если, сказав это, я сам становлюсь бедствием, то по крайней мере без моего согласия. Я стараюсь быть невинным убийцей. Как видите, притязание не такое уж большое.

Разумеется, должна существовать и третья категория, категория настоящих врачей, но такое встречается редко, и, очевидно, это очень и очень нелегко. Вот почему я решил во всех случаях становиться на сторону жертв, чтобы хоть как-нибудь ограничить размах бедствия. Очутившись в рядах жертв, я могу попытаться нащупать дорогу к третьей категории, другими словами — прийти к миру».

Закончив фразу, Тарру переступил с ноги на ногу и негромко постукал подметкой о пол террасы. Наступило молчание, затем доктор выпрямился на стуле и спросил Тарру, имеет ли он представление, какой надо выбрать путь, чтобы прийти к миру.

— Да, имею — сочувствие.

Где-то вдалеке дважды прогудела санитарная карета. Разрозненный рокот голосов слился теперь в сплошной гул где-то на окраине города, у каменистого холма. Почти одновременно

раздались два хлопка, похожие на выстрелы. Потом снова наступила тишина. Риэ насчитал две вспышки маяка. Ветер набирался силы, и в этот же миг дуновением с моря принесло запах соли. Теперь стали внятно слышны глухие вздохи волн, бившихся о скалу.

— В сущности, одно лишь меня интересует, — просто сказал Тарру, — знать, как становятся святым.

— Но вы же в Бога не верите.

— Правильно. Сейчас для меня существует только одна конкретная проблема — возможно ли стать святым без Бога.

Внезапно яркий свет брызнул с той стороны, откуда доносились крики, и сюда к ним течением ветра принесло смутный гул голосов. Свет внезапно погас, и только там, где последняя терраса лепилась к скале, еще лежала узенькая багровая полоска. Порыв ветра снова донес до них отчетливые крики толпы, потом грохот залпа и негодующий рокот. Тарру поднялся, прислушался. Все смолкло.

— Опять у ворот дрались.

— Уже кончили, — сказал Риэ.

Тарру буркнул, что такое никогда не кончается и снова будут жертвы, потому что таков порядок

вещей.

— Возможно, — согласился доктор, — но, как вы знаете, я чувствую себя скорее заодно с побежденными, а не со святыми. Думаю, я просто лишен вкуса к героизму и святости. Единственное, что мне важно, — это быть человеком.

— Да, оба мы ищем одно и то же, только я не имею столь высоких притязаний.

Риэ подумал, что Тарру шутит, и поднял на него глаза. Но в слабом свете, лившемся с неба, он увидел грустное, серьезное лицо. Снова поднялся ветер, и Риэ почувствовал всей кожей его теплое дыхание. Тарру тряхнул головой.

— А знаете, что бы следовало сделать, чтобы закрепить нашу дружбу?

— Согласен на все, что вам угодно, — сказал Риэ.

— Пойдем выкупаемся в море. Удовольствие, вполне достойное даже будущего святого.

Риэ улыбнулся.

— Пропуска у нас есть, до дамбы мы доберемся без труда. В конце концов глупо жить только одной чумой! Разумеется, человек обязан бороться на стороне жертв. Но если его любовь замкнется только в эти рамки, к чему тогда и бороться.

— Хорошо, пойдем, — сказал Риэ.

Через несколько минут машина остановилась у ворот порта. Уже взошла луна. Небесный свод затянуло молочной дымкой, и тени были бледные, неяркие. За их спиной громоздился город, и долетавшее оттуда горячее, болезненное дыхание гнало их к морю. Они предъявили стражнику пропуска, и тот долго вертел их в пальцах. Наконец он посторонился, и они направились к дамбе через какие-то площадки, заваленные бочками, откуда шел запах вина и рыбы. А еще через несколько шагов запах йода и водорослей известил их о близости моря. Только потом они его услышали.

Оно негромко шелестело у подножия огромных каменных уступов, и, когда они поднялись еще немного, перед ними открылось море, плотное, как бархат, гибкое и блестящее, как хребет хищника. Они облюбовали себе утес, стоявший лицом к морю. Волны медленно взбухали и откатывались назад. От этого спокойного дыхания на поверхности воды рождались и исчезали маслянистые блики. А впереди лежала бескрайняя мгла. Ощущая под ладонью изрытый как оспой лик скалы, Риэ испытывал чувство какого-то удивительного счастья. Повернувшись к Тарру, он прочел на серьезном, невозмутимом лице друга

выражение того же счастья, которое не забывало ничего, даже убийства.

Они разделись, Риэ первым вошел в воду. Поначалу вода показалась ему ужасно холодной, но, когда он поплыл, ему стало теплее. Проплыв несколько метров, он уже знал, что море нынче вечером совсем теплое той особой осенней теплотою, когда вода отбирает от земли весь накопленный ею за лето зной. Он плыл ровно, не спеша. От его бьющих по воде ступней вскипала пенная борозда, вода струилась по предплечью и плотно льнула к ногам. Позади раздался тяжелый плеск, и Риэ понял, что Тарру бухнулся в воду. Риэ перевернулся на спину и лежал не шевелясь, глядя на опрокинутый над ним небесный свод, полный звезд и луны. Он глубоко вздохнул. Плеск вспененной мощными взмахами рук воды стал ближе и казался удивительно ясным в молчании и одиночестве ночи. Тарру приближался, вскоре доктор различил его шумное дыхание. Риэ перевернулся на живот и поплыл рядом с другом в том же ритме. Тарру плавал быстрее, и доктору пришлось подналечь. Несколько минут они продвигались вперед в том же темпе, теми же мощными рывками, одни, далекие от всего мира, освободившиеся наконец от города

и чумы. Риэ сдался первым, они повернули и медленно поплыли к берегу; только когда путь их пересекла ледяная струя, они ускорили темп. Не обменявшись ни словом, оба поплыли скорее, подстегиваемые этим неожиданным сюрпризом, который уготовило им море.

Они молча оделись и молча направились домой. Но сердцем они сроднились, и воспоминание об этой ночи стало им мило. Когда же они еще издали заметили часового чумы, Риэ догадался, о чем думает сейчас Тарру, — он, как и сам Риэ, думал, что болезнь забыла о них, что это хорошо и что сейчас придется снова браться за дело.

Да, пришлось снова браться за дело, и чума ни о ком надолго не забывала. Весь декабрь она пылала в груди наших сограждан, разжигала печи в крематории, заселяла лагеря бездействующими тенями — словом, все время терпеливо продвигалась вперед ровненькими короткими прыжками. Городские власти возлагали надежду на холодные дни, рассчитывая, что холод остановит это продвижение, но чума невредимо прошла сквозь первые испытания зимы. Приходилось снова ждать. Но когда ждешь слишком долго, то уж вообще не ждешь, и весь наш город жил без будущего.

Коротенький миг дружбы и покоя, выпавший на долю доктора Риэ, не имел завтрашнего дня. Открыли еще один лазарет, и Риэ оставался наедине только с тем или другим больным. Однако он заметил, что на этой стадии эпидемии, когда чума все чаще и чаще проявлялась в легочной форме, больные как бы стараются помочь врачу. Если в первые дни болезнь характеризовалась состоянием прострации или вспышками безумия, то теперь пациенты яснее отдавали себе отчет в том, что идет им на пользу, и по собственному почину требовали именно то, что могло облегчить их страдания. Так, они беспрестанно просили пить и все без исключения искали тепла. И хотя доктор Риэ по-прежнему валился с ног от усталости, все же в этих новых обстоятельствах он чувствовал себя не таким одиноким, как прежде.

Как-то, было это уже к концу декабря, доктор получил письмо от следователя мсье Отона, который еще до сих пор находился в лагере; в письме говорилось, что карантин уже кончился, но что начальство никак не может обнаружить в списках дату его поступления в карантин и потому его задерживают здесь явно по ошибке. Его жена, недавно отбывшая свой срок в карантине, ходила жаловаться в префектуру, где ее встретили в

штыки и заявили, что ошибок у них не бывает. Риэ попросил Рамбера уладить это дело; и через несколько дней к нему явился сам мсье Отон. Действительно, вышла ошибка, и Риэ даже немного рассердился. Но еще больше похудевший мсье Отон вяло махнул рукой и сказал, веско упирая на каждое слово, что все могут ошибаться. Доктор отметил про себя, что следователь в чем-то изменился.

— А что вы собираетесь делать, господин следователь? Вас ждут дела, — сказал Риэ.

— Да ничего не собираюсь, — ответил следователь. — Хотелось бы получить отпуск.

— Верно, верно, отдохнуть вам не мешает.

— Нет, не для этого. Я хотел бы вернуться в лагерь.

Риэ не мог скрыть удивления:

— Но вы же только что оттуда вышли!

— Вы меня не так поняли. Мне говорили, что в этот лагерь начальство вербует добровольцев.

Следователь перекатил справа налево свои круглые глаза и попытался пригладить хохол у виска.

— Я хочу, чтобы вы меня поняли. Во-первых, у меня будет занятие. А во-вторых, возможно, мои слова и покажутся вам глупыми, но там я буду

меньше чувствовать разлуку с моим мальчиком.

Риэ взглянул на следователя. Может ли быть, что в этих жестких, ничего не выражающих глазах вдруг вспыхнула нежность? Но они затуманились, они утратили свой ясный металлический блеск.

— Разумеется, я займусь вашим делом, раз вы сами того хотите, — сказал доктор Риэ.

И действительно, доктор взял на себя хлопоты по делу мсье Отона, и вплоть до Рождества жизнь зачумленного города шла своим ходом. Тарру по-прежнему появлялся повсюду, и его неизменное спокойствие действовало на людей как лекарство. Рамбер признался доктору, что при помощи братьев-часовых ему удалось наладить тайную переписку с женой. Время от времени он получает от нее весточку. Рамбер предложил доктору воспользоваться его каналами, и Риэ согласился. Впервые за долгие месяцы он взялся за перо, но писание далось ему с трудом. Что-то из его лексикона исчезло. Письмо отправили. Но ответ задерживался. Зато Коттар благоденствовал и богател на своих махинациях. А вот Грану рождественские каникулы не принесли удачи.

В этом году Рождество походило скорее на адский, чем на евангельский праздник. Ничто не

напоминало былых рождественских каникул — пустые, неосвещенные магазины, в витринах бутафорский шоколад, в трамваях хмурые лица. Раньше этот праздник объединял всех, и богатого и бедного, а теперь только привилегированные особы могли позволить себе отгороженную от людей постыдную роскошь праздничного пира, раздобывая за бешеные деньги все необходимое с черного хода грязных лавчонок. Даже в церквах слова благодарственного молебна заглушал плач. Только ребятишки, еще не понимавшие нависшей над ними угрозы, резвились на улицах угрюмого, схваченного холодом города. Но никто не осмеливался напомнить им о Боге, таком, каким был он до чумы, о Боженьке, щедром дарителе, древнем, как человеческое горе, но вечно новом, как юная надежда. В наших сердцах оставалось место только для очень древней угрюмой надежды, для той надежды, которая мешает людям покорно принимать смерть и которая не надежда вовсе, а просто упрямое цепляние за жизнь.

Накануне Гран не пришел в назначенный час. Риэ встревожился и заглянул к нему рано утром, но дома не застал. Он поднял всех на ноги. В одиннадцатом часу в лазарет к Риэ забежал Рамбер и

сообщил, что видел издали Грана, но тот прошел мимо с убитым видом. И тут Рамбер потерял его след. Доктор и Тарру сели в машину и отправились на розыски.

Уже в полдень, в морозный час, Риэ, выходя из машины, издали заметил Грана, почти вжавшегося в витрину магазина, где были выставлены топорно вырезанные из дерева игрушки. По лицу старика чиновника беспрерывно катились слезы. И при виде этих льющихся слез у Риэ сжалось сердце — он догадался об их причине, и к горлу его тоже подступили рыдания. И он тоже вспомнил помолвку Грана перед такой же вот убранной к празднику витриной, Жанну, которая, запрокинув головку, сказала, что она счастлива. Он не сомневался, что из глубин далеких лет сюда, в цитадель их общего безумия, до Грана долетел свежий Жаннин голосок. Риэ знал, о чем думает сейчас этот плачущий старик, и он тоже подумал, что наш мир без любви — это мертвый мир и неизбежно наступает час, когда, устав от тюрем, работы и мужества, жаждешь вызвать в памяти родное лицо, хочешь, чтобы сердце умилялось от нежности.

Но Гран заметил его отражение в стекле. Не вытирая слез, он обернулся, оперся спиной о

витрину, глядя на приближавшегося к нему Риэ.

— Ох, доктор, доктор! — твердил он.

Риэ не мог вымолвить ни слова и, желая приободрить старика, ласково кивнул ему головой. Это отчаяние было и его отчаянием, душу ему выворачивал неудержимый гнев, который охватывает человека при виде боли, общей для всех людей.

— Да, Гран, — произнес он.

— Мне хотелось бы успеть написать ей письмо. Чтобы она знала... чтобы была счастлива, не испытывая угрызений совести...

Риэ даже с какой-то яростью оторвал Грана от витрины. А тот покорно позволял себя тащить и все бормотал какие-то фразы без начала и конца.

— Слишком уж это затянулось. Не хочется больше сопротивляться, будь что будет! Ох, доктор! Это только вид у меня спокойный. Но мне вечно приходилось делать над собой невероятные усилия, лишь бы удержаться на грани нормального. Но теперь чаша переполнилась.

Он остановился, трясясь всем телом, и глядел на Риэ безумным взглядом. Риэ взял его за руку. Она горела.

— Пойдем-ка домой.

Гран вырвался, бросился бежать, но уже через

несколько шагов остановился, раскинул руки крестом и зашатался взад и вперед. Потом, сделав полный круг, упал на скованный льдом тротуар, а по грязному лицу его все еще ползли слезы. Прохожие издали поглядывали на них, круто останавливались, не решаясь подойти ближе. Пришлось Риэ донести Грана до машины на руках.

Когда Грана уложили в постель, он начал задыхаться: очевидно, были задеты легкие. Риэ задумался. Родных у Грана нет. Зачем перевозить его в лазарет? Пусть лежит себе здесь, а Тарру будет за ним присматривать…

Голова Грана глубоко ушла в подушки, кожа на лице приняла зеленоватый оттенок, взор потух. Не отрываясь, он глядел на чахлое пламя, которое Тарру разжег в печурке, кинув туда старый ящик. «Плохо дело», — твердил он. И из глубин его охваченных огнем легких вместе с каждым произнесенным словом вылетал какой-то странный хрип. Риэ велел ему замолчать и сказал, что зайдет попозже. Странная улыбка морщила губы больного, и одновременно лицо его выразило нежность. Он с трудом подмигнул врачу: «Если я выкарабкаюсь, шапки долой, доктор!» Но тут же впал в состояние прострации.

Через несколько часов Риэ и Тарру снова отправились к Грану, он полусидел в постели, и врач испугался, увидев, как за этот недолгий срок преуспела болезнь. Но сознание, казалось, вернулось, и сразу же Гран каким-то неестественно глухим голосом попросил дать ему рукопись, лежавшую в ящике. Тарру подал ему листки, и Гран, не глядя, прижал их к груди, потом протянул доктору, показав жестом, что просит его почитать вслух. Рукопись была коротенькая, всего страниц пятьдесят. Доктор полистал ее и увидел, что каждый листок исписан одной и той же фразой, бесконечными ее вариантами, переделанными и так и эдак, то подлиннее и покрасивее, то покороче и побледнее. Сплошные месяц май, амазонка и аллеи Булонского леса, чуть измененные, чуть перевернутые. Тут же находились пояснения, подчас невыносимо длинные, а также различные варианты. Но в самом низу последней страницы было прилежно выведено всего несколько слов, видимо, недавно, так как чернила были еще совсем свежие: «Дорогая моя Жанна, сегодня Рождество…» А выше — написанная каллиграфическим почерком последняя версия фразы. «Прочтите», — попросил Гран. И Риэ стал читать:

— «Прекрасным майским утром стройная ама-

зонка на великолепном гнедом скакуне неслась среди цветов по аллеям Булонского леса…»

— Ну как получилось? — лихорадочно спросил больной.

Риэ не смел поднять на него глаз.

— Знаю, знаю, — беспокойно двигаясь на постели, пробормотал Гран, — сам знаю. Прекрасным, прекрасным, нет, не то все-таки слово.

Риэ взял его руку, лежавшую поверх одеяла.

— Оставьте, доктор. У меня времени не хватит…

Грудь его мучительно ходила, и вдруг он выкрикнул полным голосом:

— Сожгите ее!

Доктор нерешительно взглянул на Грана, но тот повторил свое приказание таким страшным тоном, с такой мукой в голосе, что Риэ повиновался и швырнул листки в почти погасшую печурку. На мгновение комнату озарило яркое пламя, и ненадолго стало теплее. Когда доктор подошел к постели, больной лежал, повернувшись спиной, почти упираясь лбом в стену. Тарру безучастно смотрел в окно, будто его ничуть не касалась эта сцена. Впрыснув больному сыворотку, Риэ сказал своему другу, что вряд ли Гран дотянет до утра, и Тарру вызвался посидеть с ним. Доктор

согласился.

Всю ночь он мучился при мысли, что Грану суждено умереть. Но утром следующего дня Риэ, войдя к больному, увидел, что тот сидит на постели и разговаривает с Тарру. Температура упала. Единственное, что осталось от вчерашнего приступа, — это общая слабость.

— Ах, доктор, — начал Гран, — зря я это. Но ничего, начну все заново. Я ведь все помню.

— Подождем, — обратился Риэ к Тарру.

Но и в полдень положение больного не изменилось. К вечеру стало ясно, что Гран спасен. Риэ ничего не понимал в этом воскресении из мертвых.

И между тем примерно в то же время к Риэ доставили больную, он счел ее случай безнадежным и велел изолировать от других больных. Молоденькая девушка бредила, все признаки легочной чумы были налицо. Но к утру температура упала. Доктор, как и в случае с Граном, решил, что это обычная утренняя ремиссия, а по его опыту это было зловещим признаком. Однако в полдень температура не поднялась. К вечеру поднялась всего на несколько десятых, а еще через день совсем упала. Девушка, хоть и ослабла, дышала ровно и свободно. Риэ сказал

Тарру, что она спаслась вопреки всем правилам. Но в течение недели Риэ пришлось столкнуться с четырьмя аналогичными случаями.

К концу недели Риэ и Тарру, заглянувшие к старику астматику, нашли его в состоянии небывалого возбуждения.

— Ну и ну, — твердил он. — Опять лезут.

— Кто?

— Да крысы же!

С апреля никто ни разу не видел в городе ни одной дохлой крысы.

— Неужели начнется все сызнова? — спросил Тарру у Риэ.

Старик радостно потирал руки.

— Вы бы только посмотрели, как они носятся! Одно удовольствие.

Он сам видел двух живых крыс, которые преспокойно вошли к нему с улицы. А соседи рассказывали, что и у них тоже появились грызуны. Кое-где на стройках люди снова услышали уже давно забытые возню и писк. Риэ поджидал последней сводки с общим итогом — ее обычно печатали в начале недели. Согласно им, болезнь отступала.

Часть пятая

Вопреки этому непредвиденному спаду эпидемии наши сограждане не спешили предаваться ликованию. Долгие месяцы все росла их жажда освобождения, но за тот же срок они превзошли науку осмотрительности и постепенно отучились рассчитывать на близкий конец эпидемии. Между тем новость была у всех на устах и в глубине каждого сердца зарождалась великая, потаенная надежда. Все прочее отступало на задний план. Новые жертвы чумы казались чем-то маловажным по сравнению с ошеломляющим фактом: кривая заболеваний пошла вниз. Одним из характерных признаков ожидания эры здоровья — открыто на нее не надеялись, но втайне взывали, — так вот, характерным признаком было то, что в последнее время наши сограждане стали охотно строить планы о послечумном существовании, правда, внешне равнодушно.

Все сходились на том, что былая жизнь со всеми ее удобствами вернется не сразу, что легче разрушать, чем создавать. Просто считалось, что с продовольствием, во всяком случае, будет легче

и что хоть одной тягостной заботой станет меньше. Но по сути, под этими внешне безобидными замечаниями бушевала безумная надежда, и так сильно бушевала, что наши сограждане иной раз все же спохватывались и выпаливали одним духом, что при всех обстоятельствах избавление — дело не завтрашнего дня.

И впрямь, чума затихла не завтра, но по всем признакам она ослабевала быстрее, чем позволительно было надеяться. В первые дни января наступили необычно упорные для нас холода и, казалось, легли над городом хрустальным куполом. И однако, никогда еще небо не было таким синим. С утра до вечера его недвижное льдистое великолепие заливало наш город своим неугасающим сиянием. В течение трех недель чума в этом очищенном воздухе, пройдя через несколько спадов, по-видимому, истощила себя, ограничившись сильно поредевшим строем мертвых тел. В короткое время чума растеряла почти всю свою мощь, накопленную за долгие месяцы эпидемии. Уже по одному тому, как выпускает она из своих когтей явно обреченные на смерть жертвы, скажем, Грана или молоденькую пациентку доктора Риэ, бесчинствует в некоторых кварталах в продолжение двух-трех дней, а

в соседних уже исчезла полностью, как в понедельник набрасывается она еще на свои жертвы, а в среду отступает по всему фронту, уже по тому, как она запыхалась и суетится, можно было с уверенностью сказать, как она издергана, устала, в чем-то разладилась, что, теряя власть над собой, чума одновременно утеряла свою царственную, математически неотвратимую действенность, бывшую источником ее силы. Если прежде сыворотка Кастеля почти не знала удач, то теперь одна удача следовала за другой. Любое врачебное мероприятие, бывшее прежде неэффективным, стало теперь спасительным. Создавалось впечатление, будто сейчас травят уже шаг за шагом саму болезнь и что внезапная слабость чумы придала силу притупившемуся оружию, которым с ней пытались раньше бороться. Только временами чума, отдышавшись, делала вслепую резкий скачок и уносила трех-четырех больных, хотя врачи надеялись на их выздоровление. Это были, так сказать, неудачники чумы, те, которых она убивала в самый разгар надежд. Такая судьба постигла, например, мсье Отона, которого пришлось увезти из карантина, и Тарру говорил, что следователю и в самом деле не повезло, при этом никто так и не понял, что он имеет в виду

— смерть или жизнь следователя.

Но в общем-то чума отступала по всей линии, и сводки префектуры, поначалу будившие в сердцах наших сограждан лишь робкую и тайную надежду, теперь уже полностью поселили в нас убеждение, что победа одержана и чума оставляет свои позиции. Откровенно говоря, трудно было утверждать, действительно ли это победа или нет. Приходилось лишь констатировать, что эпидемия уходит так же неожиданно, как и пришла. Применявшаяся в борьбе с ней стратегия не изменилась, вчера еще бесплодная, сегодня она явно приносила успех. Так или иначе, создавалось впечатление, будто болезнь сама себя исчерпала или, возможно, отступила, поразив все намеченные объекты. В каком-то смысле роль ее была сыграна.

Однако внешне город вроде не изменился. Днем было по-прежнему тихо и пустынно, вечерами улицы заполняла все та же толпа, где теперь, впрочем, преобладали теплые пальто и кашне. Кинотеатры и кафе по-прежнему делали большие сборы. Но, приглядевшись попристальнее, можно было увидеть, что лица не так напряженно-суровы и кое-кто даже улыбается. И именно это дало повод заметить, что доныне никто на улицах не

улыбался... И в самом деле, в мутной дымке, уже долгие месяцы окутывавшей наш город, появился первый просвет, и по понедельникам каждый, слушая радио, имел возможность убедиться, что просвет этот с каждым днем становится шире и наконец-то нам позволено будет вздохнуть свободно. Пока еще это было, так сказать, лишь негативное облегчение, ничем не выражавшееся открыто. Но если раньше мы с недоверием встретили бы весть об отбытии поезда, или прибытии судна, или о том, что автомобилям вновь разрешается циркулировать по городу, то в середине января, напротив, такие вести никого бы не удивили. Разумеется, это не так уж много. Но на деле этот оттеночек свидетельствовал о том, как далеко шагнули наши сограждане по пути надежды. Впрочем, можно также сказать, что с той самой минуты, когда население позволяет себе лелеять хоть самую крошечную надежду, реальная власть чумы кончается.

Тем не менее в течение всего января наши сограждане воспринимали происходящее самым противоречивым образом. Точнее, от радостного возбуждения их тут же бросало в уныние. Именно в то время, когда статистические данные казались более чем благоприятными, снова было

зарегистрировано несколько попыток к бегству. Это обстоятельство весьма удивило не только городские власти, но и караульные посты, так как большинство побегов удалось. Но если разобраться строго, люди, бежавшие из города как раз в эти дни, повиновались вполне естественному чувству. В одних чума вселила глубочайший скептицизм, от которого они не могли отделаться. Надежда уже не имела над ними власти. Даже тогда, когда година чумы миновала, они все еще продолжали жить согласно ее нормам. Они просто отстали от событий. И напротив, в сердцах других — категория эта вербовалась в первую очередь из тех, кто жил в разлуке с любимым, — ветер надежды, повеявший после длительного затвора и уныния, разжег лихорадочное нетерпение и лишил их возможности владеть собой. Их охватывала чуть ли не паника при мысли, что они, не дай Бог, погибнут от чумы, когда цель уже так близка, что не увидят тех, кого они так безгранично любили, и что долгие страдания не будут им зачтены. И хотя в течение месяцев и месяцев они вопреки тюрьме и изгнанию мрачно и упорно жили ожиданием, первого проблеска надежды оказалось достаточно, чтобы разрушить дотла то, что не могли поколебать страх и безнадежность.

Как безумные, бросились они напролом, лишь бы опередить чуму, уже не в силах на финише приноравливаться к ее аллюру.

Впрочем, в то же самое время как-то непроизвольно стали проявляться признаки оптимизма. Так, было отмечено довольно значительное снижение цен. С точки зрения чистой экономики этот сдвиг был необъясним. Трудности с продовольствием остались прежние, у городских ворот все еще стояли карантинные кордоны, да и снабжение не слишком-то улучшилось. Значит, мы присутствовали при феномене чисто морального характера, так, словно бы отступление чумы проецировалось на все. Одновременно оптимизм возвращался к тем, кто до чумы жил общиной, а во время эпидемии был насильственно расселен. Оба наши монастыря постепенно стали такими же, как прежде, и братия снова зажила общей жизнью. То же самое можно сказать и о военных, которых снова перевели в казармы, не занятые в свое время под лазарет, они тоже вернулись к нормальному гарнизонному существованию. Два эти незначительных факта оказались весьма красноречивыми знамениями.

В этом состоянии внутреннего волнения пребывали наши сограждане вплоть до двадцать

пятого января. За последнюю неделю кривая смертности так резко пошла вниз, что после консультации с медицинской комиссией префектура объявила, что эпидемию можно считать пресеченной. Правда, в сообщении добавлялось, что из соображений осторожности, а это, несомненно, будет одобрено оранцами, город останется закрытым еще на две недели и профилактические мероприятия будут проводиться в течение целого месяца. Если за этот период времени появятся малейшие признаки опасности, «необходимо будет придерживаться статус-кво со всеми вытекающими отсюда последствиями». Однако наши сограждане склонны были считать это добавление чисто стилистическим ходом, и вечером двадцать пятого января весь город охватило радостное волнение. Не желая оставаться в стороне от общей радости, префект распорядился освещать город, как в дочумные времена. На залитые ярким светом улицы, под холодное чистое небо высыпали группками наши сограждане, смеющиеся и шумливые.

Конечно, во многих домах ставни так и не распахнулись, и семьи в тяжком молчании проводили это вечернее бдение, звенящее от возгласов толпы. Но и тот, кто еще носил траур

по погибшим, испытывал чувство глубочайшего облегчения, то ли потому, что перестал бояться за жизнь пощаженных чумой близких, то ли потому, что улеглась тревога за свою собственную жизнь. Но конечно, особенно чурались всеобщего веселья те семьи, где в этот самый час больной боролся с чумой в лазарете, или те, что находились в карантине или даже дома, ожидая, что бич Божий покончит с ними, как покончил он и со многими другими. Правда, и в этих семьях теплилась надежда, но ее на всякий случай хранили про запас, запрещали себе думать о ней, прежде чем не приобретут на нее полное право. И это ожидание, это немотствующее бодрствование где-то на полпути между агонией и радостью казалось им еще более жестоким среди всеобщего ликования.

Но эти исключения не умаляли радость других. Разумеется, чума еще не кончилась, она это еще докажет. Однако каждый уже заглядывал на несколько недель вперед, представляя себе, как со свистом понесутся по рельсам поезда, а корабли будут бороздить сверкающую гладь моря. На следующий день умы поуспокоятся и снова родятся сомнения. Но в ту минуту весь город как бы встряхнулся, выбрался на простор из мрачных

стылых укрытий, где глубоко вросли в землю его каменные корни, и наконец-то стронулся с места, неся груз выживших. В тот вечер Тарру, Риэ, Рамбер и другие шагали с толпой и точно так же, как и все, чувствовали, как уходит из-под их ног земля. Еще долго Тарру и Риэ, свернув с бульваров, слышали у себя за спиной радостный гул, хотя уже углубились в пустынные улочки и шли мимо наглухо закрытых ставен. И все из-за той же проклятой усталости они не могли отделить страдания, продолжавшиеся за этими ставнями, от веселья, заливавшего чуть подальше центр города. Лик приближающегося освобождения был орошен слезами и сиял улыбкой.

В ту самую минуту, когда радостный гул особенно окреп, Тарру вдруг остановился. По темной мостовой легко проскользнула тень. Кошка! В городе их не видели с самой весны. На секунду кошка замерла посреди мостовой, нерешительно присела, облизала лапку и, быстро проведя ею за правым ушком, снова бесшумно двинулась к противоположному тротуару и исчезла во мраке.

Тарру улыбнулся. Вот уж старичок напротив будет доволен!..

Но именно теперь, когда чума, казалось, уходит вспять, заползает обратно в ту неведомую нору,

откуда она бесшумно выползла весной, нашелся в городе один человек, которого, если верить записям Тарру, уход ее поверг в уныние, и человеком этим был Коттар.

Если говорить начистоту, то с того дня, когда кривая заболеваний пошла вниз, записи Тарру приобрели какой-то странный характер. Было ли то следствием усталости — неизвестно, но почерк стал неразборчивым, да и сам автор все время перескакивал с одной темы на другую. Более того, впервые эти записи лишились своей былой объективности и, напротив, все чаще и чаще попадались в них личные соображения. Среди довольно длинного рассказа о Коттаре вкраплено несколько слов о старичке кошкоплюе. По словам Тарру, чума отнюдь не умалила его уважения к этому персонажу, он интересовался им после эпидемии так же, как и до нее, но, к сожалению, больше он уже не сможет им интересоваться, хотя по-прежнему относится к старику весьма благожелательно. Он попытался его увидеть. Через несколько дней после двадцать пятого января он занял наблюдательный пост на углу их переулка. Кошки, памятуя о заветном месте встреч, снова мирно грелись в солнечных лужицах. Но в положенный час ставни упорно оставались

закрытыми. И все последующие дни Тарру ни разу не видел, чтобы их открывали. Из чего автор заключил, что старичок или обиделся, или помер; если он обиделся, то потому, что считал себя правым, а чума его опровергла, а если он помер, следовало бы поразмыслить о том, не был ли он святым, как и их старик астматик. Сам Тарру так не думал, но считал, что случай со старичком можно рассматривать как некое «указание». «Возможно, — гласят записные книжки, — человек способен приблизиться лишь к подступам святости. Если так, то пришлось бы довольствоваться скромным и милосердным сатанизмом».

Вперемешку с записями о Коттаре встречаются также многочисленные и разбросанные в беспорядке замечания то о Гране, уже выздоровевшем и снова взявшемся за работу, будто ничего и не случилось, то о матери доктора Риэ. Скрупулезно, с мельчайшими подробностями записаны беседы ее с Тарру, что неизбежно при совместном проживании под одной крышей; манеры старушки, ее улыбка, ее замечания насчет чумы. Особенно Тарру подчеркивает ее необыкновенную способность стушевываться, ее привычку изъясняться только самыми простыми фразами, ее особое пристрастие к окошку, выходящему на

тихую улочку, возле которого она просиживала все вечера, тихонько сложив руки на коленях, чуть выпрямив стан, и все глядела, пока сумерки не затопят комнату, а сама она не превратится в черную тень, еле выделяющуюся на фоне серой дымки, которая, постепенно сгущаясь, поглотит ее неподвижный силуэт; о легкости, с которой она передвигается по квартире, о ее доброте, которой светится все ее существо, каждый ее жест, каждое ее слово, хотя непосредственно она вроде бы ничего особенного при Тарру не сделала, и, наконец, он пишет, что старушка постигает все не умом, а сердцем и что, оставаясь в тени, в молчании, она умеет быть равной любому свету, будь то даже свет чумы. Впрочем, здесь почерк Тарру становится каким-то странным, словно рука пишущего ослабла. Следующие за этим строчки почти невозможно разобрать, и как бы в доказательство этой слабости последние слова записи являются в то же время первыми личными высказываниями: «Моя мать была такая же, я любил в ней эту способность добровольно стушевываться, и больше всего мне хотелось бы быть с ней. Прошло уже восемь лет, но я никак не могу решиться сказать, что она умерла. Просто стушевалась немного больше, чем обычно, а

когда я обернулся — ее уже нет».

Но вернемся к Коттару. С тех пор как эпидемия пошла на убыль, Коттар под разными выдуманными предлогами зачастил к Риэ. Но в действительности являлся он лишь затем, чтобы разузнать у врача прогнозы насчет дальнейшего развития эпидемии. «Значит, вы считаете, что она может кончиться вот так, сразу, ни с того ни с сего?» В этом отношении он был настроен скептически или, во всяком случае, хотел показать, что настроен именно так. Но его назойливость доказывала, что в душе он не так уж был в этом убежден. С середины января Риэ стал отвечать на его вопросы более оптимистическим тоном. И всякий раз ответы врача не только не радовали Коттара, но, наоборот, вызывали в нем различные эмоции — в иные дни уныние, в иные — досаду. Потом уж доктор Риэ стал говорить ему, что, несмотря на благоприятные признаки и статистические данные, рано еще кричать «ура».

— Другими словами, — заметил Коттар, — раз ничего не известно, значит, не сегодня завтра все опять может начаться сначала?

— Да, но в равной мере может случиться, что эпидемия пойдет на убыль еще быстрее.

Эта неуверенность, причинявшая тревогу всем

и каждому, явно приносила успокоение Коттару, и в присутствии Тарру он не раз заводил разговоры с соседними торговцами и старался как можно шире распространить мнение доктора Риэ. Впрочем, особого труда это не представляло. Ибо после лихорадочного возбуждения, вызванного первыми победными реляциями, многих снова охватило сомнение, оказавшееся куда более стойким, нежели ликование по поводу заявления префектуры. Зрелище растревоженного города успокаивало Коттара. Но в иные дни он снова падал духом.

— Рано или поздно, — твердил он Тарру, — город все равно объявят открытым. И вот увидите, тогда все от меня отвернутся.

Еще до знаменитого двадцать пятого января все в Оране обратили внимание на переменчивый нрав Коттара. Сколько терпения потратил он, стремясь обаять весь квартал, всех своих соседей, — и вдруг на несколько дней круто порывал с ними, сиднем сидел дома. Во всяком случае, таково было внешнее впечатление, он отходил от людей и, как прежде, замыкался в своей диковатости. Его не видели ни в ресторанах, ни в театре, ни даже в любимых кафе. И все же чувствовалось, что он не вернулся к прежнему размеренному

и незаметному существованию, какое вел до эпидемии. Теперь он не вылезал из дому и даже обед ему приносили из соседнего ресторанчика. Только вечерами он пробегал по улицам, делал необходимые покупки, пулей выскакивал из магазина и сворачивал в самые пустынные улицы. Тарру случайно натыкался на Коттара во время этих одиноких пробежек, но не мог вырвать у него ни слова, тот только бормотал что-то в ответ. Потом вдруг, без всякой видимой причины, Коттар снова делался общительным, много и долго распространялся о чуме, выведывал мнение других на этот счет и с явным удовольствием смешивался с текущей по улицам толпой.

В день оглашения декларации префектуры Коттар окончательно исчез с горизонта. Через два дня Тарру встретил его, одиноко блуждающего по улицам. Коттар попросил Тарру проводить его до окраины. Тарру, чувствовавший себя особенно усталым после долгого дня работы, согласился не сразу. Но Коттар настаивал. Он казался неестественно возбужденным, нелепо размахивал руками, говорил быстро и громко. Он спросил у своего спутника, считает ли тот, что сообщение префектуры и в самом деле означает конец эпидемии. Тарру, разумеется, полагал, что

административными заявлениями бедствия не пресечешь, но есть основание думать, что эпидемия идет на убыль, если, конечно, не произойдет чего-нибудь непредвиденного.

— Верно, — подтвердил Коттар, — если только не произойдет. А непредвиденное всегда происходит.

Тарру возразил, что префектура, впрочем, в какой-то мере предвидела непредвиденное, поскольку, объявив город открытым, предусмотрела двухнедельный контрольный срок.

— И хорошо сделала, — проговорил все так же мрачно и возбужденно Коттар, — потому что, судя по ходу событий, вполне может быть, что зря эту декларацию опубликовали.

Тарру согласился, что, может, и зря, но, по его мнению, гораздо приятнее думать, что город в скором времени станет открытым и мы вернемся к нормальной жизни.

— Допустим, — прервал его Коттар, — допустим, но что именно вы подразумеваете под словами «вернемся к нормальной жизни»?

— Ну, хотя бы начнут демонстрировать новые фильмы, — улыбнулся Тарру.

Но Коттар не улыбался. Ему хотелось понять, значит ли это, что чума ничего не изменила в

городе и все пойдет, как и раньше, то есть так, словно ничего и не произошло. Тарру полагал, что чума изменила и в то же время не изменила город, что, разумеется, наиболее сильным желанием наших сограждан было и будет вести себя так, словно ничего не изменилось, и что, следовательно, в каком-то смысле ничего не изменится, но, с другой стороны, все забыть нельзя, даже собрав в кулак всю свою волю, — чума, безусловно, оставит след, хотя бы в сердцах людей. Тут рантье отрезал, что людские сердца его ничуть не интересуют, более того, плевать ему на все сердца скопом. Ему интересно знать другое: не подвергнется ли перестройке система управления и будут ли, к примеру, все учреждения функционировать, как и прежде? И Тарру вынужден был признать, что ему это неизвестно. Но, надо думать, учреждения, взбаламученные эпидемией, нелегко будет снова запустить на полный ход. Можно также думать, что перед ними возникнет множество новых вопросов, а это потребует хотя бы реорганизации прежних канцелярий.

— Возможно, — сказал Коттар, — тогда всем придется все начинать с самого начала.

Они уже добрели до дома Коттара. Коттар был

возбужден, говорил с наигранным оптимизмом. Ему лично видится город, начинающий всю жизнь сначала, стерший начисто свое прошлое, чтобы начать с нуля.

— Что ж, — сказал Тарру. — Возможно, в конце концов также уладятся и ваши дела. В известном смысле начнется новая жизнь.

У подъезда они распрощались.

— Вы правы, — проговорил Коттар, уже не пытаясь скрыть волнения, — начать все с нуля — превосходная штука.

Но тут в дальнем углу подъезда внезапно возникли две тени. Тарру еле разобрал шепот Коттара, спросившего, что нужно здесь этим птичкам. А птички, похожие на принарядившихся чиновников, осведомились у Коттара, действительно ли он Коттар; тот, глухо чертыхнувшись, круто повернул и исчез во мраке прежде, чем птички да и сам Тарру успели шелохнуться. Когда первое удивление улеглось, Тарру спросил у незнакомцев, что им надо. Они ответили сдержанно и вежливо, что им надо навести кое-какие справки, и степенно зашагали в том направлении, где скрылся Коттар.

Вернувшись домой, Тарру записал эту сцену и тут же пожаловался на усталость (что подтвер-

ждал и его почерк). Он добавил, что впереди у него еще много дел, но это вовсе не довод и надо быть всегда готовым, и сам себе задавал вопрос, действительно ли он готов. И сам себе ответил — на этой записи и кончается дневник Тарру, — что у каждого человека бывает в сутки — ночью ли, днем ли — такой час, когда он празднует труса, и что лично он боится только этого часа.

На третьи сутки, за несколько дней до открытия города, доктор Риэ вернулся домой около полудня, думая по дороге, не пришла ли на его имя долгожданная телеграмма. Хотя и сейчас он работал до изнеможения, как в самый разгар чумы, близость окончательного освобождения снимала усталость. Он теперь надеялся и радовался, что может еще надеяться. Нельзя до бесконечности сжимать свою волю в кулак, нельзя все время жить в напряжении, и какое же это счастье одним махом ослабить наконец пучок собранных для борьбы сил. Если ожидаемая телеграмма будет благоприятной, Риэ сможет начать все сначала. И он считал, что пусть все начнут все сначала.

Риэ прошел мимо швейцарской. Новый привратник, сидевший у окошка, улыбнулся ему. Поднимаясь по лестнице, Риэ вдруг вспомнил его лицо, бледное от усталости и недоедания.

Да, когда будет покончено с абстракцией, он начнет все с самого начала, и если хоть немного повезет… С этой мыслью он открыл дверь, и в ту же самую минуту навстречу ему вышла мать и сообщила, что мсье Тарру нездоровится. Утром он, правда, встал, но из дому не вышел и снова лег. Мадам Риэ была встревожена.

— Может быть, еще ничего серьезного, — сказал Риэ.

Тарру лежал, вытянувшись во весь рост на постели, его тяжелая голова глубоко вдавилась в подушку, под одеялами вырисовывались очертания мощной грудной клетки. Температура у него была высокая, и очень болела голова. Он сказал Риэ, что симптомы еще слишком неопределенны, но, возможно, что это и чума.

— Нет, пока еще рано выносить окончательное суждение, — сказал Риэ, осмотрев больного.

Но Тарру мучила жажда. Выйдя в коридор, доктор сказал матери, что, возможно, это начало чумы.

— Нет, — проговорила она, — это немыслимо, особенно сейчас!

И тут же добавила:

— Оставим его у нас, Бернар.

Риэ задумался.

— Я не имею права, — ответил он. — Но город не сегодня завтра будет объявлен открытым. Если бы не ты, я бы взял на себя этот риск.

— Бернар, — умоляюще проговорила мать, — оставь нас обоих здесь. Ты же знаешь, мне только что впрыскивали вакцину.

Доктор сказал, что Тарру тоже впрыскивали вакцину, но он, очевидно, так замотался, что пропустил последнюю прививку и забыл принять необходимые меры предосторожности.

Риэ прошел к себе в кабинет. Когда он снова заглянул в спальню, Тарру сразу заметил, что доктор несет огромные ампулы с сывороткой.

— Ага, значит, она самая, — сказал он.

— Нет, просто мера предосторожности.

Вместо ответа Тарру протянул руку и спокойно перенес капельное вливание, которое сам десятки раз делал другим.

— Посмотрим, что будет вечером, — сказал Риэ, глядя Тарру прямо в лицо.

— А как насчет изоляции?

— Пока еще нет никакой уверенности, что у вас чума.

Тарру с трудом улыбнулся:

— Ну, знаете, это впервые в моей практике — вливают сыворотку и не требуют немедленной

изоляции больного.

Риэ отвернулся.

— Мама и я будем за вами ухаживать. Вам здесь будет лучше.

Тарру замолчал, и доктор стал собирать ампулы, ожидая, что Тарру заговорит и тогда у него будет предлог оглянуться. Не выдержав молчания, он снова подошел к постели. Больной смотрел прямо на Риэ. На его лице лежало выражение усталости, но серые глаза были спокойны. Риэ улыбнулся ему:

— Если можете, поспите. Я скоро вернусь.

На пороге он услышал, что Тарру его окликнул. Риэ вернулся к больному.

Но Тарру заговорил не сразу, казалось, он борется даже против самих слов, которые готовы сорваться с его губ.

— Риэ, — проговорил он наконец, — не надо от меня ничего скрывать, мне это необходимо.

— Обещаю вам.

Тяжелое лицо Тарру чуть искривила вымученная улыбка.

— Спасибо. Умирать мне не хочется, и я еще поборюсь. Но если дело плохо, я хочу умереть пристойно.

Риэ склонился над кроватью и сжал плечо

больного.

— Нет, — сказал он. — Чтобы стать святым, надо жить. Боритесь.

Днем резкий холод чуть смягчился, но лишь затем, чтобы уступить к вечеру арену яростным ливням и граду. В сумерках небо немного очистилось и холод стал еще пронзительнее. Риэ вернулся домой только перед самым ужином. Даже не сняв пальто, он сразу же вошел в спальню, которую занимал его друг. Мать Риэ сидела у постели с вязаньем в руках. Тарру, казалось, так и не пошевелился с утра, и только его побелевшие от лихорадки губы выдавали весь накал борьбы, которую он вел.

— Ну, как теперь? — спросил доктор.

Тарру чуть пожал своими могучими плечами.

— Теперь игра, кажется, проиграна, — ответил он.

Доктор склонился над постелью. Под горячей кожей набрякли железы, в груди хрипело, словно там беспрерывно работала подземная кузница. Как ни странно, но у Тарру были симптомы обоих видов. Поднявшись со стула, Риэ сказал, что сыворотка, видимо, еще не успела подействовать. Но ответа он не разобрал: прихлынувшая к гортани волна жара поглотила те несколько слов,

которые пытался пробормотать Тарру.

Вечером Риэ с матерью уселись в комнате больного. Ночь начиналась для Тарру борьбой, и Риэ знал, что эта беспощадная битва с ангелом чумы продлится до самого рассвета. Даже могучие плечи, даже широкая грудь Тарру были не самым надежным его оружием в этой битве, скорее уж его кровь, только что брызнувшая из-под шприца Риэ, и в этой крови таилось нечто еще более сокровенное, чем сама душа, то сокровенное, что не дано обнаружить никакой науке. А ему, Риэ, оставалось только одно — сидеть и смотреть, как борется его друг. После долгих месяцев постоянных неудач он слишком хорошо знал цену искусственных абсцессов и вливаний, тонизирующих средств. Единственная его задача, по сути дела, — это очистить поле действия случаю, который чаще всего не вмешивается, пока ему не бросишь вызов. А надо было, чтобы он вмешался. Ибо перед Риэ предстал как раз тот лик чумы, который путал ему все карты. Снова и снова чума напрягала все свои силы, лишь бы обойти стратегические рогатки, выдвинутые против нее, появлялась там, где ее не ждали, и исчезала там, где, казалось бы, прочно укоренилась. И опять она постаралась поставить его в тупик.

Тарру боролся, хотя и лежал неподвижно. Ни разу за всю ночь он не противопоставил натиску недуга лихорадочного метания, он боролся только своей монументальностью и своим молчанием. И ни разу также он не заговорил, он как бы желал показать этим молчанием, что ему не дозволено ни на минуту отвлечься от этой битвы. Риэ догадывался о фазах этой борьбы лишь по глазам своего друга, то широко открытым, то закрытым, причем веки как-то особенно плотно прилегали к глазному яблоку или, напротив, широко распахивались, и взгляд Тарру приковывался к какому-нибудь предмету или обращался к доктору и его матери. Всякий раз, когда их глаза встречались, Тарру делал над собой почти нечеловеческие усилия, чтобы улыбнуться.

Вдруг на улице раздались торопливые шаги. Казалось, прохожий пытается спастись бегством от пока еще далекого ворчания, приближавшегося с минуты на минуту и вскоре затопившего ливнем всю улицу: дождь зарядил, потом посыпал град, громко барабаня по асфальту. Тяжелые занавеси на окнах сморщило от ветра. Сидевший в полумраке комнаты Риэ на минуту отвлекся, вслушиваясь в шум дождя, потом снова перевел взгляд на Тарру, на чье лицо падал свет ночника

у изголовья кровати. Мать Риэ вязала и только время от времени вскидывала голову и пристально всматривалась в больного. Доктор сделал все, что можно было сделать. Дождь прошел, в комнате вновь сгустилась тишина, насыщенная лишь безмолвным бормотом невидимой войны. Разбитому бессонницей доктору чудилось, будто где-то там, за рубежами тишины, слышится негромкий, ритмичный посвист, преследовавший его с первых дней эпидемии. Жестом он показал матери, чтобы она пошла легла. Она отрицательно покачала головой, глаза ее блеснули, потом она нагнулась над спицами, внимательно разглядывая чуть не соскользнувшую петлю. Риэ поднялся, напоил больного и снова сел на место.

Мимо окон, воспользовавшись затишьем, быстро шагали прохожие. Шаги становились все реже, удалялись. Впервые за долгое время доктор понял, что сегодняшняя ночь, тишину которой то и дело нарушали шаги запоздалых пешеходов и не рвали на части пронзительные гудки машин «скорой помощи», была похожа на те, прежние ночи. За окном была ночь, стряхнувшая с себя чуму. И казалось, будто болезнь, изгнанная холодами, ярким светом, толпами людей, выскользнула из темных недр города, пригрелась в

их теплой спальне и здесь вступила в последнее свое единоборство с вяло распростертым телом Тарру. Небеса над городом уже не бороздил бич Божий. Но он тихонько посвистывал здесь, в тяжелом воздухе спальни. Его-то и слышал Риэ, слышал в течение всех этих бессонных часов. И приходилось ждать, когда он и тут смолкнет, когда и тут чума признает свое окончательное поражение.

Перед рассветом Риэ нагнулся к матери:

— Пойди непременно ляг, иначе ты не сможешь меня сменить в восемь часов. Только не забудь сделать полоскание.

Мадам Риэ поднялась с кресла, сложила свое вязанье и подошла к постели Тарру, уже давно не открывавшего глаз. Над его крутым лбом закурчавились от пота волосы. Она вздохнула, и больной открыл глаза. Тарру увидел склоненное над собою кроткое лицо, и сквозь набегающие волны лихорадки снова упрямо пробилась улыбка. Но веки тут же сомкнулись. Оставшись один, Риэ перебрался в кресло, где раньше сидела его мать. Улица безмолвствовала, уже ничто не нарушало тишины. Предрассветный холод давал себя знать даже в комнате.

Доктор задремал, но грохот первой утренней

повозки разбудил его. Он вздрогнул и, посмотрев на Тарру, понял, что действительно забылся сном и что больной тоже заснул. Вдалеке затихал грохот деревянных колес, окованных железом, цоканье лошадиных копыт. За окном еще было темно. Когда доктор подошел к постели, Тарру поднял на него пустые, ничего не выражающие глаза, как будто он находился еще по ту сторону сна.

— Поспали? — спросил Риэ.

— Да.

— Дышать легче?

— Немножко. А имеет это какое-нибудь значение?

Риэ ответил не сразу, потом проговорил:

— Нет, Тарру, не имеет. Вы, как и я, знаете, что это просто обычная утренняя ремиссия.

Тарру одобрительно кивнул головой.

— Спасибо, — сказал он. — Отвечайте, пожалуйста, и впредь так же точно.

Доктор присел в изножье постели. Боком он чувствовал длинные неподвижные ноги Тарру, ноги уже неживого человека. Тарру задышал громче.

— Температура снова поднимется, да, Риэ? — спросил он прерывающимся от одышки голосом.

— Да, но в полдень, и тогда будет ясно.

Тарру закрыл глаза, будто собирая все свои силы. В чертах лица сквозила усталость. Он ждал нового приступа лихорадки, которая уже шевелилась где-то в глубинах его тела. Потом веки приподнялись, открыв помутневший зрачок. Только когда он заметил склонившегося над постелью Риэ, взор его посветлел.

— Попейте, — сказал Риэ.

Тарру напился и устало уронил голову на подушку.

— Оказывается, это долго, — проговорил он.

Риэ взял его за руку, но Тарру отвел взгляд и, казалось, не почувствовал прикосновения. И внезапно, на глазах Риэ, лихорадка, словно прорвав какую-то внутреннюю плотину, хлынула наружу и добралась до лба. Когда Тарру поднял взгляд на доктора, тот попытался придать своему застывшему лицу выражение надежды. Тарру старался улыбнуться, но улыбке не удалось прорваться сквозь судорожно сжатые челюсти, сквозь слепленные белой пеной губы. Однако на его застывшем лице глаза еще блестели всем светом мужества.

В семь часов мадам Риэ вошла в спальню. Доктор из своего кабинета позвонил в лазарет и

попросил заменить его на работе. Он решил также отказаться сегодня от всех визитов к больным, прилег было на диван тут же в кабинете, но, не выдержав, вскочил и вернулся в спальню. Тарру лежал, повернув лицо к мадам Риэ. Не отрываясь, глядел он на маленький комочек тени, жавшийся рядом с ним на стуле, с ладонями, плотно прижатыми к коленям. Глядел он так пристально, что мадам Риэ, заметив сына, приложила палец к губам, встала и потушила лампочку у изголовья постели. Но дневной свет быстро просачивался сквозь шторы, и, когда лицо больного выступило из темноты, мадам Риэ убедилась, что он по-прежнему смотрит на нее. Она нагнулась над постелью, поправила подушку и приложила ладонь к мокрым закурчавившимся волосам. И тут она услышала глухой голос, идущий откуда-то издалека, и голос этот сказал ей спасибо и уверил, что теперь все хорошо. Когда она снова села, Тарру закрыл глаза, и его изможденное лицо, казалось, озарила улыбка, хотя губы по-прежнему были плотно сжаты.

В полдень лихорадка достигла апогея. Нутряной кашель сотрясал тело больного, он уже начал харкать кровью. Железы перестали набухать, они были все те же, твердые на ощупь, будто во

все суставы ввинтили гайки, и Риэ решил, что вскрывать опухоль бессмысленно. В промежутках между приступами кашля и лихорадки Тарру кидал взгляды на своих друзей. Но вскоре его веки стали смежаться все чаще и чаще, и свет, еще так недавно озарявший его изнуренное болезнью лицо, постепенно гас. Буря, сотрясавшая его тело судорожными конвульсиями, все реже и реже разражалась вспышками молний, и Тарру медленно уносило в бушующую бездну. Перед собой на подушках Риэ видел лишь безжизненную маску, откуда навсегда ушла улыбка. В то, что еще сохраняло обличье человека, столь близкого Риэ, вонзилось теперь острие копья, его жгла невыносимая боль, скручивали все злобные небесные вихри, и оно на глазах друга погружалось в хляби чумы. А он, друг, не мог предотвратить этой катастрофы. И опять Риэ вынужден был стоять на берегу с пустыми руками, с рвущимся на части сердцем, безоружный и беспомощный перед бедствием. И когда наступил конец, слезы бессилия застлали глаза Риэ и он не видел, как Тарру вдруг резко повернулся к стене и испустил дух с глухим стоном, словно где-то в глубине его тела лопнула главная струна.

Следующая ночь уже не была ночью битвы, а

была ночью тишины. В этой спальне, отрезанной от всего мира, над этим безжизненным телом, уже обряженным для погребальной церемонии, ощутимо витал необыкновенный покой, точно так же, как за много ночей до того витал он над террасами, вознесенными над чумой, когда начался штурм городских ворот. Уже тогда Риэ думал об этой тишине, которая подымалась с ложа, где перед ним, беспомощным, умирали люди. И повсюду та же краткая передышка, тот же самый торжественный интервал, повсюду то же самое умиротворение, наступающее после битвы, повсюду немота поражения. Но то безмолвие, что обволакивало сейчас его друга, было таким плотным, так тесно сливалось оно с безмолвием улиц и всего города, освобожденного от чумы, что Риэ ясно почувствовал: сейчас это уже окончательное, бесповоротное поражение, каким завершаются войны и которое превращает даже наступивший мир в неисцелимые муки. Доктор не знал, обрел ли под конец Тарру мир, но хотя бы в эту минуту был уверен, что ему самому мир заказан навсегда, точно так же как не существует перемирия для матери, потерявшей сына, или для мужчины, который хоронит друга.

Там, за окном, лежала такая же, как и вчера,

холодная ночь, те же ледяные звезды светились на ясном студеном небе. В полутемную спальню просачивался жавшийся к окнам холод, чувствовалось бесцветное ровное дыхание полярных ночей. У постели сидела мадам Риэ в привычной своей позе, справа на нее падал свет лампочки, горевшей у изголовья постели. Риэ устроился в кресле, стоявшем в полумраке посреди спальни. То и дело он вспоминал о жене, но гнал прочь эти мысли.

В ночной морозной тишине звонко стучали по тротуару каблуки прохожих.

— Ты все сделал? — спросила мать.

— Да, я уже позвонил.

И вновь началось молчаливое бдение. Время от времени мадам Риэ взглядывала на сына. Поймав ее взгляд, он улыбался в ответ. В привычном порядке сменялись на улице ночные шумы. Хотя официальное разрешение еще не было дано, автомобили опять раскатывали по городу. Они стремительно вбирали в себя мостовую, исчезали, снова появлялись. Голоса, возгласы, вновь наступавшая тишина, цоканье лошадиных копыт, трамвай, проскрежетавший на стрелке, затем второй, какие-то неопределенные звуки и снова торжественное дыхание ночи.

— Бернар!
— Что?
— Ты не устал?
— Нет.

Он знал, о чем думает его мать, знал, что в эту самую минуту она любит его. Но он знал также, что не так уж это много — любить другого, и, во всяком случае, любовь никогда не бывает настолько сильной, чтобы найти себе выражение. Так они с матерью всегда будут любить друг друга в молчании. И она тоже умрет, в свой черед — или умрет он, — и так никогда за всю жизнь они не найдут слов, чтобы выразить взаимную нежность. И точно так же они с Тарру жили бок о бок, и вот Тарру умер нынче вечером, и их дружба не успела по-настоящему побыть на земле. Тарру, как он выражался, проиграл партию. Ну а он, Риэ, что он выиграл? Разве одно — узнал чуму и помнит о ней, познал дружбу и помнит о ней, узнал нежность, и теперь его долг когда-нибудь о ней вспомнить. Все, что человек способен выиграть в игре с чумой и с жизнью, — это знание и память. Быть может, именно это и называл Тарру «выиграть партию»!

Снова мимо окна промчался автомобиль, и мадам Риэ пошевелилась на стуле. Риэ улыбнулся

ей. Она сказала, что не чувствует усталости, и тут же добавила:

— Надо бы тебе съездить в горы отдохнуть.

— Конечно, мама, поеду.

Да, он там отдохнет. Почему бы и нет? Еще один предлог вспоминать. Но если это и значит выиграть партию, как должно быть тяжело жить только тем, что знаешь, и тем, что помнишь, и не иметь впереди надежды. Так, очевидно, жил Тарру, он-то понимал, как бесплодна жизнь, лишенная иллюзий. Не существует покоя без надежды. И Тарру, отказывавший людям в праве осуждать на смерть человека, знал, однако, что никто не в силах отказаться от вынесения приговора и что даже жертвы подчас бывают палачами, а если так, значит, Тарру жил, терзаясь и противореча себе, и никогда он не знал надежды. Может, поэтому он искал святости и хотел обрести покой в служении людям. В сущности, Риэ и не знал, так ли это, но это и не важно. Память его сохранит лишь немногие образы Тарру — Тарру за рулем машины, положивший обе руки на баранку, готовый везти его куда угодно, или вот это грузное, массивное тело, без движения распростертое на одре. Тепло жизни и образ смерти — вот что такое знание.

И разумеется, именно поэтому доктор Риэ, получив утром телеграмму, извещавшую о кончине жены, принял эту весть спокойно. Он был у себя в кабинете. Мать вбежала, сунула ему телеграмму и тут же вышла, чтобы дать на чай рассыльному. Когда она вернулась, сын стоял и держал в руке распечатанную телеграмму. Она подняла на него глаза, но он упорно смотрел в окно, где над портом поднималось великолепное утро.

— Бернар, — окликнула мадам Риэ.

Доктор рассеянно оглянулся.

— Да, в телеграмме? — спросила она.

— Да, — подтвердил доктор. — Неделю назад.

Мадам Риэ тоже повернулась к окну. Доктор молчал. Потом он сказал матери, что плакать не надо, что он этого ждал, но все равно это очень трудно. Просто, говоря это, он осознал, что в его страданиях отсутствует нечаянность. Все та же непрекращающаяся боль мучила его в течение нескольких месяцев и в течение этих двух последних дней.

Прекрасным февральским утром на заре наконец-то открылись ворота города; и событие это радостно встретил народ, газеты, радио и префектура в своих сообщениях. Таким образом, рассказчику остается лишь выступить в роли

летописца блаженных часов, наступивших с открытием ворот, хотя сам он принадлежал к числу тех, у кого не хватало досуга целиком отдаться всеобщей радости.

Были устроены празднества, длившиеся весь день и всю ночь. В то же самое время на вокзалах запыхтели паровозы и прибывшие из далеких морей корабли уже входили в наш порт, свидетельствуя, в свою очередь, что этот день стал для тех, кто стенал в разлуке, днем великой встречи.

Нетрудно представить себе, во что обратилось это чувство разъединенности, жившее в душе многих наших сограждан. Поезда, в течение дня прибывавшие в наш город, были так же перегружены, как и те, что отбывали с нашего вокзала. Пассажиры заранее, еще во время двухнедельной отсрочки, запасались билетами на сегодняшнее число и до третьего звонка тряслись от страха, что вдруг постановление префектуры возьмут и отменят. Да и путешественники, прибывавшие к нам, не могли отделаться от смутных опасений, так как знали только, да и то приблизительно, о судьбе своих близких, все же, что касалось прочих и самого города, было им неведомо, и город в их глазах приобретал зловещий лик. Но это было применимо лишь к тем, кого за все время чумы

не сжигала страсть.

Те, кого она сжигала, были и впрямь под властью своей навязчивой идеи. Одно лишь изменилось для них: в течение месяцев разлуки им неистово хотелось ускорить события, подтолкнуть время физически, чтобы оно не мешкало, а теперь, когда перед ними уже открывался наш город, они, напротив, как только поезд начал притормаживать, желали одного: чтобы время замедлило свой бег, чтобы оно застыло. Смутное и в то же время жгучее чувство, вскормленное этим многомесячным существованием, потерянным для любви, именно оно, это чувство, требовало некоего реванша — пусть часы радости тянутся вдвое медленнее, чем часы ожидания. И те, что ждали дома или на перроне, как, например, Рамбер, уже давно предупрежденный женой, что она добилась разрешения на приезд, равно страдали от нетерпения и растерянности. Любовь эта и нежность превратились за время чумы в абстракцию, и теперь Рамбер с душевным трепетом ждал, когда эти чувства и это живое существо, на которое они были направлены, окажутся лицом к лицу.

Ему хотелось вновь стать таким, каким был он в начале эпидемии, когда, ни о чем не думая,

решил очертя голову вырваться из города, броситься к той, любимой. Но он знал, что это уже невозможно. Он переменился, чума вселила в него отрешенность, и напрасно он пытался опровергнуть это всеми своими силами, ощущение отрешенности продолжало жить в нем, как некая глухая тоска. В каком-то смысле у него даже было чувство, будто чума кончилась слишком резко, когда он еще не собрался с духом. Счастье приближалось на всех парах, ход событий опережал ожидание. Рамбер понимал, что ему будет возвращено все сразу и что радость, в сущности, сродни ожогу, куда уж тут ею упиваться.

Все остальные более или менее отчетливо переживали то же самое, и поэтому поговорим лучше обо всех. Стоя здесь, на перроне вокзала, где должна была с минуты на минуту начаться вновь их личная жизнь, они пока еще ощущали свою общность, обменивались понимающими взглядами и улыбками. Но как только они заметили вырывающийся из трубы паровоза дым, застарелое чувство отъединенности вдруг угасло под ливнем смутной и оглушающей радости. Когда поезд остановился, кое для кого кончилась долгая разлука, начавшаяся на этом самом перроне, на этом самом вокзале, и кончилась в тот миг, когда руки

ликующе и алчно ощутили родное тело, хотя уже забыли его живое присутствие. Так, Рамбер не успел даже разглядеть бегущее к нему существо, с размаху уткнувшееся лицом в его грудь. Он держал ее в своих объятиях, прижимал к себе голову, не видя лица, а только знакомые волосы, — он не утирал катившиеся из глаз слезы и сам не понимал, льются ли они от теперешнего его счастья или от загнанной куда-то в глубь души боли, и все же знал, что эта влага, застилавшая взор, помешала ему убедиться в том, действительно ли это лицо, прильнувшее к его плечу, то самое, о котором так долго мечталось, или, напротив, он увидит перед собой незнакомку. Он поймет, но позже, верно ли было его подозрение. А сейчас ему, как и всем толпившимся на перроне, хотелось верить или делать вид, что они верят, будто чума может прийти и уйти, ничего не изменив в сердце человека.

Тесно жавшиеся друг к другу парочки расходились по домам, не видя никого и ничего, внешне восторжествовав над чумой, забыв былые муки, забыв тех, кто прибыл тем же поездом и, не обнаружив на перроне близких, нашел подтверждение своим страхам, уже давно тлевшим в сердце после слишком долгого молчания. Для них, чьим

единственным спутником отныне оставалась еще свежая боль, для тех, кто в эти самые минуты посвящал себя памяти об исчезнувшем, для них все получилось иначе, и чувство разлуки именно сейчас достигло своего апогея. Для них, матерей, супругов, любовников, потерявших всю радость жизни вместе с родным существом, брошенным куда-то в безымянный ров или превратившимся в кучу пепла, — для них по-прежнему шла чума.

Но кому было дело до этих осиротелых? В полдень солнце, обуздав холодные порывы ветра, бороздившие небо с самого утра, пролилось на город сплошными волнами недвижимого света. День словно застыл. В окаменевшее небо с форта на холме без перерыва били пушки. Весь город высыпал на улицы, чтобы отпраздновать эту пронзительную минуту, когда время мучений уже кончалось, а время забвения еще не началось.

На всех площадях танцевали. За несколько часов движение резко усилилось, и многочисленные машины с трудом пробирались через забитые народом улицы. Все послеобеденное время гудели напропалую наши городские колокола. От их звона по лазурно-золотистому небу расходились волны дрожи. В церквах служили благодарствен-

ные молебны. Но и в увеселительных заведениях тоже набилось множество публики, и владельцы кафе, не заботясь о завтрашнем дне, широко торговали еще остававшимися у них спиртными напитками. Перед стойками возбужденно толпились люди, и среди них виднелись парочки, тесно обнявшиеся, бесстрашно выставлявшие напоказ свое счастье. Кто кричал, кто смеялся. В этот день, данный им сверх положенного, каждый щедро расходовал запасы жизненных сил, накопленные за те месяцы, когда у всех душа едва тлела. Завтра начнется жизнь как таковая, со всей ее осмотрительностью. А пока люди разных слоев общества братались, толклись бок о бок. То равенство, какого не сумела добиться нависшая над городом смерть, установило счастье освобождения, пусть только на несколько часов.

Но это банальное неистовство все же о чем-то умалчивало, и люди, высыпавшие в послеобеденный час на улицу, шедшие рядом с Рамбером, скрывали под невозмутимой миной некое более утонченное счастье. И действительно, многие парочки и семьи казались с виду обычными мирными прохожими. А в действительности они совершали утонченное паломничество к тем местам, где столько перестрадали. Им хотелось

показать вновь прибывшим разительные или скрытые пометы чумы, зримые следы ее истории. В иных случаях оранцы довольствовались ролью гидов, которые, мол, всего навидались, ролью современника чумы, и в таких случаях о связанной с нею опасности говорилось приглушенно, а о страхе вообще не говорили. В сущности, вполне безобидное развлечение. Но в иных случаях выбирался более тревожащий маршрут, следуя которому любовник в приливе нежной грусти воспоминаний мог бы сказать своей подруге: «Как раз здесь в те времена я так тебя хотел, а тебя не было». Этих туристов, ведомых страстью, узнавали с первого взгляда: они как бы образовывали островки шепота и признаний среди окружающего их гула толпы. Именно они, а не оркестры, игравшие на всех перекрестках, знаменовали собой подлинное освобождение. Ибо эти восторженные парочки, жавшиеся друг к другу и скупые на слова, провозглашали всем торжеством и всей несправедливостью своего счастья, что чума кончилась и время ужаса миновало. Вопреки всякой очевидности они хладнокровно отрицали тот факт, что мы познали безумный мир, где убийство одного человека было столь же обычным делом, как щелчок по мухе, познали это вполне рассчи-

танное дикарство, этот продуманный до мелочей бред, это заточение, чудовищно освобождавшее от всего, что не было сегодняшним днем, этот запах смерти, доводивший до одури тех, кого еще не убила чума; они отрицали наконец, что мы были тем обезумевшим народом, часть которого, загнанная в жерло мусоросжигательной печи, вылетала в воздух жирным липким дымом, в то время как другая, закованная в цепи бессилия и страха, ждала своей очереди.

По крайней мере это первым делом бросилось в глаза доктору Риэ, который, торопясь добраться до окраины, шагал в этот послеобеденный час среди звона колоколов, грохота пушек, музыки и оглушительных криков. Его работа продолжалась, болезнь не дает передышки. На город спускался несравненно прекрасной дымкой тихий свет, и в него вплетались прежние запахи — жареного мяса и анисовой водки. Вокруг Риэ видел запрокинутые к небу веселые лица. Мужчины и женщины шли сцепив руки, с горящими глазами, и их желание выражало себя лихорадочным возбуждением и криком. Да, чума кончилась, кончился ужас, и сплетшиеся руки говорили, что чума была изгнанием, была разлукой в самом глубинном значении этого слова.

Впервые Риэ сумел найти общую фамильную примету того, что он в течение месяцев читал на лицах прохожих. Сейчас достаточно было оглядеться кругом. Люди дожили до конца чумы со всеми ее бедами и лишениями, в конце концов они влезли в этот костюм, — в костюм, который предписывался им ролью, уже давно они играли эту роль эмигрантов, чьи лица, а теперь и одежда свидетельствовали о разлуке и далекой отчизне. С той минуты, когда чума закрыла городские ворота, когда их существование заполнила собой разлука, они лишились того спасительного человеческого тепла, которое помогает забыть все. В каждом уголке города мужчины и женщины в различной степени жаждали некоего воссоединения, которое каждый толковал по-своему, но которое было для всех без изъятия одинаково недоступным. Большинство изо всех своих сил взывало к кому-то отсутствующему, тянулось к теплоте чьего-то тела, к нежности или к привычке. Кое-кто, подчас сам того не зная, страдал потому, что очутился вне круга человеческой дружбы, уже не мог сообщаться с людьми даже самыми обычными способами, какими выражает себя дружба, — письмами, поездами, кораблями. Другие, как, очевидно, Тарру — таких было

меньшинство, — стремились к воссоединению с чем-то, чего и сами не могли определить, но именно это неопределимое и казалось им единственно желанным. И за неимением иного слова они, случалось, называли это миром, покоем.

Риэ все шагал. По мере того как он продвигался вперед, толпа сгущалась, гул голосов крепчал, и ему чудилось, будто предместья, куда он направлялся, отодвигаются все дальше и дальше от центра. Постепенно он растворился в этом гигантском громкоголосом организме, он все глубже вникал в его крик и одновременно понимал, что в какой-то степени это и его собственный крик. Да, все мы мучились вместе, и физически и душевно, во время этих затянувшихся, непереносимо трудных каникул, от этой ссылки, откуда нет выхода, от этой жажды, которую не дано утолить. Среди нагромождения трупов, тревожных гудков санитарных машин, знамений, подаваемых так называемой судьбой, упрямого топтания страхов и грозного бунта сердец беспрерывно и отовсюду шел ропот, будораживший испуганных людей, твердивший им, что необходимо вновь обрести свою подлинную родину. Для всех них подлинная родина находилась за стенами этого полузадушенного города. Она была в благоуха-

нии кустарника на склонах холмов, в морской глади, в свободных странах и в весомой силе любви. И к ней-то, то есть к счастью, они и жаждали вернуться, с отвращением отводя взоры от всего прочего.

Риэ и сам не знал, какой, в сущности, смысл заключался в их изгнании и в этом стремлении к воссоединению. Он шел и шел, его толкали, окликали, мало-помалу он достиг менее людных улиц, и тут он подумал, что не так-то важно, имеет все это смысл или не имеет, главное — надо знать, какой ответ дан человеческой надежде.

Отныне он-то знал, что именно отвечено, как-то яснее заметил это на ближних, почти пустынных улицах предместья. Были люди, которые держались за то немногое, что было им отпущено, жаждали лишь одного — вернуться под кров своей любви, и эти порой бывали вознаграждены. Конечно, кое-кто бродил сейчас одиноко по городу, так как лишился того, кого ждал. Счастливы еще те, которых дважды не постигла разлука, подобно тем, кто до начала эпидемии не сумел сразу построить здания своей любви и в течение многих лет вслепую пытался найти недостижимо трудное согласие, которое спаяло бы жизнь двух любовников-врагов. Вот эти, подобно самому

Риэ, имели легкомыслие рассчитывать на все улаживающее время; этих навеки развело в разные стороны. Но другие, как, например, Рамбер, которому доктор сказал нынче утром: «Мужество, мужество, теперь мы должны доказать свою правоту», такие, как Рамбер, не колеблясь, нашли отсутствующего, которого, как им думалось, уже потеряли. Эти будут счастливы, хотя бы на время. Теперь они знали, что существует на свете нечто, к чему нужно стремиться всегда и что иногда дается в руки, и это нечто — человеческая нежность.

И напротив, тем, кто обращался поверх человека к чему-то, для них самих непредставимому, — вот тем ответа нет. Тарру, очевидно, достиг этого труднодостигаемого мира, о котором он говорил, но обрел его лишь в смерти, когда он уже ни на что не нужен. И вот те, кого Риэ видел сейчас, те, что стояли в свете уходящего солнца у порога своих домов, нежно обнявшись, страстно глядя в любимые глаза, — вот эти получили то, что хотели, они-то ведь просили то единственное, что зависело от них самих. И Риэ, сворачивая на улицу, где жили Коттар и Гран, подумал, что вполне справедливо, если хотя бы время от времени радость, как награда, приходит к тому, кто

довольствуется своим уделом человека и своей бедной и страшной любовью.

* * *

Наша хроника подходит к концу. Пора уже доктору Бернару Риэ признаться, что он ее автор. Но прежде чем приступить к изложению последних событий, ему хотелось бы в какой-то мере оправдать свой замысел и объяснить, почему он пытался придерживаться тона объективного свидетеля. В продолжение всей эпидемии ему в силу его профессиональных занятий приходилось встречаться со множеством своих сограждан и выслушивать их излияния. Таким образом, он находился как бы в центре событий и мог поэтому наиболее полно передать то, что видел и слышал. Но он счел нужным сделать это со всей полагающейся сдержанностью. В большинстве случаев он старался передать только то, что видел своими глазами, старался не навязывать своим собратьям по чуме мысли, которые, по сути дела, у них самих не возникали, и использовать только те документы, которые волею случая или беды попали ему в руки.

Призванный свидетельствовать по поводу страшного преступления, он сумел сохранить

известную сдержанность, как оно и подобает добросовестному свидетелю. Но в то же время, следуя законам душевной честности, он сознательно встал на сторону жертв и хотел быть вместе с людьми, своими согражданами, в единственном, что было для всех неоспоримо, — в любви, муках и изгнании. Поэтому-то он разделял со своими согражданами все их страхи, потому-то любое положение, в какое они попадали, было и его собственным.

Стремясь быть наиболее добросовестным свидетелем, он обязан был приводить в основном лишь документы, записи и слухи. Но ему приходилось молчать о своем личном, например о своем ожидании, о своих испытаниях. Если подчас он нарушал это правило, то лишь затем, чтобы понять своих сограждан или чтобы другие лучше их поняли, чтобы облечь в наиболее точную форму то, что они в большинстве случаев чувствовали смутно. Откровенно говоря, эти усилия разума дались ему без труда. Когда ему не терпелось непосредственно слить свою личную исповедь с сотнями голосов зачумленных, он откладывал перо при мысли, что нет и не было у него такой боли, какой не перестрадали бы другие, и что в мире, где боль подчас так одинока,

в этом было даже свое преимущество. Нет, решительно он должен был говорить за всех.

Но был среди жителей Орана один человек, за которого не мог говорить доктор Риэ. Речь шла о том, о ком Тарру как-то сказал Риэ: «Единственное его преступление, что в сердце своем он одобрил то, что убивает детей и взрослых. Во всем остальном я его, пожалуй, понимаю, но вот это я вынужден ему простить». И совершенно справедливо, что хроника оканчивается рассказом об этом человеке, у которого было слепое сердце, то есть одинокое сердце.

Когда доктор выбрался из шумных праздничных улиц и уже собрался свернуть в переулок, где жили Гран с Коттаром, его остановил полицейский патруль — этого уж он никак не ожидал. Вслушиваясь в отдаленный гул празднества, Риэ рисовал в воображении тихий квартал, пустынный и безмолвный. Он вынул свое удостоверение.

— Все равно нельзя, доктор, — сказал полицейский. — Там какой-то сумасшедший в толпу стреляет. Подождите-ка здесь, ваша помощь может еще понадобиться.

В эту минуту Риэ заметил приближавшегося к нему Грана. Гран тоже ничего не знал. Его тоже

не пропустили; одно ему было известно: стреляют из их дома. Отсюда был действительно виден фасад здания, позолоченный лучами по-вечернему нежаркого солнца. Перед домом оставалось пустое пространство, даже на противоположном тротуаре никого не было. Посреди мостовой валялась шляпа и клочок какой-то засаленной тряпки. Риэ и Гран разглядели вдалеке, на другом конце улицы, второй полицейский патруль, тоже заграждавший проход, а за спинами полицейских быстро мелькали фигуры прохожих. Присмотревшись внимательнее, они заметили еще нескольких полицейских с револьверами в руках, эти забились в ворота напротив. Все ставни в доме были закрыты. Но во втором этаже одна из створок чуть приоткрылась. Улица застыла в молчании. Слышались только обрывки музыки, доносившейся из центра города.

В ту же минуту из окон противоположного дома щелкнули два револьверных выстрела и раздался треск разбитых ставен. Потом снова наступила тишина. После праздничного гама, продолжавшего греметь в центре города, все это показалось Риэ каким-то нереальным.

— Это окно Коттара, — вдруг взволнованно воскликнул Гран. — Но ведь Коттар куда-то пропал!

— А почему стреляют? — спросил Риэ у полицейского.

— Хотят его отвлечь. Мы ждем специальную машину, ведь он в каждого, кто пытается войти в дом, целит. Одного полицейского уже ранил.

— Почему он стреляет?

— Поди знай. Люди здесь на улице веселились. При первом выстреле они даже не поняли, что к чему. А после второго начался крик, кого-то ранило, и все разбежались. Видать, просто сумасшедший!

Во вновь воцарившейся тишине минуты казались часами. Вдруг из-за дальнего угла улицы выскочила собака, первая, которую Риэ увидел за долгое время; это был грязный взъерошенный спаниель, очевидно, хозяева прятали его где-нибудь во время эпидемии, и теперь он степенно трусил вдоль стен. Добравшись до ворот, он постоял в нерешительности, потом сел и, вывернувшись, стал выгрызать из шерсти блох. Раздалось одновременно несколько свистков — это полицейские приманивали пса. Пес поднял голову, потом нерешительно шагнул, очевидно, намереваясь обнюхать валявшуюся на мостовой шляпу. Но сразу же из окна третьего этажа грохнул выстрел, и животное плюхнулось на спину,

как блин на сковородку, судорожно забило лапами, стараясь повернуться на бок, сотрясаясь в корчах. В ответ раздалось пять-шесть выстрелов, это стреляли из ворот и снова попали в ставню, из которой брызнули щепки. Опять все стихло. Солнце спускалось к горизонту, и к окну Коттара уже подползла тень. За спиной Риэ раздался негромкий скрежет тормозов.

— Приехали, — сказал полицейский.

Из машины повыскакивали полицейские, вытащили канаты, лестницу, два каких-то продолговатых свертка, обернутых в прорезиненную ткань. Потом они стали пробираться по улице, шедшей параллельно этой, за домами, позади жилища Грана. И уже через несколько минут Риэ не столько увидел, сколько догадался, что под аркой ворот началась какая-то суетня. Потом все вновь застыло в ожидании. Пес уже не дергался, вокруг него расплылась темная лужа.

Внезапно из окна дома, занятого полицейскими, застрочил пулемет. Били по ставне, и она в буквальном смысле слова разлетелась в щепы, открыв черный четырехугольник окна, но Риэ с Граном со своего места ничего не могли разглядеть. Когда пулемет замолчал, в дело вступил второй, находившийся в соседнем доме, ближе к

углу. Очевидно, целили в проем окна, так как отлетел кусок кирпича. В ту же самую минуту трое полицейских бегом пересекли мостовую и укрылись в подъезде. За ними по пятам бросились еще трое, и пулеметная стрельба прекратилась. И снова все стояли и ждали. В доме раздалось два глухих выстрела. Потом послышался гул голосов, и из подъезда выволокли, вернее, не выволокли, а вынесли на руках невысокого человечка без пиджака, не переставая что-то вопившего. И как по мановению волшебной палочки все закрытые ставни распахнулись, в окнах замелькали головы любопытных, из домов высыпали люди и столпились за спинами полицейского заслона. Все сразу увидели того человечка, теперь он уже шел по мостовой сам, руки у него были скручены за спиной. Он вопил. Полицейский приблизился и ударил его два раза по лицу во всю мощь своих кулаков, расчетливо, с каким-то даже усердием.

— Это Коттар, — пробормотал Гран. — Он сошел с ума.

Коттар упал. И зрители увидели, как полицейский со всего размаха пнул каблуком валявшееся на мостовой тело. Потом группа зевак засуетилась и направилась к доктору и его старому другу.

— Разойдись! — скомандовал толпе полицей-

ский.

Когда группа проходила мимо, Риэ отвел глаза.

Гран и доктор шагали рядом в последних отблесках сумерек. И словно это происшествие разом сняло оцепенение, дремотно окутывавшее весь квартал, отдаленные от центра улицы снова наполнились радостным жужжанием толпы. У подъезда дома Гран распрощался с доктором. Пора идти работать. Но с первой ступеньки он крикнул доктору, что написал Жанне и что теперь он по-настоящему рад. А главное, он снова взялся за свою фразу. «Я из нее все эпитеты убрал», — объявил он.

И с лукавой улыбкой он приподнял шляпу, церемонно откланявшись доктору. Но Риэ продолжал думать о Коттаре, и глухой стук кулака по лицу преследовал его всю дорогу вплоть до дома старика астматика. Возможно, ему тяжелее было думать о человеке преступном, чем о мертвом человеке.

Когда Риэ добрался до своего старого пациента, мрак уже полностью поглотил небо. В комнату долетал отдаленный гул освобождения, а старик, все такой же, как всегда, продолжал перекладывать из кастрюли в кастрюлю свой горошек.

— И они правы, что веселятся. Все-таки разно-

образие, — сказал старик. — А что это давно не слыхать о вашем коллеге, доктор? Что с ним?

До них донеслись хлопки взрывов, на сей раз безобидные, — это детвора взрывала петарды.

— Он умер, — ответил Риэ, приложив стетоскоп к груди, где все хрипело.

— А-а, — озадаченно протянул старик.

— От чумы, — добавил Риэ.

— Да, — заключил, помолчав, старик, — лучшие всегда уходят. Такова жизнь. Это был человек, который знал, чего хочет.

— Почему вы это говорите? — спросил доктор, убирая стетоскоп.

— Да так. Он зря не болтал. Просто он мне нравился. Но так уж оно есть. Другие твердят: «Это чума, у нас чума была». Глядишь, и ордена себе за это потребуют. А что такое, в сущности, чума? Тоже жизнь, и все тут.

— Не забывайте аккуратно делать ингаляцию.

— Не беспокойтесь. Я еще протяну, я еще увижу, как они все перемрут. Я-то умею жить.

Ответом ему были отдаленные вопли радости. Доктор нерешительно остановился посреди комнаты.

— Вам не помешает, если я поднимусь на террасу?

— Да нет, что вы. Хотите сверху на них посмотреть? Сколько угодно. Но они отовсюду одинаковы.

Риэ направился к лестнице.

— Скажите-ка, доктор, верно, что они собираются воздвигнуть памятник погибшим от чумы?

— Во всяком случае, так в газетах писали. Стелу или доску.

— Так я и знал. И еще сколько речей напроизносят. — Старик одышливо захихикал. — Так прямо и слышу: «Наши мертвецы...», а потом пойдут закусить.

Но Риэ уже подымался по лестнице. Над крышами домов блестело широкое холодное небо, и висевшие низко над холмами звезды казались твердыми, как кремень. Сегодняшняя ночь не слишком отличалась от той, когда они с Тарру поднялись сюда, на эту террасу, чтобы забыть о чуме. Но сейчас море громче, чем тогда, билось о подножие скал. Воздух был легкий, неподвижный, очистившийся от соленых дуновений, которые приносит теплый осенний ветер. И попрежнему к террасам подступали шумы города, похожие на всплеск волн. Но нынешняя ночь была ночью освобождения, а не мятежа. Там, вдалеке, красноватое мерцание, пробивавшееся

сквозь темноту, отмечало линию бульваров и площадей, озаренных иллюминацией. В уже освобожденной теперь ночи желание ломало все преграды, и это его гул доходил сюда до Риэ.

Над темным портом взлетели первые ракеты официального увеселения. Весь город приветствовал их глухими и протяжными криками. Коттар, Тарру, та или те, кого любил Риэ и кого он потерял, все, мертвые или преступные, были забыты. Старик астматик прав — люди всегда одни и те же. Но в этом-то их сила, в этом-то их невиновность, и Риэ чувствовал, что вопреки своей боли в этом он с ними. В небе теперь беспрерывно распускались многоцветные фонтаны фейерверка, и появление каждого встречал раскатистый, крепнувший раз от раза крик, долетавший сюда на террасу, и тут-то доктор Риэ решил написать эту историю, которая оканчивается здесь, написать для того, чтобы не уподобиться молчальникам, свидетельствовать в пользу зачумленных, чтобы хоть память оставить о несправедливости и насилии, совершенных над ними, да просто для того, чтобы сказать о том, чему учит тебя година бедствий: есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их.

Но вместе с тем он понимал, что эта хроника не

может стать историей окончательной победы. А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим устали оружием, вопреки их личным терзаниям, обязаны совершать все люди, которые за невозможностью стать святыми и отказываясь принять бедствие пытаются быть целителями.

И в самом деле, вслушиваясь в радостные клики, идущие из центра города, Риэ вспомнил, что любая радость находится под угрозой. Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, — что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.